Цена 80 коп.
Индекс 70544
ISSN 0131—2251
Молодая гвардия 9 · 1987
СССР
1987
Молодая гвардия
9

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

*Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал ЦК ВЛКСМ*

Основан в 1922 году

*Москва, ордена Трудового Красного Знамени
издательско-полиграфическое объединение
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»*

В НОМЕРЕ:

Первая страница обложки журнала: Художник Ф. А. Рубо. Фрагмент панорамы «Бородинская битва». Бой во ржи между саксонскими и русскими кирасирами. Фото А. Егорова.
Вторая страница обложки журнала: Галерея портретов полководцев и героев-военачальников скульптора Ф. В. Вавилова (сверху вниз): Дмитрий Донской, Дмитрий Боброк, П. Багратион, Пересвет, Г. К. Жуков, А. В. Суворов, Н. Раевский, М. И. Кутузов, А. Невский.
Четвертая страница обложки журнала: Художник Ф. А. Рубо. Фрагмент панорамы «Бородинская битва». Сводно-гренадерская дивизия генерала Воронцова контратакует французов. Фото А. Егорова.

«Молодая гвардия», 1987, № 9, 1—288

Наш адрес:

125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., 5а. Телефоны редакции: приемная — 285-56-90; отдел прозы — 285-80-55; отдел поэзии — 285-88-40; отдел очерка и публицистики — 285-80-26; отдел критики — 285-80-14; отдел «Товарищ» — 285-89-66; секретариат — 285-80-16.

ПОЭЗИЯ

Фазу АЛИЕВА

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ЛЮБВИ

БОГАТСТВО

Едой поделюсь по привычке,
В пустыне водой поделюсь.
Отдам я последнюю спичку,
Когда во тьме окажусь;
Я самое нежное слово
Скорбящему сердцу отдам.
И нет ничего такого,
Что я пожалела бы вам.
Да, всем поделюсь я,
Кроме
Любви,
Лишь любви одной,
Хотя безмерно огромен
Ее запас золотой.

ВСЯ В ОТЦА

Отец!
Ты с безжалостной жил прямотой.
Судьбу свою лихо взнуздал ты,
Но рано разбился о камни.

Когда меня век мой
Влечет по дороге крутой,
Я верю, что втайне
Твоя помогает рука мне.
Порой разбиваюсь
И с верной дороги сбиваюсь,
Но я возвращаюсь —
И правды с неправдой развилок ищу.
Я истины так же, как ты, добиваюсь.
Как ты,
Отступлений себе я вовек не прощу.
Мне мама, сердясь, говорила:
— Ну как ты упряма! —
И норов отцовский искала в упорстве моем.
Мне был тот укор
Похвалою приятною самой.
Да, вся я — в отца.
И ничуть не жалею о том.

ГНЕЗДО И КУСТ

Смогу ли то гнездо найти,
Что разорила я когда-то?
Иначе мне не обрести
Покоя — столь я виновата.

Цветущий обломала куст
Я в юности, на горном склоне.
И вот теперь туда влекусь,
Тот день виновным сердцем помня.

Надеюсь, что не до конца
Гнездо и куст я погубила.
Природа с тщанием творца
Урон, быть может, возместила.

На небе солнце.
Гром в горах.
И сердце — как гора. И где-то
Там, в недрах сердца, гнезда птах,
Разлив весны, заботы лета,
Тревога вечная моя
За жизнь цветка и соловья.

ПЛЕЧО ДРУГА

Грустный день. Я поплакать хочу,
Приклониться к родному плечу.
Друг мой старый поймет без вопросов,
Почему проливаю я слезы.
Как фиалка на камне растет,
Так мне силы и радость дает
Твердость друга — оплот и опора.
Слезы женские кончатся скоро,
Жизнь опять мне, как друг, улыбнется
И проглянет весеннее солнце.
Знаю я — как бы ни было туго,
Есть плечо настоящего друга.

* * *

Как все переменилось! Не привыкну
Еще к себе — красивой, молодой.
— Люблю тебя! — в восторге мир окликну, —
И эхо возвратит мне голос мой:
— Люблю тебя! — ты говоришь мне снова.
Ты любишь, знаю. И любовь твоя
Теперь всему в моей судьбе основа —
Возвышенная форма бытия.
Что я теперь?
Я — легкость и прозрачность,
Черемуховым цветом ставший снег.
Мир словно набело сегодня начат,
Прекрасный мир, где счастье есть для всех.
Я, может быть, наивна —
И без меры
Восторженна, не помня о былом.
Но ясный свет доверия и веры, —
Он истинный, и я стою на том!

Стремлюсь к тебе,
Как к будущему, милый.
Я знаю, что всех краше я, прости.
Я верю жизни с небывалой силой,
И веру ты помог мне обрести.

Перевод с аварского
Александра МЕДВЕДЕВА

Тем, кто читал продолжение «Семнадцати мгновений весны» Ю. Семенова «Приказано выжить», романы «Экспансия-I» («Знамя», № 7—10, 1985 г.) и «Экспансия-II» (Знамя, 8—11, 1986 г.), известно, что в самом конце войны главный герой произведений Исаев-Штирлиц был ранен и в бессознательном состоянии по тропам нацистской ОДЕССы — тайной организации СС — вывезен во франкистскую Испанию под именем Макса Брунна.

Там жизнь свела его с Полом Роумэном, американским разведчиком, честно воевавшим против гитлеровской Германии и фашизма, с Кристиной Кристиансен, человеком трагической судьбы, с Грегори и Элизабет Спарками, молодым участником войны Джеком Эром.

Вместе с этими людьми Макс Брунн (Исаев-Штирлиц) продолжает борьбу против нацизма и против тех, кто, руководствуясь своекорыстными целями, склонен вступать в союз с разгромленным, но не уничтоженным нацизмом. Перипетии этой борьбы приводят Брунна в Латинскую Америку, в Аргентину, где в основном и разворачивается действие нового романа «Экспансия-III».

ШТИРЛИЦ, БАРИЛОЧЕ, 1947

Ну и что, спросил себя Штирлиц; как будем жить дальше? Ты и я, два человека, существующие в одном и том же обличье, но думающие порой по-разному, мура собачья, ей-богу. Почему, возразил он себе; прибегни к спасительному «все разумное действительно», сколько раз тебя выручал Гегель с его абстрактным, отрешенным от суеты мышлением, выручит и сейчас...

Двадцать пять лет я не был в России; четверть века, страшно произнести... Но я живу ею, грежу ею, изучаю все, связанное с ее трагической и великой судьбой; я похож на доктора, который ставит диагноз, наблюдая пациента через толстое пуленепробиваемое стекло.

Я живу здесь, в Барилоче, у подножия Анд, в столице горнолыжного спорта Аргентины, в семи милях от коттеджей, где обосновались физики,— среди них есть местные, родившиеся в этой прекрасной стране, есть эмигранты, сбежавшие от гитлеровцев, а есть нацисты, те, которые работали в исследовательских институтах рейха; истинный ученый похож на зрячего слепца, он одержим своей идеей, редко задумывается над тем, кто воспользуется его идеей, сделавшейся хиросимской явью; человечество, если вспомнить его историю, всегда пугалось шагать во тьму неизведанного и все же — шагало... Что

Печатается в сокращении.

же, спросил он себя, да здравствует инквизиция, которая хотела удержать мир от знаний?! Бред, ужас какой-то...

Я живу здесь уже четыре месяца, без связи с Роумэном, учу веселых аргентинцев кататься на «росиньолях» по бело-голубым снежным полям, которые становятся синими, ледяными в середине июня, когда зима окончательно вступает в свои права, метут вьюги, ломко стреляют искры в каминах пансионатов, что открыли вокруг подъемников австрийцы из-под Линца и баварцы; пенится белое пиво, девушки все в красных фартучках, тихо звучат песенки, привезенные из Тироля, мистерия какая-то...

За это время я заработал денег — триста сорок два доллара; от того, что мне дал Роумэн при расставании в Мадриде, осталось сто сорок семь; на кофе и сандвичи хватит, весну и лето переживу; в конце концов можно попробовать увлечь приезжающих сюда на отдых толстосумов туристскими маршрутами в Чили — через горы. Ладно, пройдет еще полгода, а что дальше? Я узнал, где здесь живет Риктер, когда он приезжает сюда из Кордовы, Байреса или Мар дель Плато, а что дальше? Я не готов к решающей беседе с ним, нужны данные от Пола, а их нет. Я не приблизился ни на шаг к тайне атомной бомбы, которую клепают здесь, совсем рядом, на острове Уэмюль мои бывшие «товарищи» по партии, я не узнал ничего нового о тех, кто являет собою затаенную структуру нацизма в Латинской Америке,— зачем же я здесь? Во имя чего?

Ты здесь во имя того, ответил он себе, чтобы сделать то, чего ты не имеешь права не сделать. Нельзя возвращаться с пустыми руками.

А ты уверен, что тебя там ждут? Он часто слышал в себе этот вопрос, и звенящая пустота, которая рождалась в нем после того, как отзвучали эти треклятые слова, была самым страшным мучением, потому что давно привыкший к постоянному диалогу с самим собою, на этот раз он не знал, что ответить, а лгать не хотел, или, точнее, уже более не мог.

...Штирлиц поднялся с деревянной лесенки, что вела на второй этаж домика, где Отто Вальтер держал свою прокатную станцию,— горные лыжи, ботинки, куртки, перчатки, очки и шлемы,— застегнул куртку (с Анд валили снежные сине-черные облака) и пошел в бар к Манолете; старик славился тем, что делал сказочный кофе, лучше, чем итальянское «капуччини», сливочная пена сверху и обжигающе-горячая крепость на донышке толстой керамической чашки.

У Манолете было тихо и пусто; в печке, сделанной, как и все в Барилоче, на немецкий манер, огонь алчно грыз поленца; старик стоял, прижавшись к теплым изразцам спиною, и лениво следил за большой мухой с зеленым брюшком, медленно летавшей вокруг настольной лампы, что стояла на баре.

— Нет, ты только погляди на нее,— изумленно произнес Манолете,— вот-вот ударят холода и все занесет снегом, а эта мерзавка не сдается... Остальные сдохли,— куда более здоровые,— а зеленобрюшка все летает и летает...

— Остальные уснули,— возразил Штирлиц.— Они засыпают на зиму, а весной оживают.

— Темный ты человек, Максимо, сразу видно из Испании, там школ мало и ботанику не учат... Если бы все мухи засыпали на зиму, а весной просыпались, то мы бы стали планетой мух, а не людей.

— А может, мы и есть такая планета? — Штирлиц пожал плечами.— Ну-ка, угости меня кофе, дружище...

— Я угощу тебя кофе, а ты позвони-ка своему патрону, он тебя ищет.

— Приехали какие-нибудь буржуи? — спросил Штирлиц.— Не терпится стать на лыжи? Схватить снежного загара?

— Этого он не говорил,— ответил Манолете и отошел от печки.— Хочешь выпить?

— Мало ли чего я хочу...

— Я угощаю.

— Тогда не откажусь.

— Чего тебе налить? Бренди? Или виски?

— Налей виски.

— С водой?

— Нет, чистый, безо льда.

— Здесь у всех ломается настроение, когда с Анд валятся снеговые облака, Максимо. Сколько лет я здесь живу, а все равно не могу привыкнуть, тоска какая-то, безнадежность, мрак...

Штирлиц положил мелочь на медный поднос, что стоял возле телефонного аппарата, набрал номер своего «хефе», Отто Вальтера; старик лежал третий день без движе-

ния — скрутило беднягу; как подняло в воздух под Седаном в семнадцатом, так и ломает каждый год, несмотря на то, что с двадцать девятого живет здесь; врачи порекомендовали «сменить обстановку», психический стресс был слишком сильным; повлияло на него и то, что лежал он в госпитале — койка к койке — с ефрейтором Адольфом Гитлером,— остановившиеся — серо-голубые — глаза, тяжелый, немигающий взгляд и давящий поток слов, вроде бы совершенно логичных, ладно поставленных одно к другому, но, если долго вслушиваться,— больных, безнадежная паранойя, но при этом угодная несчастным людям, а сколько их тогда было в Германии?! После ноябрьского путча Гитлера, когда люди на улицах сострадали арестованному герою войны, «рискнувшему сказать нации правду», после его «Майн кампф», после того, как он стал фюрером,— Отто продал дом в Зальцбурге и уехал за океан, поняв, что рано или поздно Гитлер добьется своего, страна п р о г н и л а, гниющей падали был необходим стервятник со стылыми, безжизненными глазами...

— Послушай, Макс,— сказал Вальтер слабым голосом (очень любил болеть, обожал сострадание, даже при пустяковом насморке просил нотариуса проверить завещание, уверял, что начинается менингит, отчего-то именно эта болезнь казалась ему фатальной),— на этот раз меня крутит как-то по-особому. Постоянное удушье, знаешь ли... Рикардо Баум, верный дружок, советует обратиться в клинику Фогеля, в Байресе... Так что на это время вместо меня останется Ганси...

— Кто это? — спросил Штирлиц, сразу же перебрав в памяти всех тех немцев и австрийцев, с кем Вальтер поддерживал отношения.— Какой Ганси? Шпрудль?

— Нет, нет, он приехал неделю назад, из Вены... Ты его не знаешь... Его прислал мой двоюродный брат, какой-то дальний родственник; просит поддержать... Ты его введи в курс дела и помогай, как мне... Наш с тобой контракт остается в силе, он будет платить тебе по-прежнему, я уже отдал все распоряжения... Если со мной что-нибудь случится, возьми себе мои «росиньоли» и ботинки девятого размера... И новые перчатки, которые я получил из Канады... Это мой тебе подарок за добрый и честный труд, Макси...

— У вас простуда,— сказал Штирлиц, зная, что этим он обижает хозяина.— Обычная простуда. Выпейте горячего чаю с медом и водкой, снимет как рукой, господин Вальтер.

— Я думал, что жестокость свойственна только молодым,— вздохнул Вальтер.— Бог с тобой, я не сержусь...

— А где этот самый Ганси?

— Завтра в восемь утра он приедет на подъемник, покажи ему хозяйство и введи в дело... Послезавтра утром я уеду, билет уже заказан, Баум меня проводит.

— Кто это?

— Рикардо Баум? — удивился Вальтер. — Чистый немец, социал-демократ, живет здесь в эмиграции...

— Врач?

— Нет, он в бизнесе и юриспруденции...

— Посоветовались бы с хорошим аргентинским врачом, господин Вальтер, настой трав, прогулки...

— Макси, не надо, а? Я знаю, сколько мне осталось, зачем успокаивать меня так грубо?

Штирлиц положил трубку, выпил «капуччини» и сделал медленный, сладостный глоток из тяжелого стакана, ощутив жгучий запах жженого ячменя.

Я стал бояться новых людей, подумал Штирлиц. Имя этого Ганси повергло меня в растерянность; плохо; постоянная подозрительность к добру не приводит, это ломает в человеке азартное желание д е л а; время уходит на обдумывание возможностей; глядишь, все взвесил,— ан, поздно, упустил момент м и м о...

Какие же это страшные слова — «страх», «боязнь», «ужас»... А сколько модификаций?! Чему-чему, а уж как себя пугать, человечество выучилось! Нет, учиться бы радости, веселью,— так ведь наоборот, каждый прожитый год словно бы толкает нас к закрытости; сообщество бронированных особей, два миллиарда особей, занявших круговую оборону в собственных дотах с репродукциями Рафаэля, электроплиткой и зеркалом, человек человеку — враг. Ужас какой-то!

— Что грустный, Максимо? — спросил Манолете.

— А ты?

— О, я — понятное дело,— ответил бармен.— Я старый, я вижу конец пути, Максимо, я знаю, что однажды утром не смогу подняться с кровати от боли в спине, а может, в шее или в сердце... Неважно где... И — что ужасно — я мечтаю об этом времени, потому что тогда со спокойной совестью буду лежать в постели, попросив Пепе передвинуть ее к окну, и стану смотреть на восходы

и закаты, пить чай (честно говоря, я ненавижу кофе), пока смогу — пробавляться рюмашкой, а по вечерам играть с внуком и Марией в детский бридж... Вот жизнь, а?! И я наверняка не посмею даже и думать, что жду прихода смерти... Я буду уверять себя, что, наконец, наступило время заслуженного отдыха. Пепе принял мое дело, пусть мальчик нарабатывает мышцы, теперь его очередь, ты сделал свое, отдыхай, сколько душе угодно... Я отдаю себе отчет в том, что жизнь прожита, и ничего из задуманного не сбылось, суечусь, мне не до мыслей, успевай поворачиваться, иначе дон Карло обойдет на повороте, его бар крепче, и денег у него больше, и дон Гулинский может прижать, к нему валом валят портеньянс* из югославских и итальянских районов, они там богатые, так что надо держаться, каждую секунду держаться... А знаешь, о чем я мечтал, когда был молодым?

— Откуда ж мне?

— Я мечтал быть оперным певцом, Максимо... Когда я был маленьким, я забирался на табуретку и часами пел арии... Бабушка даже плакала, так ей нравилось... Если бы у деда были деньги, он бы определил меня в консерваторию, глядишь, блистал бы в Ла Скала...

— Тут лучше,— заметил Штирлиц.— Здесь не бомбили...

— Так ведь сделайся я знаменитым певцом, у меня были бы деньги, Максимо, замки с подвалами... Бомбежки страшны только бедным, крезы уезжают в горы или того дальше, в Вашингтон, какие там бомбежки?!

Штирлиц кивнул; за те месяцы, что прожил здесь, греясь кофе у Манолете, он убедился, что спорить со стариком бесполезно, упрям как настоящий астуриец, хотя отец его родом из Сеговии, а мать и вовсе итальянка.

...В комнатушке, которую х е ф е отдал в распоряжение Штирлица (нечто вроде сторожки, пристроенной к прокатному пункту с тыльной стороны, чтобы не портила фасад), Штирлиц бросил несколько поленцев в печку, залез в спальный мешок и, вывернув фитиль керосиновой лампы, погрузился в чтение — нашел на чердаке старое издание Петрарки; это стало для него откровением, вроде Монтеня, книга, без которой не мыслилась

* П о р т е н ь я н с (арг. жарг.) — жители столицы

жизнь. Штирлиц читал шепотом, чтобы точнее и объемнее воспринимать мысль поэта:

— Ты спрашиваешь, в чем польза и назначение поэзии? Спеша куда-то в своем безумии, ты сам торопишься разрешить собственный вопрос, устанавливая для поэзии поистине удивительную цель: «лаская, обманывать». Нет, вещие пророки — не изготовители мазей... Неразумный! По-твоему, н у ж н о с т ь искусств — доказательство их благородства?! Наоборот. Иначе благороднейшим из художников был бы землепашец, в чести были бы сапожник, булочник... Не знаете разве, что самая черновая хозяйственная работа всего нужней? Как нужны и сколь непочтенны горшечник и шерстобит! Толпа скорее обойдется без философских школ и воинского великолепия, чем без мясного рынка и бань! Осел нужней льва, курица нужней орла — значит они благородней?! Дерзкие невежды, у вас на языке всегда Аристотель... Боюсь, сейчас он возненавидел бы собственную руку, которой написал мало кем понятые, но затверженные множеством глупцов книги... Не входить в число великих — это чаще всего доказательство исключительного величия!

Штирлиц перечитал последнюю фразу дважды; отчего человечество в последние годы потеряло умение чеканно формулировать мысль? Почему Петрарка или Монтень могли л и т ь фразу, придавая ей металлическую упругость и абсолют формы, а ныне философия и литература сплошь и рядом пробавляются описательством?!

Штирлиц любил гадать на тех книгах, которые становились его частью, входили навсегда в сознание и сердце; раскроет страницу, прошептав предварительно ее номер и строку, упрется пальцем и прочитает вслух; так поступил и сейчас: «Не ругай стиль, прозрачный для одаренного ума, легкий для запоминания и отпугивающий для невежества,— ведь даже слово божие запрещает нам бросать святыню псам и метать бисер перед свиньями...»

А что, усмехнулся Штирлиц, вполне многотолкуемая фраза; дон Мигель, мой добрый старик из Кордовы, прекрасно приложил бы ее к нынешнему литературному процессу; да и я — тоже.

...А что же мы с тобою будем делать в этом мире, спросил он себя. Как надо поступить, чтобы не было стыдно смотреть на свое отражение в зеркале? Времени-то в об-

рез! Ну хорошо, верно, и обрез, но что я могу сделать, кроме того, что делаю?! Я жду, будь оно неладно, это ожидание...

...Ганс пришел в прокатный пункт с опозданием на двадцать минут; Штирлиц уже успел включить электрический камин, в комнате чуть потеплело; плюшевый, ощутимо-шершавый лед на оконцах перестал быть мертвенно-белым, посинел изнутри — вкрадчиво, как осенний рассвет.

— Какого черта старый идиот велел мне быть здесь к восьми?! — прохрипел Ганс, не поздоровавшись. — «Порядок, порядок, прежде всего порядок», «хайль Гитлер», «смерть финансовому капиталу, славянам, евреям и марксистам», «ни минуты опоздания, каждому свое», концлагерь, «работа делает свободным»,— ненавижу!

— Здравствуйте. Меня зовут Максимо Брунн. Вы мой новый шеф? — спросил Штирлиц.

— Строгал я на голове всех шефов... Чаю дайте! Откуда я знал, что в этой паршивой стране такие морозы?! — по-прежнему ярясь, ответил Ганс.

— Возьмите кастрюльку, спуститесь вниз, наберите снега, принесите дров, растопите печурку и через десять минут будете иметь стакан крепкого чая. Ваш родственник держит здесь «липтон» трех сортов.

Лицо Ганса, посиневшее от холода, странно вытянулось, брови поползли вверх, а глаза едва ли не вылупились, — так он растерялся от ответа Штирлица.

— Вы служите у дяди Отто?

— Я подписал с ним контракт, это верно.

— Оставьте для суда «подписал контракт»! Подписал, не подписал, какое мне дело?! Вы ответьте: кто здесь кому служит?!

— Это в вашем паршивом рейхе служили, молодой человек,— тихо ответил Штирлиц.— А в этой стране заключают контракт. Понимаете? Отношения нанимателя и рабочего отличаются взаимным уважением и контролируются синдикатом, который тщательно следит за соблюдением статей контракта. Так вот, в контракте нет статьи, которая бы понуждала меня готовить вам чай. И если вы еще раз сунетесь ко мне с такой просьбой — я уйду отсюда, но вы мне уплатите неустойку за год вперед.

— Ну и валяйте! — Ганс тяжело закашлялся. — Скатертью дорога!

Штирлиц несколько недоуменно пожал плечами, набросил куртку и вышел из комнаты; на улице мело, мелкий снег был колючим; ляжет хорошей подстилкой на поля для скоростных спусков, подумал он машинально; продержится до поздней весны, вполне можно кататься до конца сентября, пока не начнется изнуряющая октябрьская жара, канун ноябрьского лета... Сентябрь — начало весны, ну и шарик, ну и земля, крохотная, а с закавыкой. Как ни мечтают привести ее ко всеобщему, обязательному для всех порядку,— не получается, а сколько сил на это тратят, сколько людей расстреливают, какие деньги вбухивают в статьи бюджетов?!

Штирлиц зашел в бар к Манолете; по-прежнему пусто; как он умудряется сводить концы с концами? Да и налоги платит немалые; видимо, система приучает человека к оборотливости: отстань от конкурента хоть в малости — крах, банкротство...

— Позволь мне позвонить, Манолете?

— Можно подумать, что ты пришел только затем, чтобы позвонить,— усмехнулся старик.— Сначала получи свой капуччини, а потом звони, куда хочешь.

— Сегодня порядок изменим. Сначала я позвоню, а потом мы с тобой жахнем, я угощаю, ладно?

Он набрал номер Отто Вальтера; тот ответил слабым, умирающим голосом; господи, как можно так себя жалеть?! Выслушав Штирлица, разъярился, голос стал нормальным, рубящим:

— Ну-ка, дайте ему трубку, этому сукину сыну!

— Я не могу дать ему трубку, хефе... Я у Манолете... Пью кофе... Он приказал мне уйти — я ушел. Приглашать его не намерен,— у меня идиосинкразия к таким сoплякам...

— Он не идиот,— ответил Вальтер.— Он хороший парень, только нервов не осталось, сами понимаете, чего ему стоило вырваться оттуда...

— Я не сказал, что он идиот,— Штирлиц вздохнул.— Идиосинкразия — это форма аллергии... У меня аллергия на таких нервических барчуков.

— В конце концов вы служите у меня, Брунн. И перестаньте капризничать... Пусть его пригласит к аппарату Манолете. Дайте-ка старику трубку!

— Он моложе вас,— Штирлиц отчего-то обиделся за

своего приятеля.— И не укладывается в постель, подхватив легкую простуду...

Голос Вальтера стал прежпим — надтреснутым и поющим, словно на собственных похоронах:

— Доживите до моих лет, Макс! Как вам не совестно так говорить? Откуда в вашем поколении столько жестокости?

— Я всего на десять лет вас моложе,— ответил Штирлиц. — Одно поколение... Вам пятьдесят семь, мне сорок семь — какая разница?

— Огромная... Когда-нибудь поймете... Не сердитесь на молодого оболтуса... Нацисты попортили ему много крови... И дайте, пожалуйста, трубку Манолете...

Штирлиц обернулся к бармену:

— Вас... Он попросит, чтобы вы пригласили к телефону его родственника, паршивого барича...

Манолете, хоть и держал в баре телефон уже четыре года, приложил трубку к плечу, как и все деревенские жители, неумело, с некоторой опаской.

— Ты еще не умер, мальчик? — прокричал он.— Вообще-то я не против! Твои близкие должны будут угостить нас вашим немецким вином, оно мне нравится, Отто!

Манолете захохотал, пообещал, сходить за Гансом и посоветовал Отто кончать игру в дурака, скоро начнется самый бизнес, а он намылился в Байрес, какой толк от эскулапов, одни расходы...

...Ганс, видимо, несколько отогрелся, потому что нос его не был уже таким синим; не глядя на Штирлица, он подошел к телефону и набрал номер:

— Ты просил меня позвонить, дядя Отто?

Видимо, то, что он услышал, заставило его крепко прижать трубку к уху и повернуться к Штирлицу и Манолете спиной; несколько раз он хотел возразить, но, видимо, Отто Вальтер грубо его обрывал; наконец, положив трубку на стойку, Ганс, не глядя на Штирлица, сказал:

— Он просит вас к аппарату.

Голос у Отто снова был умирающий, в чем только душа держится:

— Макс, сейчас он принесет вам извинение... Выпейте с ним за мой счет и позвольте мне наконец заняться здоровьем, оно того заслуживает...

— Хорошо, хефе... Пусть извиняется при Манолете, мы выпьем за ваш счет и попробуем вместе поработать... Но вы же меня успели немножко узнать: если ваш родственник позволит себе такой тон и впредь, то, не обижайтесь, я уйду, оттого что помню древних: если говорят, что благородней родиться греком, чем итальянцем, так пусть добавят: почетнее быть рабом, чем господином...

Манолете прищелкнул пальцами:

— Красиво сказано, Максимо!

Как все испанцы, он превыше всего ценил изящество слова; дело есть дело, суетная материя, тогда как фраза, произнесенная прилюдно, таящая в себе знание и многомыслие, останется в памяти навечно.

Ганс шмыгнул острым носом (Штирлицу казалось, что на кончике должна постоянно дрожать прозрачная капля; воробей, а фанаберится), откашлялся и сказал на ужасающем испанском:

— Простите меня, сеньор Брунн, я был невоспитан и груб, но это из-за холода...

— Да, к нашим холодам не так легко привыкнуть,— сразу же откликнулся Манолете, достав из шкафа три высоких стакана. — Но с помощью дона Максимо вы здесь быстро освоитесь... Что будете пить?

— Вообще-то я почти не пью,— ответил Ганс, подняв на Штирлица свои маленькие, пронзительно-черные глаза, словно бы моля о помощи. — У нас в семье это почиталось грехом...

— Да? — Манолете удивился.— Вы из семьи гитлеровцев?

Ганс даже оторопел:

— Мы все были против этого чудовища! Как можно?! Мой дедушка пастор, он ненавидел нацистов! И потом Гитлер не запрещал пить! Наоборот! Просто он сам ничего не пил... Другое дело, он преследовал джазы, потому что это американское, не позволял читать Франса и Золя — евреи, Толстого и Горького — русские, но пить он не возбранял, это неправда...

— А как с прелюбодеянием? — поинтересовался Штирлиц.

— Если вы ариец, это не очень каралось... Другое дело, славянин или еврей... Ну и, конечно, для СС это было закрыто. Гитлер требовал, чтобы коричневые члены партии соблюдали нравственный облик и хранили верность семейному очагу.

Не врет, отметил Штирлиц, а в глазах испуг, здорово,

видимо, его накачал Отто, «орднунг мусс зайн» *, не хами старшим, милок, не надо.
— Выпейте глоток вина,— сказал Штирлиц.— За это от дедушки не попадет...
— От дедушки ни за что не попадет, его убили нацисты,— ответил Ганс, прерывисто, совсем по-мальчишески вздохнув.
— За его светлую память,— сказал Манолете.— Нет на свете людей более добрых, чем дедушки и бабушки...
— Налейте ему розовое, из «Мендосы», — попросил Штирлиц,— оно очень легкое.
Ганс выпил свой стакан неумело, залпом, видимо, решил быть мужчиной среди мужчин; обстановка к тому располагала — изразцовая печь, завывание вьюги за окном, угадывавшиеся в молочной пелене склоны гор, красные опоры подъемников, торчавшие среди разлапистых сосен, двое пожилых мужчин в грубых свитерах толстой шерсти, лица бронзовые, обветренные; в руках спокойная надежность, в глазах — улыбка и доброта.
— Замечательное вино, господин Брунн, — сказал Ганс.— Спасибо, что вы посоветовали уважаемому сеньору налить в мой бокал именно этого розового вина... Дядя Отто сказал, что мы можем пообедать за его счет, не только выпить...
— Втроем? — поинтересовался Штирлиц.
Лицо Ганса вновь стало растерянным, совсем юношеским:
— Этого он не уточнил... Он просто сказал, чтобы мы выпили и перекусили за его счет, он возместит...
— Значит, будем обедать втроем,— заключил Штирлиц.— Не можем же мы пить втроем, а закусывать только вы и я?!
— Конечно, в этом есть определенная неловкость, но...
Штирлиц, сразу же поняв состояние Ганса, подвинул ему телефон:
— Звоните... Если ваш дедушка ответит, что намерен расплатиться за двоих, тогда я пообедаю с Манолете, а вы закажете себе еду за собственный счет.
— Не считайте меня полным остолопом, ладно? — Ганс снова озлился.— Я приехал из американской зоны оккупации и научился вести себя цивилизованно... В конечном счете можно предъявить дяде Отто счет за питье на троих, а обед, который мы вкусим все вместе, будет означен как угощение на две персоны.
Манолете рассмеялся:
— У тебя пойдет дело, Ганс! Хорошо, что ты пообтерся среди американцев, эти люди знают, как надо делать бузинес.
— Чем занимались в з о н е? — спросил Штирлиц.
— Чем только не занимался,— Ганс наконец открыто улыбнулся, и лицо его сделалось симпатичным и добрым.— Я и грузчиком был, и в газете работал, в христианской, на нее американцы сразу выдали разрешение, и экскурсоводом у тех солдат, что приезжали на воскресенья из Зальцбурга в Вену, и директором фирмы проката штатского костюма и обуви... Я, кстати, на этом и собрал деньги для поездки в Аргентину...
— Это как же? — поинтересовался Штирлиц.— Где вы доставали гражданские костюмы? Сколько? Для кого?
Ганс рассмеялся еще веселее; Штирлиц налил ему стакан вина; «выпейте», пока Манолете жарит мясо, можно пропустить по второму.
— Видите ли, американцам запрещено ходить по девицам легкого поведения в форме,— ответил Ганс.— А они же изголодались в своих гарнизонах... Ну а когда я нанялся экскурсоводом, я это быстренько понял и решил сделать свой бизнес... Я заметил, сеньор Манолете называет д е л о «бузинесом»,— это он так шутит?
— Нет,— ответил Штирлиц,— многие испанцы именно так произносят это американское слово...
— «Бузинес», — рассмеялся Ганс и выцедил второй стакан, заметно охмелев. — Я набрал костюмов, ботинок, пальто и рубашек у всех знакомых... Каждому платил проценты с выручки: дал три костюма и три пальто — получи пять процентов, дал десять — вот твои семь. Я хорошо на этом заработал, только потом американская комендатура пресекла, и меня должны были вздернуть, но я вовремя слинял в деревню.
Между прочим, парень подал неплохую идею, подумал Штирлиц. На заработанные деньги я могу купить лыжи и ботинки, будем сдавать их в нашем бюро проката, а мне платят проценты, без денег я больше ничего не смогу поделать; надо слетать к Кемпу в Кордову, пора отправиться в Байрес, время думать, как наладить связь с Роумэном...

* Во всем должен быть порядок (нем.).

— Слушайте-ка, Ганс, тут я поднакопил денег, думаю купить инвентарь... Дам на прокат в ваш центр, будете платить мне семьдесят процентов, идет?

— Двадцать,— спокойно ответил Ганс, но лицо его снова словно бы замерзло.— Дядина фирма престижна, к нему приходит сорок человек в день, я посмотрел расходные книги... Вы окупите затраты за полгода, потом пойдет чистая прибыль, за престиж платят, господин Брунн.

— Послушай, мальчик... Кстати, сколько тебе лет?

— Двадцать два...

— Хм... Выглядишь на восемнадцать... Воевал?

— Я играл в астигматизм... На чистую, конечно, не списали, коричневые сволочи имели особый нюх на тех, кто норовил обойти их на повороте, но я служил при кухне, только поэтому и не сдох...

— Где воевал?

— Я ж говорю, при кухне... Сначала мы стояли во Львове, оттуда ушли в Братиславу, а уж из Праги я дал стрекача, когда все начало рушиться.

— Во время восстания?

— Нет, все, кто попал в ту мясорубку, погибли... Я почувствовал загодя, что оно начинается, ну и дал деру...

— Так вот, дорогой Ганс... Я ценю толковых молодых людей, понюхавших войну, я принимаю условия игры, которые ты мне предлагаешь, но хочу сказать следующее: двадцать процентов за использование моего инвентаря — это совершенно несерьезно... Ты же имеешь дело не с голодным австрийцем, а с вполне сытым янки, который знает твой язык, как свой... Я понимаю, что ты не хочешь платить налоги,— если поставишь в бюро проката мои лыжи, придется отслюнивать большие отчисления в казну, зачем? Чем больше приток лыжников, тем выше налоги, все по правилам, никто не спорит... Но здесь инспекция по доходам смотрит за всем, кроме как за лыжами... Здешним боссам выгодно сделать Барилоче горнолыжным курортом для всей Южной Америки, поэтому лет пять ты с дядей будешь в полном порядке... Потому платить ты мне будешь пятьдесят процентов... Это по-божески...

— Во-первых, я не собираюсь торчать в этой дыре больше двух лет, господин Брунн. Мне хватит двух лет, чтобы собрать золотишка и вернуться в Европу,— я намерен открыть свое горнолыжное дело в Альпах... Во-вторых, пятьдесят процентов совершенно нереальны, потому что я так или иначе буду рисковать, а в случае проверки штраф придется платить мне, содиректору, а не дяде или вам... Поэтому мое последнее предложение: тридцать процентов. Или работайте этот год, пока не истечет контракт, и открывайте свое дело, никто вам не мешает...

— Ты же прекрасно понимаешь, Ганс, что для своего дела нужна ссуда в банке, человек, сидящий на выдаче инвентаря, проводник и инструктор. При этом я должен приобрести лицензию, а это тысяча баков, как минимум... Инструкторов здесь мало, очень мало, поэтому, если я, обидевшись, уйду, делу дяди Отто будет нанесен ущерб... Подумай об этом... Посоветуйся с ним, ты ведь будешь провожать его на поезд, нет? Назови ему сорок пять процентов — как последнюю цифру, ладно?

Ганс покачал головой:

— Господин Брунн, я запомнил ваш первый урок: вы никуда не уйдете до тех пор, пока не истечет годовой контракт, так что не пугайте меня. Просто из симпатии к вам, не консультируя этот вопрос с дядей Отто,— прибыль-то с вас буду получать я, а не он, и вы прекрасно об этом знаете,— я даю тридцать пять процентов.

«Люси Фрэн,
Киностудия «Твэнти сенчури фокс».
Голливуд,
США

Уважаемая мисс Фрэн!

Поскольку я довольно долго живу в Пуэрто-Монт, одном из самых уникальных уголков Тихоокеанского побережья Чили, где еще по сю пору можно мило побеседовать с настоящими индейцами, где рыбалка значительно более интересна, чем в Перу или на Кубе, а переход через Анды, отстоящие всего в тридцати милях от города, может стать незабываемым путешествием, я решила обратиться к Вам с предложением: поскольку наша небольшая фирма «Эксперимэнтл синема инкорпорэйтед» не в силах снять здесь игровой фильм по мотивам Майн Рида, может быть, Ваша мощная корпорация найдет возможность ознакомиться со здешними местами (жилье и

проезд в этом районе мы берем на себя) и затем согласиться поддержать нас в новых начинаниях?

Сердечно Ваша

Сьюзан Джилберт,
вице-президент «Экспериментл синема инк».
Пуэрто-Монт, почтовый ящик 2177, Чили».

Получив письмо с обратным адресом неведомой «Синема инк», Люси зашла к Спарку и молча положила конверт на его стол:

— Тебя это по-прежнему интересует, малыш?

«Дорогой друг,— нужный текст был написан бесцветным луковым раствором — проявляется моментально, стоит только прогладить утюгом, — я продолжаю поиск в следующих направлениях, одно из которых оказалось несколько неожиданным:

1. Дело в том, что судьба немцев, живших в Никарагуа, резко отличается от той, которая благоприятствовала им в Аргентине, Бразилии, Чили после того, как началась война против стран Оси.

Абсолютно все немцы Никарагуа — вне зависимости от того, был ли это член НСДАП или антифашист — эмигрант,— были насильственно депортированы в США. Их дома, кофейные плантации, магазины и отели захватил президент Сомоса.

Таким образом, среди никарагуанских немцев мы вправе искать тех, кто сможет оказать посильную помощь в нашей деятельности по выявлению всей нацистской цепи на юге континента.

Всякий деловой контакт с немецкими антифашистами, бежавшими в Аргентину еще в начале тридцатых годов, невозможен, поскольку за ними поставлена слежка, как за «красными». Материалы о никарагуанских немцах,— после того, как закончу сбор данных и обработаю их,— будет отправлен Вам.

2. Во время посещения местной библиотеки я натолкнулся на дело о похищении ребенка великого американского летчика Чарльза Линдберга. Сначала я прочитал это как забытую сенсацию, а потом начал мучительно вспоминать, в связи с чем я так хорошо помню эту фамилию. Не могу утверждать наверняка, но мне кажется, что Мюллер имел к этому какое-то отношение, что-то проскальзывало в архивах криминальной полиции за тридцать третий или тридцать четвертый годы. Там же, в архивах, которые хранятся на западе Германии, скорее всего в Мюнхене, должны быть документы, также касающиеся Мюллера, в связи с делом Кисселя, личного охранника фюрера, а также материалы по убийству министра иностранных дел Веймарской республики Вальтера Ратенау. Эти дела — если их найти в архивах и заполучить в нашу собственность — приведут в шок каждого, кто с ними ознакомится. Такого рода документы — если они сохранились — позволят нам выйти на самую верхушку нацистов, скрывшихся здесь.

Более того.

В нацистских, эмигрантских кругах говорят, что могила в Берлине, на которой выбито имя Мюллера, является фикцией: гроб либо пуст, либо в нем покоятся останки совершенно другого человека. Полагаю целесообразным сообщить об этом в Лондон, Майклу Сэмэлу.

Написано: «во многие знания многие печали». Позволю себе перефразировать: «во многие знания — динамит».

Если бы мы смогли поработать в Европе — по тем направлениям, которые я обозначил,— убежден, информация окажется безмерно полезной делу борьбы против последышей фюрера.

3. Адрес и телефон Риктера я выяснил. Считаю преждевременным проводить с ним беседу, поскольку жду Ваших данных из Европы. Они позволят мне осуществить задуманное,— если, конечно, я нахожусь на верном пути в моем поиске.

4. Все более и более загадочной становится для меня Вилла Хенераль Бельграно. Об этом месте в горах, неподалеку от Кордовы, здешние нацисты говорят шепотом, с особым почтением.

Полагаю возможным встретить там кого-то из прежних знакомых, но делать это можно и нужно лишь после того, как мы получим информацию из Европы. Такого рода «архивная информация» станет оружием более действенным, чем пулемет или даже орудие; повторяю: во многие знания — динамит.

5. Более всего я страшусь того, что Вы решите,— после нокаута, нанесенного нам,— считать всю схватку проигранной. И отойдете от дела. Тогда, конечно, моя миссия здесь кончена. Один я ничего не смогу сделать.

Убежден, что, несмотря на тот удар, который нам

смогли нанести, ситуация не безнадежна, шансы на победу есть, и они отнюдь не малые.

6. Поскольку в ближайшие месяцы предполагается новый тур переговоров между «Дженерал электрик» и службами Перона, я очень жду ваших материалов из Европы именно в течение этого времени, чтобы иметь возможность оперировать ими с сотрудниками «Дженерал электрик», которые не могут быть равнодушны к «атомному проекту» Риктера.

7. Что же касается самого «проекта», то он закамуфлирован так надежно и охраняется столь квалифицированно, что я не имею возможности к нему приблизиться, не расшифровывая себя. Порою я чувствую за собой слежку, но, полагаю, это профилактика, проводимая секретной службой Перона по отношению ко всем иностранцам, проживающим в стране. Тем не менее я проявляю крайнюю осторожность и всю информацию получаю в ночных барах и пивных, вслушиваясь в разговоры эмигрантов; во многие знания — динамит. И, увы, печали.

Буду рад получить от Вас известие.
Очень жду.
Искренне
«М».

РОУМЭН, ГОЛЛИВУД, 1947

В Голливуде теперь чувствовалось ощущение чего-то безвозвратно утерянного: редко появлялся на людях Чаплин, не было ни Брехта, ни Эйслера, ни Марлен Дитрих; перестал приезжать Фейхтвангер, хотя раньше был здесь частым гостем. И хотя каждый день то в «Плазе», то на «Биверли хилз» устраивались приемы, где блистали звезды экрана во главе с Альфредом Мэнжу, Джеймсом Кэгни и Робертом Тейлором, того постоянного праздника, который царил здесь раньше, не было, он оказался безвозвратно утерянным.

Казалось бы, все было, как прежде, — и безудержное веселье во время полуночных гала-концертов, и блицы фотокорреспондентов, и песни Фрэнка Зинатры, прерывавшиеся визгом и свистом собравшихся (визжали женщины, свистели — высшая форма похвалы — джентльмены во фраках), и танцы негритянского трио «Старз» из Нью-Орлеана, — но в городе тем не менее царило таинственное ощущение **потери**. Песни были чересчур сентиментальны, танцы излишне экзальтированны, веселье грубо-показным, **прущим**.

Роумэн теперь бывал практически на всех гала-приемах, — Спарк пристроил его на киностудию «Юниверсал» ассистентом продюсера, платили вполне сносно, дом арендовывать не стал, поселился с Кристой в Лос-Анджелесе, на третьем этаже большого, но тем не менее вполне престижного дома.

Когда Спарк позвонил ему и сказал, что можно взять в рассрочку коттедж на сто двадцатой улице, Роумэн усмехнулся:

— Знаешь, старик, поскольку любимая поехала за покупками, скажу тебе честно: праздник кончился, начались будни, песня сделалась бытом. Я благодарен Кристе, только из-за нее я снова стал мужиком, и я хочу тот **кончик**, который мне отпущен, прожить в свое удовольствие... Наш друг сломал меня, понимаешь? Я треснул. Пополам. Вот так. И я хочу развратничать, пить виски на приемах и ждать, когда перевалю за пятьдесят... К старости надо готовить себя загодя... Я бы продолжал делать **мое** дело, но я подписал капитуляцию, и ты знаешь почему... А те, которые разгромлены, имеют право на все. Только не строй брезгливую гримасу, ладно?! Не надо, ты рожден святым, ну и будь им. А я из породы хулиганов, не устраиваю — прерви со мной отношения...

— Ты думаешь, я поверил хоть одному твоему слову, Пол? Ты просто крепко жахнул и несешь чепуху.

— Готов тебе поклясться, что сегодня еще не пил...

— Значит, перепил вчера.

— Тебе хочется, чтобы было так?

— Да, мне так хочется.

— Ну и считай, что это так на самом деле... Чего не сделаешь для друга...

— Ты плохо говоришь, Пол.

— Ну и что?

— С твоим делом не все потеряно...

— С «моим»? Значит, твоим оно никогда не было?

— Я плохо сказал, не сердись... С **нашим** делом не все еще потеряно...

— Ты хочешь, чтобы мальчики исчезли снова? Только если это случится, ты их больше никогда не увидишь.

Фото с убитых младенцев напечатает пресса после того, как исполнители передадут Макайру подлинники!

— Что ты болтаешь?! — разъярился Спарк. — Мы же говорим по телефону!

— Я понимаю, что мы не шепчемся! И я знаю, что мои разговоры прослушиваются! Тем лучше! Значит, эта свинья Макайр торжествует победу! Значит, он не будет строить мне пакостей. И тебе, кстати говоря, тоже.

— Я думал, что после пережитой трагедии мы станем еще ближе друг другу, Пол...

— Спарк, запомни, руководители разгромленных союзных армий перестают здороваться потому, что им стыдно смотреть в глаза друг другу. Мне стыдно смотреть тебе в глаза, понимаешь? Мне стыдно смотреть в глаза Кристе! Я избегаю видеть Элизабет, потому что оказался банкротом... Я банкрот! Вот и все! Пройдут годы, прежде чем я снова понадоблюсь этой стране! Но это будут трудные годы, а я хочу взять свое, чтоб не было так дерьмово, когда навалится старость.

— Я хочу встретиться с тобой, Пол.

— Только не говори, как заправский квакер, ладно? Сегодня гала-прием в «Президенте», приезжай, выпьем, — и, не дождавшись ответа, положил трубку.

...Криста вернулась через полчаса; в ее облике угадывалась усталость, под глазами залегли тени, что делало лицо одухотворенным, исполненным внутреннего напряжения.

— Ты голоден, милый? Сейчас я сделаю тебе хороший стэйк, потерпишь десять минут? — спросила она у Роумэна.

— Нет. Я еду на работу... Там хорошо кормят... На гала дают стэйки и виски. И много овощей — для тех, кто хочет похудеть.

— Ты выглядишь измученным.

— О, нет, я в хорошей форме, тебе просто кажется...

— Не приглашаешь меня с собою?

— Тебе там не понравится, родная. Ты не любишь этих людей. Я тоже их не очень-то жалую, зато именно на гала-приемах можно договориться с супер-актером и пригласить на роль, уломав его на пару десятков тысяч баков, — тоже деньги... Мы же уговорились: еще два-три года я собираю деньги, мы летим на Гавайи, покупаем землю, строим дом и шлем все к чертовой матери...

— Я не могу тебе помочь на этих проклятых гала-приемах выбивать баки из капризных супер-актеров? — Криста вымученно улыбнулась.

— Я не монстр, — ответил Роумэн. — Нельзя обижать актеров, они — художники, их и так все обманывают, а тебе они сразу поддадутся... Я уговариваю их взять то, что им полагается, и ни баком больше... Если хочешь видеть, как я с ними хитрю, — едем, только надо ли тебе это?

— Кого ты сегодня станешь призывать к справедливости? Мужчину или женщину?

— Всех, кто попадет под руку.

— Сделать кофе?

— Нет, родная, не хочу.

— Сердце не болит?

— Работает, как часы фирмы «Павел Буре».

— Слава богу... Меняется погода, я очень боялась, что у тебя замолотит заячий хвостик...

— Ты давно не называла мое сердце «заячьим хвостиком»...

— Ты просто забыл, — Криста улыбнулась, наблюдая за тем, как Роумэн надевал черную узенькую «бабочку». — Я тебе говорила это вчера.

— А я уже спал... Я стал очень уставать и поэтому засыпаю в одну минуту...

Криста подошла к нему, положила руки на плечи, поднялась на носочки, потянулась губами к его осунувшемуся, сильно постаревшему лицу:

— Ты сердишься на меня, любовь? Скажи — за что? Я не нахожу себе места...

Роумэн прикоснулся холодными губами к ее выпуклому лбу, усыпанному родинками, закрыл глаза, потерся носом об нос и пошел к двери; на пороге, не оборачиваясь, сказал:

— Если не приеду — не волнуйся, значит перепил и остался в Голливуде.

— Ой, пожалуйста, не оставайся в Голливуде! Мне так страшно одной.

Вздохнув, Роумэн ответил:

— К сожалению, тебе нечего бояться, девочка. Я раздавлен и поэтому никому больше не нужен. Как и ты.

Да здравствует спокойная жизнь обывателей, никаких волнений и забот... Я позвоню. Целую, девочка...

...Режиссер Гриссар — после того, как приглашенные отсиживали за столом, — собирал вокруг себя толпу завороженных слушателей; хотя фильмы его не блистали, с е р е д н я ч о к, но манера говорить, неожиданность мыслей были порою любопытны.

Особенно много среди его слушателей было актрис — он обладал какой-то притягивающей силой, женщины льнули к нему, глядели влюбленными глазами, страшась пропустить хоть единое слово; часто рядом с ним стоял певец и актер Фрэнк Синатра; улыбался и молчал, любуясь Гриссаром.

Сегодня, когда собравшимся был представлен фильм Дорбинкса (абсолютная мура, но касса обеспечена), после того, как наемные критики прочитали эссе «об откровении американского кинематографа, который начал новую спираль развития», после представления ведущих актеров (Хэмфри Боггарт сыграл хорошо, но он, подумал Роумэн, может сыграть стул, коня, дождь, актер гениальный, нет слов), когда триста приглашенных уселись за П-образный стол и быстро управились с дежурными стэйками, фруктами и вином, Джо Гриссар поднялся со своего места, взяв под руку молоденькую актрисульку; он был убежден, что через десять минут вокруг него соберется толпа, и не ошибся.

— Я смотрел на ваше лицо, — говорил Гриссар актрисе, — я глядел на вас все то время, что мы провели в сборище снобов, которые должны оплатить рекламу картины Дорбинкса, и думал о том, что именно вы нужны мне в моем новом фильме, «Откровение от Джироламо Савонаролы»... Да, да, я начинаю эту работу... В ней будет постоянный камертон, лицо женщины — дочери, матери, любимой... Сквозь весь фильм, набатно, символом тревоги и любви — лицо прекрасной женщины... Я приглашаю вас... Вас зовут Джесси, да?

— Пусть так, — улыбнулась женщина; у нее ямочки, как у Кристы, подумал Роумэн, подходя к Гриссару (ему был нужен этот человек, он много узнал о нем за последние месяцы, а главное — понял, что Гриссар связан с Фрэнком Синатрой, очень важная связь). — Хотя в приходских книгах я записана Жозефиной...

— Вы помните, на чем состоялся Савонарола? — не услыхав даже ее ответа, продолжил режиссер. — Как всякий гений, он появился на стыке двух эпох, а трагический уход Лоренцо Медичи, первого гражданина Флоренции, столицы Возрождения, не мог не породить кризиса, — смена власти в условиях абсолютизма духа всегда кризисна, а ее последствия непредсказуемы... Вы, конечно, помните, что аристократ Медичи окончил «Платоновскую академию» и был высоким эрудитом, за его столом собирались выдающиеся умы той поры, Боттичелли считал за счастье беседовать с ним о гении Джотто; Медичи был первым правителем в Италии, кто назвал Данте гением, не меньшим, чем Вергилий, а ведь деспотизм отмечен именно тем, что понуждает преклоняться перед древними, отвергая современников... Мой фильм будет начинаться с того, как в дружеском застолье Лоренцо Медичи читает свои стихи, и на него влюбленно смотрит жена, кроткая и нежная Кларисе Орсинни, а подле него сидит женщина, которую любит он, зеленоглазая Бартоломеа деи Нази... Медичи читал стихи о юноше, который был рожден некрасивым, полуглухим, со слабым зрением; в смачных выражениях, угодных нраву простолюдинов, он писал, как этот юноша замахнулся на изначалие природы, стал терзать свое тело гимнастическими упражнениями и сделался, наконец, лучшим наездником Флоренции, непревзойденным охотником, гимнастом и танцором... Медичи кончил читать, рассмеявшись чему-то своему, оглядел лица приглашенных поэтов и художников, но внезапно странная гримаса гнева перекосила его угреватое лицо с подслеповатыми, гноящимися глазами, он взмахнул руками, словно бы хватая воздух, которого ему не хватало, и повалился головой на стол, разбив висок о золотой кубок с вином, стоявший перед ним...

— Кубок был серебряным, — шепнул Роумэн Фрэнку Синатре; тот внимательно его оглядел, кивнув: «Да, да, верно, серебряный, с этрусской чеканкой»; он плохо знает Медичи, отметил Роумэн, но отменно сочиняет человека, значит, настоящий художник, кубок-то действительно был золотым.

Толпа жарко о б н я л а Гриссара; как и всякий артист, он ощущал тех, кто внимал ему; искусство — это пророчество, только выражается чувством, а не логикой, или — точнее — чувственной логикой.

— Когда Медичи подняли, — продолжал между тем Гриссар, — осторожно перенесли в опочивальню, он, ощущая в груди пекло, прошептал: «Приведите ко мне Савонаролу». И монах пришел к умирающему: поэт-тиран решил исповедоваться у Савонаролы, который всем своим духом не принимал ту культуру, которой так поклонялся Лоренцо Медичи... Тогда-то на экране и возникает первый раз скорбное лицо матери-дочери-любимой — всепонимающее, трагичное, бессловесное, вобравшее в себя знание и боль народа... А сразу же после этого видения, которое пройдет через весь фильм, — статика, еще более подчеркивающая динамизм действия, — я покажу, как молния бьет фонарь на куполе Брунеллески, и камни падают рядом с входом во дворец Медичи, а это страшное предзнаменование грядущей беды. Мудрый циник, а потому — провидец, доктор Пьеро Леони из Сполето, поняв, что часы мецената Медичи сочтены, бросился в колодец и утонул, предпочитая смерть жизни в вате, то есть в холодной и безвоздушной тишине, которая обычно следует за годами взлета культуры и мысли... Медичи знал, что Савонарола проповедует в монастыре против него, против его вольностей, против того, что он любит жену друга, он понимал, что монаху противны его пиршества с философами, подвергавшими осмеянию не папство, — Савонарола и сам его презирал, — но догматы религии; он отдавал себе отчет, как ненавистно фанату веры его содружество с художниками, рисующими обнаженную натуру, — а что может быть греховнее тела?!

«За что ты зовешь людей к бунту против меня? — прошептал Медичи. — Чем я прогневал тебя?»

«Любимый брат, я молю у бога выздоровления тебе, — ответил Савонарола, — однако оно не настанет, если ты не отречешься от буйства плоти и веселья, от развратных маскарадов и громкой вседозволенности, проповедуемой и воплощаемой твоими пьяными поэтами... Мир рожден для схимы, тишины и благости, только тогда несчастным откроется царство божие». — «А ты был там? — усмехнулся Медичи. — Ты его видел? Я хочу дать радость людям творчества здесь, на этой грешной земле, а ты сулишь им, чего сам не видел. Реальность — это то, что можно пощупать, вкусить, увидеть». — «Ты богохульствуешь, Лоренцо Медичи, ты живешь на потребу себе». — «А ты?» — «Я отдаю себя людям». — «Это как?» — «А так, что мне не нужны застолья, словеса, женщины, мне нужна лишь одна справедливость». — «А разве человек может быть мерилом справедливости? Почему гениальный Боттичелли тянется ко мне, а на твои проповеди не ходит?» — «Потому что он дитя искусств, и он дает людям ложные ориентиры, он плохой навигатор, им движет собственное «я», а не царственная множественность «мы». — «Значит, ты выражаешь желания множественного «мы», а я служу бренному человеку, его одинокому, скорбному «я»?» — «Я» — это дьявол, Лоренцо Медичи, а «мы» — «бог». — «Мы» состоим из бесчисленных «я», монах. Справедливость — это хорошо, тем более правда, но ни того, ни другого нельзя достигнуть, можно лишь приблизиться к ним... И чем четче будет выявлено каждое «я», тем вероятнее приближение... Ты взял на себя право учить всех добру — это опасно... Предостерегай ото зла — нет ничего важнее для монаха, чем это... Ты лишен радостей жизни, ты воспитан в схиме, как же ты можешь знать, что такое «правда» и «счастье»?» — «Я верю в слово божие — это счастье и правда, а ты глумишься над ним, ставишь себя с ним вровень, живешь всепозволительно, не ограничиваешь желания, — поэтому и умрешь». — «Я умру, это верно, я скоро умру, но я умру не так, как ты, ибо тебя распнут за то, что ты рьяно и жестоко насаждаешь справедливость, а это вроде как служить сатане; справедливости угодна доброта и позволенность мыслить иначе, чем ты. Подумай о моих словах, несчастный монах, иначе ты принесешь много горя людям, нет ничего страшнее фанатиков, которые сулят счастье взамен за слепое послушание; Платон только потому и остался в памяти людей, что он исповедовал спор разных позиций».

С этим и умер Медичи, — после долгой, томительной паузы закончил режиссер. — А Савонарола, проведший семь лет жизни в доминиканском монастыре, умертвив свою плоть, живший словом Библии и видением равенства всех перед богом, начал бунт против папства — во имя истинной веры; он мечтал превратить идеал в существующее, сделать его материей, но разве такое возможно? Он, наставник храма Святого Марка, построенного дедом Медичи, не дал меценату Лоренцо последнего напутствия, ибо греховность радости земной была ему вчуже... Каждый, кто падет с женщиной, — заслуживает казни; каждый, кто пригубил кубок, — попадет в ад; каждый, кто живет своей мыслью, а не строкой писа-

ния, — сын сатаны! Разве добро может быть судией?!

— А если это зло? — спросил Роумэн; поскольку режиссер был зажат потной, алчно внимавшей ему толпой, на Пола зашикали; Джо Гриссар тем не менее обернулся к Роумэну, посмотрел на него с нескрываемым интересом и, улыбнувшись Фрэнку Зинатре, спросил:

— Вы имеете в виду здешние процессы против Брехта и Эйслера? Я вас верно понял?

— Не только здесь, — ответил Роумэн, чувствуя на себе взгляд Зинатры. — В Европе тоже хватало такого рода процессов.

— В моей новой ленте будет очень жесткий финал, — ответил Гриссар. — На фоне безмолвного лица очаровательной и кроткой Жозефины, — он мягко улыбнулся актрисе и вытер громадной ладонью свое мясистое лицо, — диктор сухо прочитает: «Папа Юлий Второй решил канонизировать Савонаролу, несмотря на то что тот был сожжен его предшественниками, как еретик; Рафаэль сделал его портрет; папа Павел Четвертый, вычеркнув всего несколько строк, позволил цензуре дать штамп на опубликование проповедей бунтовщика, — новой власти угодны погибшие бунтовщики, которые восставали против роскоши и свободомыслия единиц во имя справедливости для всех, что, конечно же, невозможно...»

— Давайте я сыграю у вас Боттичелли, — посмеялся Роумэн. — Это мой любимый художник, а ведь при этом, говорят, он был связан с тайным орденом мстителей...

Гриссар переглянулся с Зинатрой и, рассекая толпу, как дредноут, двинулся к нему:

— Представьтесь, вы мне нужны...

...Он снимал трехкомнатный номер в «Плазе»; мебель была атласно-белой; на полу валялись книги, грязные рубашки, страницы рукописей; Жозефина сразу же занялась баром, достала стаканы, бутылки, фисташки и соленое печенье.

— Ваши реплики понравились мне, — повторил Гриссар, — Зинатре, кстати, тоже. А он — умница. Кто вы по образованию?

— Юрист, кто ж еще? — ответил Роумэн. — Немножко, конечно, историк, без этого в наш век нельзя.

— В наш век можно все, — сказал Гриссар. — Мы вступили в полосу всепозволенности, это — предтеча конца света.

— Слушайте, а зачем вы рассыпаете жемчуг перед здешними людьми? Они же малообразованны! У кого есть гран таланта, — подметки срежет, унесет в клюве идею, вы же рассказали поразительные эпизоды, — ставь камеру и снимай фильм.

— А кто будет играть? — Гриссар пожал плечами. — Жозефина? Я буду ее снимать, но играть она не может, правда, крошка?

— Почему? Я снималась в двадцати картинах...

— Снимись в одной, но под фамилией Мэри Пикфорд... Или Вивиан Ли... Или Феры Мареской...

— Кто это? — спросил Роумэн.

— Я смотрел фильм в русском консульстве... Во время войны, когда мы дружили... Я забыл название... У русских нет кассовых названий, кроме «Броненосца «Потемкина». Это прекрасная актриса, у нее лицо морщится, как от боли, когда при ней говорят что-то такое, что оскорбляет в ней женщину... Такое нельзя сыграть, это — врожденное, от бога.

— А кто вы по профессии, мистер Гриссар?

— Джо. Этого достаточно, Джо, — и хватит...

— Я Пол. Тоже неплохо звучит, а?

— Мне прекрасно известно, кто вы, Пол. На вас в «Юниверсале» показывают пальцем, штатный осведомитель ФБР, прислан смотреть за левыми интеллектуалами...

Роумэн сломался пополам, замотал головой, потом пояснил:

— Это я так смеюсь... Хм... Вообще-то я служил в разведке, забрасывался в тыл к наци, но ФБР... Жуть какая! Они костоломы, я ни за что не буду на них работать...

— Жаль. Я бы с удовольствием снял фильм «Осведомитель»... У вас умные, печальные глаза, вы служите злу, хотя сами полностью на стороне добра...

— Снимайте меня в фильме об осведомителе налогового управления... Или агенте, неважно. Есть хорошее начало, продам задешево...

— Покупаю.

Подошла Жозефина, принесла виски со льдом, фисташки, сухарики; Роумэн вытащил пальцем из стакана лед (привык в Испании), бросил его на пушистый белый ко-

вер, не отводя глаз от лица режиссера, и, чокнувшись с фарфоровой актрисулей, продолжил:

— Ну так вот... Агент налогового ведомства вытоптал одного подонка, надел на него наручники и привез в управление: «Послушай, парень, советую тебе добром, — говори всю правду, понял?» — «Понял». — «Ты Джек Смит?» — «Да». — «Ты платишь налог с трех тысяч долларов?» — «Да». — «А на какие же ты шиши купил жене новую модель «бьюика», сыну трехэтажный дом, а дочери колье за тридцать пять тысяч?! Ты знаешь, что укрывательство доходов по федеральному закону карается десятилетним тюремным заключением?!» — «А я ничего не укрываю». — «Откуда деньги?! Нашел клад?!» — «Нет, клада не находил. Я мажу». — «То есть?!» — «А очень просто: вот я сейчас предлагаю вам мазу на тысячу баков, что, не сходя с места, укушу свой левый глаз». — «Но, но, не дури!» — «Я серьезно», — ответил Смит и вытащил десять бумажек по стольнику каждая. Тогда и агент положил свою тысячу. Смит достал свой глаз — он у него стеклянный, — укусил его и водрузил на место. — «А могу помазать на две тысячи, что укушу правый глаз». Агент решил, что это блеф, он же зрячий, этот Смит, и выложил чек на две косых. Тогда Смит вытащил изо рта протез и укусил правый глаз, — челюсть-то вставная! Положил деньги в карман и заключил: «У меня есть еще одна маза, только очень рискованная, так что больше тысячи я на нее не ставлю». — «Это какая же, проходимец?!» — «Я могу помочиться на вас духами «Шанель» номер пятнадцать...»

Гриссар закурил толстенную сигару:

— Какого черта вы работаете в «Юниверсале»? Разве это фирма для вас?

— Я бы с радостью перешел к вам.

— Да, но у меня нет фирмы, — Гриссар обнял Жозефину, мягко подвинув ее к своему необъятному торсу. — Когда мы с маленькой разбогатеем на фильме о Верди, я открою фирму...

— Почему Верди? — удивился Роумэн. — Вы же готовите ленту о Савонароле?!

— Нет, Савонарола — для публики... Пусть журналисты нагнетают страсти, а критики готовятся втоптать меня в асфальт... Вообще-то я хочу сделать нежный и грустный фильм о великом итальянце.

— Значит, про осведомителя не будете? Жаль. А то

могу продать еще пару сюжетов о шпионах. Я же сидел у Гитлера в концлагере, есть о чем порассказать...

— Ох, как интересно, — сказала Жозефина. — Мой брат был на фронте, я обожаю слушать рассказы про то, как дерутся мужчины...

Роумэн оглядел ее кукольную фигурку и спросил:

— Если бы вы пригласили сюда подружку, похожую на вас, я бы с радостью рассказывал вам про то, как дерутся мужчины, — до самого утра...

Жозефина оценивающе оглядела Роумэна, спросила, как его надо представить, поинтересовалась, кто оплатит такси (подружка живет на другом конце города), и, удовлетворенно кивнув, когда Пол ответил, что работает как помощник продюсера и такси оплатит в оба конца (если возникнет необходимость в возвращении), пошла к телефону — такому же старинному, перламутровому, вычурному, как и мебель в президентском номере режиссера...

— Знаете что, Джо, — сказал Роумэн, по-прежнему разглядывая Жозефину, стоявшую возле телефона в позе, которая должна будить желание, — все эти «Верди», «Осведомители», «Савонаролы» хороши для упражнений. Реальные баки может дать супербоевик, а он у меня в голове.

— Вы же не станете говорить об этом без юриста, — усмехнулся Гриссар. — И правильно сделаете... Я все сопру... Нравится девочка?

— Хороша.

— Так берите ее себе... Я не по этой части... Мне понравились ваши реплики, в них есть нечто трагическое, то есть возвышенное над уровнем среднего мышления собирающихся в «Плазе»... Что за идея? Нет, нет, просто тема... Тему можете назвать?

— Могу. «Коза ностра» *.

Гриссар досадливо махнул рукой:

— Это уже было... Время фильмов о буттлегерах кончилось, нужны другие песни: козни Кремля, жизнь Сталина, самоубийство Анны Павловой...

— Она умерла от ангины...

— И вы этому верите? Ни один художник, — если он художник, — не умирал от простуды. Она ушла из жизни именно тогда, когда это полагается делать балерине...

---

* Американская мафия.

— Сюжет я могу рассказать только при юристе, — повторил Роумэн. — Потому что он стоит денег. Поверьте, я отдал разведке жизнь, будь она трижды неладна.

— Вы клянете жизнь?

— Я кляну разведку, мою профессию...

— Сколько стоит сюжет?

— Три тысячи.

Гриссар поднялся, отошел к стене, тронул подрамник старинной картины; что-то пискнуло и зазвенело, потом картина сползла вправо, открыв дверцу сейфа; набрав сумму цифр, Гриссар отпер дверь, достал несколько пачек долларовых купюр, пересчитал их, и одну, тоненькую, положил на стол перед Роумэном:

— Здесь тысяча, это хорошие деньги, а если я пойму, что вы сможете написать так, чтобы мне было интересно работать, — доплачу еще девять...

Подружка Жозефины оказалась стройной, черноглазой и веснушчатой.

Пили до утра; Гриссар уснул на диване...

Роумэн проснулся поздно, голова трещала, из холла доносился храп Гриссара; он сидел в той позе, как уснул на рассвете; свет в номере был включен, пахло сигаретами; девушки, видимо, только что ушли; Роумэн растолкал Гриссара, подивившись тому, что купюры так и лежали перед ним на столике.

Лицо Гриссара было в поту, покрылось щетиной; закурив, он покачал головой, словно удивляясь чему-то.

— Утром пьете? — спросил Роумэн.

— Что я, неандерталец какой? — вздохнул тот. — Конечно, пью. «Блади-мэри»; томатный сок в морозилке под баром, сделайте по стаканчику, а потом расскажите про «Коза ностру».

Роумэн набрал свой номер телефона; Криста сорвала трубку так, словно сидела, глядя на телефон (она так и сидела); голос потухший, хоть и тревожный: «Алло, алло, Пол?!»; он положил трубку на рычаг, сделал «бладимэри», принес стаканы на столик и сказал:

— Послушайте, Джо, вам ведь известно, что я никакой не осведомитель, а самый что ни на есть неблагонадежный?

Тот покачал головой:

— Я таких боюсь. Мне симпатично, что вы, шпик,

смотрите на мир печальными глазами умного человека с перебитым хребтом... Ну, валяйте, я слушаю.

Роумэн отодвинул деньги:

— Если купите мою идею, придется начинать дело, Джо. Ваш фильм должен быть бомбой. Суперсенсацией. Вы пойдете по тропам, которые обозначены пунктиром по всему миру. Но сначала по ним пойду я. Ваш продюсер станет финансировать это дело?

— Вы никогда не жили в мире бизнеса, Пол. А кино — это бизнес. Это биржа жуликов, умеющих писать стихи. Если я говорю «да», я говорю «да». Но я говорю «да» только под реальное дело. А вы меня кормите загадками. Но я сам их загадываю не хуже вашего.

— Хорошо. Если я скажу вам, что главарь... Один из главарей нью-йоркской мафии Лаки Лучиано был героем американской разведки и воевал против нацистов, когда все были убеждены, что он отбывает тридцатилетний срок в тюрьме Денвера, — вас это заинтересует? Но работать на вас я буду лишь в том случае, если главную роль в фильме сыграет Фрэнк Зинатра...

Гриссар покачал головой:

— Нет.

— Боитесь неприятностей?

— Нет. У меня есть надежные адвокаты, это не страшно... Дело в том, Пол, что если бы вы рассказали мне, как человек пишет в камере, на стенах, новую «Тайную вечерю», а ему выкалывают глаза, если бы вы рассказали, что появился новый Паганини и что он чувствует скрипку так, как никто, а ему намеренно ломают пальцы на правой руке, и после этого он вступает в мафию, — тогда я вижу трагедию личности... Меня не интересует сенсация как таковая. Я перерос это... Тем более сам порою пользуюсь поддержкой людей «Коза ностры». Да, да, вполне надежные партнеры, в высшей мере благородны, убивают только тех, кто заслужил смерти... Я ищу человека, Роумэн... Мне нужен человек в искусстве, а не ситуация... понимаете?

— Это я понимаю... Я не очень понимаю вас... Вы взорвали изнутри тот образ, который я сам себе придумал.

— Так это же хорошо.

— Да. Это хорошо.

— Знаете, почему я так легко дал вам деньги, Пол?

— Влюбились? — Роумэн усмехнулся.

— Не смейтесь. Я дал вам деньги потому, что хочу включить магнитофон и слушать вашу исповедь: честный и умный человек делает то дело, которое ему ненавистно. Отчего? Причина? Исходный толчок? Это тема фильма. Всякий парадокс сценичен. А вы — «тюрьма в Денвере»...

— Кто вам сказал, что я осведомитель? Если, конечно, вам кто-то говорил это... Вы ведь тоже придумываете себе людей...

— Вы всегда называете тех, кто открывает вам секреты?

— Никогда.

— Вот видите... Но мне это сказал тот человек, который много знает, а потому не врет. Если уж он говорит, — он говорит правду.

— Вы с ним встречались в Вашингтоне?

— Нет. Он работает здесь. Хотите, познакомлю? Это — могу. Он не возражал против встречи.

— Это серьезно?

— Вполне.

— Я его знаю?

— Конечно, это Фрэнк Зинатра.

Домой Роумэн вернулся вечером; в комнатах было удивительно тихо и чисто.

— Крис, — позвал он из прихожей. — Конопушка, ты где?

Он бросил пиджак на пол, снял тяжелые туфли и отправился на кухню, повторяя все громче: «Крис! Крис, иди сюда! Не надо сердиться попусту! Крис!» Сделав себе еще одну (которую уж!) «блади-мэри», он, раскачиваясь, вошел в спальню, увидел на кровати записку, прочитал: «Я уехала, прощай, спасибо тебе, любовь моя, Пол», снял галстук и провалился в темное, душное забытье...

ЧЕРЧИЛЛЬ, ДАЛЛЕС, ФРАНКО, БЕН, 1947

То, что сделал Черчилль, вернувшись на Остров из поездки в Соединенные Штаты, где он сформулировал свое кредо в Фултоне, несколько удивило столичную прессу: старик отправился в район Чартвелла, в столь

любимый им уголок Британии, и купил пятьсот акров земли. «Если меня называют «бульдогом», — пошутил он, — попробую научиться охранять стадо племенных коров так же рьяно, как я пытался охранять Остров».

Через два дня он посетил Королевскую Академию живописи:

— Кое-что я написал в Америке, буйство красок Флориды подталкивает к мольберту, хотя значительно приятнее писать дождь, мелкий сеющий дождь; чашка грога после прогулки под таким дождем кажется верхом блаженства, ты становишься апостолом всепрощения и доброты.

На открытии вернисажа Черчилль пробыл недолго; пришла избранная публика, те, которые *обязаны* восхищаться; его, однако, интересовала реакция горожан: «Художник может считать себя состоявшимся только в том случае, если на него валят люди улицы; холодные аплодисменты снобов убивают живописца; если картины, книги, фильмы угодны массам — значит это искусство, или же мы живем среди дебилов, лишенных какого бы то ни было вкуса. Запретить культуру, как и навязать ее, — невозможно, в этом смысле опыт Гитлера более чем поучителен: все его «гении» оказались на свалке, а те, кого он называл «идиотами» и «малярами», остались достоянием человечества».

Собрав вокруг себя штаб — десять ученых, военных, журналистов, аналитиков, — Черчилль начал готовить главный труд своей жизни, историю второй мировой войны, считая, что более всех других имел основание создать этот труд, ибо был первым, объявившим войну Гитлеру в тридцать девятом году; такого рода актив не может быть забыт человечеством.

Работал он запойно, диктовал по тридцать, а то и сорок страниц в день; после завтрака (поридж, ломтик сыра, грейпфрут, кофе) устраивался в кабинете, ходил по старому хорезмскому ковру, окутывая себя сизым сигарным дымом, фразы строил мощные, точеные, стенографисткам порою казалось, что он репетировал текст ночью, так он был отработан и выверен; после обеда спал, в восемь часов вновь начинал работу, — и до полуночи; семьдесят два года, юношеская неутомимость, спокойный юмор, твердая уверенность в том, что проигрыш лейбористам — временная неудача, через три года

пора возвращаться на Даунинг-стрит, работы невпроворот...

Контролируя каждое слово, каждую свою мысль, Черчилль более всего боялся приоткрыться в главном; все то, что он делал после своего поражения на выборах, служило лишь одному: попытке столкнуть лбами «младшего брата» с Россией, ослабить, таким образом, позиции Америки и в результате этого вернуть Острову его былое величие, выдвинув Англию на роль мирового арбитра.

Как никто другой, он понимал, что его обвинение России в экспансии на запад есть игра, рассчитанная на американскую некомпетентность и веру в его политическую мудрость.

Думая о России, он отчего-то все чаще и чаще вспоминал молодость, когда, проиграв свои первые выборы в парламент, отправился корреспондентом лондонской «Морнинг пост» на юг Африки, писать репортажи о войне британцев против буров. Он ясно, в деталях, помнил, как тот бронепоезд, который проводил разведку в тылу буров, — выжженном и безлюдном, — попал в засаду; офицеры растерялись; он, Черчилль, — в восемьсот девяносто девятом году ему исполнилось двадцать пять лет (в кругу друзей он тогда шутил: «Как это страшно, когда тебе уже четверть века»), — организовал оборону, вывел людей из-под прицельного огня; при возвращении тем не менее попали в плен; его, как штатского человека, организовавшего оборону и командовавшего стрельбой, должны были расстрелять — статус военнопленного на него не распространялся, но его не казнили. «Мы тобою поторгуем, сын лорда, — сказали буры, — ты коечего стоишь». Человек отчаянной отваги, Черчилль совершил побег, шел через район военных действий, видел, что принесла бурам война; именно тогда он раз и навсегда уяснил для себя главное: победу на фронте решает состояние тыла.

Он думал сейчас, что разоренные районы Советов — вся Украина и Белоруссия, половина европейской части России, — не позволят Сталину, даже если тот и обуреваем мечтой о мировом коммунизме, начать боевые действия. Совершить — в этих условиях — попытку броска к Ла-Маншу явилось бы актом безрассудного отчаяния, а Сталин был человеком жестких логических умопостроений и каждый свой ход рассчитывал далеко вперед.

Черчилль отдавал себе отчет и в том, что любой бросок красных на Запад позволит солдатам Красной Армии увидеть Европу, хоть и разрушенную нацистами, но неизмеримо более комфортабельную, обустроенную и мощную, чем русские города и деревни; Сталин не вправе пойти на то, чтобы — до того, как он восстановит разрушенный тыл, — з а р а з и т ь громадную массу войск знакомством с европейской жизнью. Это могло, — как считал Черчилль, — привести к повторению Сенатской площади; без русской оккупации Парижа такого рода событие было бы вряд ли возможно.

Он понимал и то, что двинуть к Ла-Маншу гигантскую русскую армию, не имея запасов хлеба, масла, крупы, мяса, — особенно после того, как все поставки по ленд-лизу кончились, яичный порошок и тушенка исчезли с прилавков магазинов Советов, по-прежнему отпускавших товары по карточкам, означало гибель армии; он прекраснейшим образом отдавал себе отчет и в том, что удержать Западную Европу под советской оккупацией означало откомандирование на запад по меньшей мере десятимиллионной армии; кто и как ее прокормит? Кто и где ее разместит? Понимал он и то, что идти к Ла-Маншу, оставив в своем тылу Германию, было бы безумием.

Черчилль внимательно изучал стенограммы, вывезенные Троцким на Принцевы острова; речь, в частности, шла о яростной стычке на Политбюро между Сталиным и Предреввоенсовета республики в двадцать третьем году; узнав о начале восстания в Гамбурге, Троцкий потребовал немедленного марш-броска Красной Армии на помощь «братьям по классу»; Сталин возражал: «Мы были, есть и будем противниками экспорта революции; моральная помощь — да, вооруженная — нет, ибо это перечеркнет то, чего мы добились в Рапалло».

При этом Черчилль понимал, что Сталин намерен обезопасить свои новые западные границы, превратив пограничные государства в союзников; Рузвельт согласился с этим; он, Черчилль, был вынужден примкнуть к большинству, однако сейчас великого американского идеалиста не стало; время корректировать курс.

Он отдавал себе отчет в том, что повернуть политиков в Варшаве, Софии, Будапеште и Праге против Москвы из Лондона ныне невозможно.

Он прекраснейшим образом понимал, что ас оритет

красных в Восточной Европе по справедливости высок, ибо именно русские освободили эти страны от гитлеровской тирании, а ведущей силой подполья были коминтерновцы-коммунисты типа Димитрова, Костова, Тито, Пьяде, Берута, Гомулки, Ласло Райка, Ракоши, Кадара, Готвальда, Сланского, Георгиу-Дежа, Анны Паукер, Клементиса, Гусака и Василе Лука...

Следовательно, считал он, Сталина необходимо подтолкнуть к таким шагам, которые разрушат легенду о старшем брате, заставят людей в странах восточного блока пересмотреть отношение как к русским освободителям, так и к тому, кто их, русских, на данном историческом отрезке представляет, — к Сталину.

Поэтому, когда Джон Фостер Даллес, прилетевший с кратковременным визитом в Лондон, попросил о встрече, Черчилль сразу же ответил согласием.

Утром Даллес провел беседу с лейбористским министром иностранных дел Бивеном; тот был похож на колобок; из докеров; одет подчеркнуто небрежно, ботинки чиненые, не только вторые набойки на каблуках, но и заплаточка на том месте, где мизинец: видимо, торчит безымянный палец, есть такие люди, у которых на ногах не пальцы, а какие-то спаренные пулеметы; с Даллесом говорил откровенно, без островных амбиций; когда речь зашла о бульдоге, заметил:

— Он думает, что является лидером консервативной партии. Это неверно. Он всего лишь приманка. Да и вообще сейчас внутри консерваторов начал дебатироваться вопрос: является ли джентльмен обузой для тори или, наоборот, ее знаменем... Он не на тех ставит, мистер Даллес... Это его нынешний термин, он увлекся лошадьми, его скакуны принимают участие во всех наиболее престижных состязаниях... Он совершенно забыл, что кучка посредственностей, которых он ныне привлек для сотрудничества, была накануне войны именно той силой, которая не пускала его — самого выдающегося деятеля той поры — в правительство. Эти люди во многом виноваты, что вторая мировая война началась, мистер Даллес... И джентльмен знает это, но у него уникальная память: он моментально вычеркивает из нее то, что ему не угодно помнить... Он окружает себя обанкротившимися интеллигентами, которые живут представлениями середины двадцатых годов, но ведь времена меняются, мистер Даллес, увы, времена меняются...

...Черчилль сразу же пригласил Даллеса в свою конюшню; увлеченно рассказывал, что сейчас у него работают два онколога, изучают свойства конского пота и навоза для купирования раковых заболеваний; похвастался жеребцом «Лидер»: пришел вторым, привез восемь тысяч фунтов, согласитесь, совсем не плохо...

Даллес улыбнулся:

— Для человека, который пишет книги, становящиеся бестселлерами, восемь тысяч не играют особого значения...

— Я не пишу книги, — ответил Черчилль без улыбки, — я делаю состояние. Во время войны у меня не было времени думать о семье, сейчас меня к этому вынудили...

Когда пришли в дом, к обеду, Черчилль кивнул на ящик, стоявший в холле:

— Раз в две недели секретарь русского посольства привозит мне подарок от генералиссимуса — отборный грузинский коньяк... В сорок втором, когда я впервые прилетел в Москву, мы рассорились со Сталиным, я уехал в резиденцию, решив, что надо возвращаться на Остров, — без помощи Рузвельта мы не сговоримся; Сталин позвонил мне вечером, пригласил в Семеновское, на свою «ближнюю дачу»: «Не будем говорить о делах, господин Черчилль, я хочу угостить вас скромным грузинским ужином». Он хитрец, этот Сталин, он накачал меня коньяком, я пустился в воспоминания, он говорил, что во мне пропадает дар великого писателя авантюрных романов, я сказал, что в нем пропадает талант виночерпия, коньяк поразителен, застолье великолепно; с тех пор, вот уже пять лет, даже после отставки, русский дипломат привозит мне коньяк.

За обедом Даллес расхваливал коньяк Сталина, расспрашивал Черчилля о его впечатлениях, полученных при встречах со Сталиным один на один; Черчилль отвечал не сразу, тщательно выверяя фразы (стал ловить себя на мысли, что говорит так, будто в комнате есть кто-то еще, постоянно записывающий каждое его слово для истории).

— К явлению по имени Сталин просто так относиться нельзя. Он объект для пристального изучения.

— Мы изучаем его довольно тщательно, в разных университетах различных тенденций и пристрастий...

— Я помню, — Черчилль мягко улыбнулся, — как в

том же сорок втором мы закончили с ним очередной, как всегда, тяжелый разговор в Кремле; я вышел первым; прекрасный летний солнечный день; кремлевский коридор был похож на декорацию в королевском театре: ярко-белый свет из громадных окон сменялся внезапной темнотой стенных проемов; один из моих стенографистов задержался в кабинете Сталина, вышел следом за ним; Сталин, между прочим, ходит крадучись, ступает неслышно, как тигр перед прыжком...

Даллес заметил:

— Рано или поздно вы станете работать для кино, сэр.

— Потомку герцога Мальборо не прощают занятия живописью, — вздохнул Черчилль, — а уж кинематограф... Нет, меня отринет общество, а я, увы, пока еще не могу жить без общения со с в о и м и...

За кофе Даллес аккуратно поинтересовался:

— Как вы думаете, Уинни, на предстоящих выборах победит наш Дьюи? Или же вы все-таки допускаете переизбрание демократов. Трумэна?

Черчилль не сразу ответил на этот вопрос: он следил за тем, что происходило в Штатах, с а л ч н ы м интересом. он знал, какое сокрушительное поражение республиканцы Дьюи и Даллеса уже нанесли демократам Трумэна во время выборов в конгресс; его люди сообщали, что левая группа демократов, близкая к покойному Рузвельту, провела ряд встреч с генералом Эйзенхауэром, избранным президентом Колумбийского университета; самый популярный военачальник Запада может и должен быть президентом — это престижно; Черчиллю было известно, что об этом немедленно сообщили Трумэну и тот пригласил Айка на ланч; более того, из кругов, близких к генералу, Черчилль знал, что во время этого ланча Трумэн был грустен, жаловался на то, что конгресс и сенат подвергают его травле: «Нет ничего утомительнее должности президента в этой стране, генерал; завидую военным, приказ есть приказ, никаких дискуссий; я же нахожусь под прицельным огнем противников, которые не брезгуют ничем, они идут даже на то, что попрекают меня связями со старым добрым Томом Пендергастом, называя его гангстером, а меня его ставленником... Я слишком высоко ценю вас, генерал, я преклоняюсь перед вашим военным гением, я понимаю, что вы заслужили право на поклонение нации и заслуженный

отдых, но, может быть, вам попробовать выдвинуть свою кандидатуру на пост президента этой страны? В конечном счете надо уметь идти на жертвы во имя народа и демократии...» Искушенный в а п п а р а т н о й интриге, Трумэн такого рода пассажем вынудил Эйзенхауэра отказаться от выдвижения своей кандидатуры; демократический съезд назвал его кандидатом в президенты; республиканцы, — с подачи Даллеса, — губернатора Томаса Дьюи; опрос общественного мнения, проведенный Гэллапом, дал ошеломительные результаты: восемьдесят процентов американцев поддержали республиканского кандидата...

— Видите ли, — ответил наконец Черчилль, — как это ни странно, я бы желал победы Трумэну, хотя ваша концепция импонирует мне значительно больше.

— То есть? — Даллес удивился; как всякий американец, он привык к логике и пробойной точности линии: разве можно симпатизировать одной концепции, а желать победы носителю другой?

— Мавр должен сделать свое дело, — медленно, по слогам отчеканил Черчилль. — Именно так, Джон. Во-первых, как мне известно, Трумэн намерен запросить у конгресса четыреста миллионов долларов на военную помощь Турции и Греции; что означает развертывание американских войск на границах с Россией. Это вызовет бурю негодования в Европе, да и в левых кругах Америки, у людей того же вице-президента Уоллеса, он слепок всеми нами обожаемого Рузвельта. Так пусть этот шаг проведут демократы Трумэна, а не республиканцы Дьюи и Даллеса. Оставьте себе поле для маневра, это всегда таит в себе непредсказуемые выгоды. Во-вторых, государственный секретарь Бирнс говорил мне совершенно определенно: уже в начале осени сорок пятого года, — то есть за пять месяцев до того, как Советы начали травить меня в прессе, придумав пугающий, несколько наивный термин «поджигателя войны», — это я-то поджигатель войны, — в голосе Черчилля слышалась обида, — я, который первым бросил перчатку в лицо Гитлеру и возглавил борьбу против тирании на Европейском континенте?! — Трумэн сказал, что необходимо дать понять Сталину: в нашей внешней политике произошли кардинальные перемены. Вместо сотрудничества, на которое наивно уповал самый добрый человек двадцатого века мой друг Рузвельт, следует разворачи-

вать жесткую политику сдерживания русского влияния в Европе. Следовательно, не я, не Остров, подвигли мир на конфронтацию с Советами, а именно Гарри Трумэн... Пусть он продолжает эту работу, Джон, пусть... Погодите, пройдет немного времени, и я вернусь на Даунингстрит... Как раз в тот год вы и возглавите внешнеполитическую тенденцию Штатов... Мы тогда сможем договориться — если не со Сталиным, то с его последователями... Не думайте, что они лишены своей точки зрения, не считайте, что они легко простили Сталину чистки и гибель своих друзей... Теперь, третье... Мне рассказывали, что Трумэн, начав подготовку к кампании, пригласил на завтрак отца вашей бомбы Боба Оппенгеймера; я уж не знаю, как протекала беседа, но мне известно, что по окончании встречи Трумэн был очень раздражен: «Я не хочу больше видеть этого дурака! Не этот чертов идиот взрывал бомбу в Хиросиме, а я! От его истерик меня мутит! Баба! Истеричная, вздорная баба! Экий страдалец по цивилизации! Я не желаю слышать его причитания, — раз и навсегда». Это соответствует истине или информация следует быть отнесена к разряду хорошо сработанных слухов?

Даллес внимательно посмотрел своими ледяными глазами в постоянно смеющиеся, чуть выпученные глаза сэра Уинни:

— Ваша информация абсолютна. Трумэн сказал Дину Ачесону именно эти слова...

— Как вы понимаете, я это услышал не от Ачесона... Раскрутите на всю Америку, Джон, пусть слова Трумэна станут достоянием гласности... Я ведь знаю, что еще во время войны, накануне взрыва в Хиросиме, генерал Гровс провел среди своих атомщиков тест: стоит ли взрывать штуку? Только пятнадцать процентов опрошенных из ста пятидесяти создателей бомбы высказались за взрыв.

— Четырнадцать, — ответил Даллес. — Четырнадцать, сэр...

— Вот видите... Как я слыхал, Трумэн намерен пригласить на ужин Альберта Эйнштейна, старик активный противник бомбы, значит, он будет говорить с ним о мирных исследованиях атомного ядра... Пусть... Тем легче будет вам, когда вы придете к власти, профинансировать новые исследования по созданию ядерного оружия против русской угрозы...

— Против русской угрозы, — повторил Даллес, вздохнув. — К сожалению, фактически мы не вправе упрекнуть Сталина ни в одном шаге, который бы противоречил соглашениям в Ялте и Потсдаме... В сорок пятом он мог покатиться до Ла-Манша, а сейчас...

Черчилль покачал головой:

— Он не мог покатиться до Ла-Манша и тогда, Джон, потому что Россия лежала в руинах... Ни вас, ни меня не устраивает, что он укрепился в Восточной Европе... Если вы сможете вытолкать всех его дипломатов из Латинской Америки, Сталин начнет аналогичные мероприятия в Праге, Будапеште и Варшаве. Крутой характер генералиссимуса вызовет глубинно-негативные реакции в восточноевропейских странах, поверьте. Чем жестче вы, — а точнее Трумэн, — опозорите сталинских дипломатов в Латинской Америке, чем надежнее сможете заблокировать коммунистов во Франции и Италии, тем яростнее будет реакция Сталина, — что и требовалось доказать... И последнее... Мне нравится, как администрация работает на юге вашего континента, я жду межамериканского совещания, которое провозгласит большевизм главным врагом Северной и Южной Америки... Где Трумэн намерен проводить эту конференцию?

— В Колумбии, — ответил Даллес. — Или Венесуэле...

Черчилль покачал головой:

— Сделайте все возможное, чтобы это произошло в Бразилии, Джон. Единственная страна — от тропиков Мексики и до льдов Чили и Аргентины, — которая говорит не по-испански, это Бразилия... В Латинской Америке будут происходить процессы, подобные тем, что когда-то вызрели в содружестве наций... Пусть небрежение к испанскому языку ляжет грузом ненависти на Трумэна... Когда придете вы, проведете новую конференцию, в испаноговорящей стране... Это поможет вам, учитывайте амбиции испаноговорящего мира... И последнее, раз уж речь зашла об испаноговорящем мире... Я внимательно следил за выступлениями Громыко в Совете Безопасности против режима Франко... Я помню этого молодого русского посла по Ялте и Потсдаму... Он обладает даром историзма, что весьма опасно, и хваткой литвиновской школы; в отличие от Молотова он не начинает с «нет», он предлагает альтернативы, навязывает дискуссию и весьма убедительно оперирует доводами...

Если будут приняты его предложения до конца расторгнуть дипломатические отношения с Франко, делу европейского сообщества нанесут непоправимый урон: увы, единственно последовательной антибольшевистской силой на континенте является ныне этот отвратительный сукин сын, ставленник Муссолини и Гитлера, такова правда, и мы не имеем права закрывать на нее глаза... Я знаю, что ваш брат, талант которого и высокое мужество, проявленное в борьбе против гитлеризма, я высоко ценю, дружит с полковником Беном... ИТТ обладает в Испании абсолютными связями... Кому, как не Бену, подсказать Франко: пусть он продемонстрирует Объединенным Нациям единство испанцев в его поддержку... Как диктатор, возглавляющий тоталитарное государство, где партия организована в «министерство фаланги», он полностью управляет ситуацией... Пусть поставит спектакль... К сожалению, в борьбе против Советов мы не можем исключать Франко, как это ни досадно, — все же фашист всегда останется фашистом, эволюция невозможна...

Даллес довольно долго терпел монолог Черчилля; не выдержал наконец, заметив:

— В той книге, которую вы закончили в тридцать восьмом, ваша концепция была точно такой же: объединенная Европа договаривается с Германией и наносит удар по Советам...

Черчилль удивленно покачал головой:

— Вы меня с кем-то путаете, Джон, я никогда не считал возможным блок с Гитлером.

Даллес посмотрел на Черчилля с изумлением; тот, однако, говорил совершенно серьезно, и даже какая-то тень недоуменной обиды появилась в его красивых, выразительных глазах, которые казались сонными только тем, кто не умел чувствовать людей такого гигантского масштаба, каким был сэр Уинни, потомок великого Мальборо...

...Бен прилетел в Мадрид через два дня; пять часов спал в особняке, отведенном ему диктатором; приняв ледяной душ, пришел в себя; за огромным обеденным столом они сидели вдвоем с Франко, хотя уместиться здесь могло по крайней мере человек пятьдесят.

— Не очень болтало в полете? — поинтересовался Франко, чуть кивнув лакеям: три человека стояли за его спиной, трое — за спиной Бена; статика огромного зала сменилась движением; лакеи принесли Бену угощения, — как обычно, весьма скромные: марискос*, хамон**, жареные осьминоги.

— Болтало, — ответил Бен, сразу же принявшись за еду: в полете всегда помногу пил, с похмельем начинался совершенно патологический голод, мог съесть быка; особенно любил отмокать, нахлебавшись горячего черепахового супа с гренками; хмель выходил с потом, наступала расслабленная успокоенность, глоток виски купировал слабость — самое время для делового разговора.

Однако на этот раз он сразу же попросил Франко о беседе с глазу на глаз:

— Потом попирую, генералиссимус, — сначала дело, оно крайне важно, после этого, вероятно, вы захотите прервать трапезу на несколько минут, чтобы дать соответствующие указания подчиненным, время не терпит, а я во время паузы нажму на бульон, простите мою плебейскую страсть.

Франко ответил без улыбки:

— Мне легко говорить с вами, полковник, именно потому, что я тоже рожден в простой семье и всего достиг сам.

Он чуть приподнял мизинец; этого неуловимого жеста было достаточно, чтобы лакеи немедленно удалились: за спиной каудильо остался лишь двухметровый Диас, шеф личной охраны; Бен вопросительно посмотрел на генералиссимуса. «Он глух и нем, — заметил диктатор. — Я не вправе отослать его, возможны трения с кабинетом: по решению правительства я не имею права встречаться с кем бы то ни было вне присутствия Диаса».

— Ну что ж, — кивнул Бен, — не будем ссориться с правительством... Так вот, я привез вам срочное сообщение от тех, кого вы называете своими врагами... Это сообщение тем не менее сформулировано в Лондоне и Вашингтоне людьми, которые желают Испании добра... Словом, вам советуют ответить на выступления русского посла Громыко в Совете Безопасности немедленной и

---

* Рыбный коктейль (исп.).
** Сухая ветчина (исп.).

мощной демонстрацией народа в поддержку вашему режиму...

— Моему режиму? — удивленно переспросил Франко. — Режимы личной власти свойственны тоталитарным государствам, тогда как Испания демократическая страна, где каждому гражданину гарантирована свобода слова и вероисповедания. Да, мы были вынуждены временно запретить забастовки, но это форма борьбы против коммунизма... Да, мы временно ограничили деятельность газет оппозиции, — опять-таки по этой же причине. Однако наша профсоюзная пресса, в первую очередь «Арриба», критикует предпринимателей и нерадивых чиновников администрации со всей резкостью, которая и необходима в борьбе с коррумпированным злом...

«Кому он врет? — подумал Бен. — Себе или мне? А может, он верит в то, что говорит? Десять лет все приближенные талдычат ему эти слова, почему бы и не разрешить себе уверовать в них? Один миллион испанцев он расстрелял, два миллиона пропустил через концлагеря, десять процентов населения задавлено страхом, конечно, они готовы его славить, лишь бы не очутиться в Карабанчели *. Смешно: как, оказывается, просто создать иллюзию народной любви — побольше пострелять и надежно посадить за решетку, остальные станут овечками. Найти бы таких людей, как Франко, в Латинской Америке! Так ведь нет, индейская кровь, индейцы лишены страха, первородный грех свободолюбия...»

— Генералиссимус, ваши друзья ждут немедленных массовых манифестаций народа против вмешательства Совета Безопасности во внутренние дела Испании...

— Я не боюсь интервенции, — ответил Франко. — Да вы на нее и не решитесь, конгресс будет дискутировать, потом сенат, пройдет год, в это время Сталин войдет в Париж и вы пришлете сюда свои танки, потому что фашистская Испания окажется последним бастионом демократии на Европейском континенте...

— Речь идет не об интервенции, — ответил Бен. — Мы думаем включить Испанию в число государств, наравне с Турцией, Грецией, Италией, которой будет оказана самая широкая экономическая помощь... Я обязан поделиться с вами конфиденциальной информацией: генерал Маршалл готовит план, который вдохнет жизнь во все страны Западной Европы. Расцвет Запада будет противопоставлен карточной системе Востока...

* Тюрьма в Мадриде.

Через три дня, с самого раннего утра сотни тысяч мадриленьянс начали стекаться на Плаца де Ориенте; даже площадь была выбрана алькальдом Мадрида Морренo Торесом не без умысла: народ поддерживает своего генералиссимуса на восточной площади, Испания, таким образом, заявляет себя бастионом Запада; здесь генералиссимус и обратился к нации:

— Ни одна сила в мире не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны! Это вызов великим принципам демократии и свободы, которым всегда следовала, следует и будет следовать Испания! Мы никому не позволим разрушить наше единство и наше общество всеобщего благоденствия! Никто и никогда не сможет забрать у нас ту свободу, которую мы завоевали в смертельной схватке с мировым коммунизмом!

Восторженный рев толпы, крики: «Франко, Франко, Франко!» — продолжались несколько минут; через час радиостанции мира передали сообщение об этом фантастическом митинге в поддержку каудильо: полмиллиона человек продемонстрировали свою верность «диктатору свободы и национального возрождения».

Через три дня Франко выступил в Сарагосе; на митинг было рекомендовано прийти шестистам тысячам человек; впрочем, подавляющее большинство пришло добровольно, — даже те, которые всего десять лет назад носили на груди портреты Дурути и Ларго Кабальеро, — ах, память, память...

— Мы должны сказать прямо и без обиняков, что живем в мире, который находится на грани новой войны, — провозгласил Франко. — Вопрос лишь в том, чтобы точно просчитать наиболее выгодный момент для того, чтобы ее объявить!

Через несколько дней сенатор О'Конски внес предложение об оказании экономической помощи Франко и развитии с ним торговых и культурных отношений; по всем европейским столицам прокатились мощные демонстрации протеста: «Два миллиарда долларов на развитие фашизма — позор Белому дому!»

Франко принял группу экспертов из Парижа; посмеиваясь, он спросил:

— Когда ваше правительство снимет санкции против моей страны? Когда вы откроете границы? Или коммунистический подпевала де Голль получил приказ из Кремля продолжать слепую антииспанскую политику? Долго ли он ее сможет проводить? Мы же отныне союзники Соединенных Штатов, хотят того в Париже или нет...

...Когда Бен улетал в Нью-Йорк, его провожал адмирал Кареро Бланко, самый доверенный друг Франко, не скрывавший и поныне своих симпатий к Гитлеру: «Это был великий стратег, великий антикоммунист... Если бы не его чрезмерная строгость против евреев, — он бы поставил разболтанные европейские демократии на колени». Бен поинтересовался: «А Россию?» Кареро Бланко убежденно ответил: «Он был слишком мягок со славянами. Там была необходима еще более устрашающая жестокость. Пройдет пара лет, и вы убедитесь в правоте моих слов... И еще: евреи играли большую роль в противостоянии фюреру; они занимали большие посты в Кремле... Если бы Гитлер гарантировал им свободу, Россия бы распалась, как карточный домик, русские не умеют управлять сами собой, им нужны иностранные инструкторы, — неполноценная нация». Бен посмеялся: «А как же объяснить феномен Толстого, Чайковского, Гоголя, Прокофьева, Менделеева?» Кареро Бланко не был готов к ответу, эти имена ему были плохо известны, однако он усмехнулся: «Поскребите этих людей, и вы увидите, что русской крови в них практически не было». Бен рассердился: «А в Эль Греко была испанская кровь, адмирал?!»

...Уже возле трапа самолета (Бен летал на новеньком «Локхиде») Кареро Бланко сказал:

— Полковник, ваши люди почему-то оберегают некоего русского агента в Аргентине... Очень высокий уровень, достаточная компетентность... Нам неизвестны ваши планы, вы нас в них не посвящаете, но вполне серьезные люди, конструирующие внешнеполитические аспекты государственной безопасности, — а ей грозит большевизм, и никто другой, — считают, что далее рисковать нельзя... Этот человек должен быть нейтрализован...

— Кого вы имеете в виду? — удивился Бен.

— Некоего Макса Брунна, полковник. Он служил в мадридском филиале ИТТ, а теперь находится где-то в Аргентине...

— В первый раз слышу это имя, адмирал, — ответил Бен. — Спасибо за информацию, я переговорю с моими друзьями...

КРИСТА, ОСЛО 1947

Вернувшись в дом родителей, где пахло сыростью и торфяными брикетами, первые два дня Кристина пролежала на широкой кровати; она подвинула ее к окну, чтобы был виден фьорд; вода казалась бритвой, прокаленной в пламени, — серо-бурая, с тугим, нутряным малиновым высветом; было странно видеть, как по этому металлу скользили лодки; доверчивость их хрупкой белизны была противоестественной.

...В магазинах продукты питания продавали еще по карточкам, хотя помощь из Америки шла ежедневно; хозяйка соседней лавки, фру Иенсен, узнав Кристу, посоветовала ей обратиться в магистрат; на рынке она смогла купить несколько ломтиков деревенского сыра, булочку и эрзац-кофе; этого ей хватило; она сидела, подложив под острые лопатки две большие подушки, пила коричневую бурду и размышляла о том, что ей предстоит сделать в понедельник.

Слава богу, что купила в аэропорту сигарет, вспомнила она: здесь это стоит безумных денег; глоток кофе без сахара, ломтик сыра и затяжка любимыми сигаретами Пола, солдатскими «лаки страйк», рождали иллюзию безвременья; несколько раз Криста ловила себя на мысли, что вот-вот крикнет: «Па!» Это было бы ужасно; иллюзии разбиваются, как зеркало, вдрызг, а это к смерти, с приметами и картами нельзя спорить.

В воскресенье Криста достала стопку бумаги из нижнего ящика шкафа, отточила карандаш, нашла папку, в которой отец хранил чертежи, и снова устроилась возле окна, составляя график дел на завтрашний день; отец приучил ее расписывать время. «Это очень дисциплинирует, сочетание слова и цифры символизирует порядок, вечером будет легче подвести итог сделанному».

Но все равно в десять я буду дома, подумала она; в

пустом доме, где жива память о том, чего больше никогда не будет; а без прошлого будущее невозможно...

Криста взяла с тумбочки Библию; перед сном мама обычно читала несколько страниц вслух, будто сказку Андерсена, порою пугаясь того, что прочитывала; Криста открыла «Песнь песней» и, подражая матери, стала шептать, скорее вспоминая текст, чем читая его:

— Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, прекрасная моя возлюбленная, выйди! Голубица моя, в ущелии скалы под кровом утеса! Покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники ваши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор. На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя, искала его и не нашла. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла...

Криста слизнула со щек слезы, поднялась, быстро, как-то даже лихорадочно оделась и вышла на улицу; не бойся, сказала она себе, ты живешь в свободном городе, здесь нет немцев, нет комендантского часа, иди, куда хочешь, иди в центр, сядь в кафе и закажи себе чего-нибудь выпить, ведь иначе не уснуть, нет ничего страшнее привычки, как ужасно, когда любовь делается привычной...

В аптеке на углу улицы Грига старенькая бабушка в хрустящем халате и с серебряными, несколько даже голубоватыми волосиками, прижатыми к черепу сеточкой, продала ей снотворное: «Это очень легкое, утром вы не ощутите усталости, милая девушка, но лучше все же к нему не привыкать»...

В кафе было полно людей, отчего-то больше всего моряков; Криста слышала шум, смех, пьяные разговоры, музыку; это еще ужаснее присутствовать на чужих праздниках, — вроде как на собственных поминках...

Вернувшись домой, она завела будильник и приняла две таблетки, но уснула только под утро...

В приемной магистратуры ей выдали талон номер двенадцать, сказали, что ждать придется не менее получаса, простите, бога ради, но сейчас масса работы, начинается бум, люди едут из провинции, огромное количество дел.

Чиновник, принявший ее, поклонился довольно сухо, извинился, что не может угостить чаем, дефицит, и предложил излагать дело, которое волнует милую фрекен, по стадиям: «Так мне будет удобнее составить подробную картину, женщины слишком экспансивны, за чувствами теряется сухой прагматизм бюрократической логики».

— Я вернулась из Соединенных Штатов... Я уехала отсюда осенью прошлого года, потеряла право на карточки...

— Вы приняли американское гражданство?

— Нет, нет... Мы... Я не успела...

— Где вы работали ранее?

— Я заканчивала докторантуру.

— Я прочитал ваше заявление... Вы дочь профессора Кнута Кристиансена?

— Да.

— У кого вы учились?

— У профессора Дорнфельда.

— Он умер.

Криста схватилась подушечками пальцев за вмиг побледневшие щеки:

— Сердце?!

— Нет, профессор добровольно ушел из жизни. В прощальном письме он отметил, что не хочет умирать, разочаровавшись в людях окончательно: «Пусть со мной уйдет хоть капля доверия»...

— А в чем... Почему это случилось? Когда?

— В мае этого года... Кто-то написал в газету, что профессор коллаборировал с Квислингом *... А он хлопотал за арестованных учеников и коллег... И во имя этого действительно сделал два заявления на радио, которые при желании можно расценить как лояльные по отношению к оккупантам... Да, это очень горько, погиб ни в чем не повинный человек... Кто был — в ваше время — ассистентом профессора, фрекен Кристиансен?

— Доктор Персен.

* Премьер Норвегии, назначенный Гитлером.

Чиновник ловким жестом снял трубку, бросил ее на плечо, раскрыл справочную книгу, набрал номер, поприветствовал доктора Персена, ответил на его вопрос по поводу подключения дополнительных номеров на телефонной подстанции (видимо, в конце этого месяца ваша просьба будет удовлетворена), а затем поинтересовался, как быстро может быть отправлена справка о фрекен Кристиансен; да, да, она вернулась; нет, она у меня; не премину; благодарю вас; значит, мы можем выдать фрекен карточки? Она по-прежнему считается вашим докторантом? Благодарю вас, это очень любезно с вашей стороны, я надеюсь, что завтра справка будет у меня на столе, вы же знаете, как нас мучают проверки, пичего не попишешь, еще год с продуктами будет сложно, до свидания.

Чиновник поднял на Кристину глаза; очень усталые, видимо, сильно близорук, однако, судя по всему, очков не носит; рубашка довольно старая, несколько даже застиранная, воротничок подштопан:

— Ну, вопрос хлеба насущного мы с вами решили, фрекен Кристиансен, это главное. Карточки вам выпишут в комнате номер три, я позвоню, когда вы туда пойдете. Вы сказали, у вас три вопроса. Пожалуйста, второй.

— Я бы хотела просить о помощи — устроиться на работу...

— Хм... Это прерогатива биржи... Впрочем, какую работу вы имеете в виду?

— Я должна подрабатывать, пока не защищу диссертацию... Я готова на любую работу...

— Физическую?

— Если речь пойдет об уборщице или ночном стороже — я согласна...

— Я бы посоветовал вам зарегистрироваться в очереди на посудомоек в ресторанах, особенно привокзальных, это сэкономит вам массу денег... Я постараюсь сделать все, что могу, но вам придется выполнить необходимую формальность, это окно номер два на первом этаже. Что еще?

— Я слыхала, что семьям погибших от рук гитлеровцев полагается пособие...

— А разве вы не получали?!

— Нет... А сейчас мне придется платить за включение

телефона, за отопление, воду... Это большие деньги... Мне неловко просить о пособии, но выхода нет... Когда я устроюсь на работу, можно будет отказаться...

— Пособие дается единовременно... Сколько вам было лет, когда погиб ваш отец?

— Я была совершеннолетней...

— Чем вы занимались?

Кристина почувствовала, как кровь прилила к щекам:

— Я... Я тогда... училась...

— Хорошо, тут нам не обойтись без справок: о вашем отце и о вас...

— Мама тоже погибла...

— Разве она работала?

— Нет. А это влияет на дело?

— Если бы она также занимала какой-то пост, пособие могло быть больше процентов на двадцать... Только не обольщайтесь по поводу суммы, фрекен Кристиансен, это небольшие деньги... Впрочем, на то, чтобы расплатиться за отопление, воду и телефон, вам хватит. Это все?

— Да, благодарю вас, вы были очень добры...

— Это моя работа, не стоит благодарности... И пожалуйста, попросите в ходатайстве кафедры приписать, что вы не были замешаны в коллаборанстве, это крайне важно для всего дела. Не смею вас более задерживать, до свиданья.

Господи, какое же это счастье говорить на своем языке, подумала Кристина, выйдя из магистратуры; все дело заняло двадцать девять минут; продуктовые карточки на лимитированные товары были уже готовы, когда она вошла в комнату номер три; всего семь минут пришлось подождать в очереди, где ставили на учет ищущих работу; порекомендовали сегодня же посетить главного повара ресторана в отеле «Викинг», господин Свенссон, он будет предупрежден, но, пожалуйста, не употребляйте косметику и оденьтесь как можно скромнее.

Адвокат, доктор права Хендрик Мартенс передвинул кресло так, чтобы на лицо не падали солнечные лучи, заметив при этом:

— Однако и в свете яркого солнца вы так же прекрасны, как в тени, фрекен Кристиансен.

— Благодарю вас за комплимент, доктор Мартенс.

— Это не комплимент, а чистая правда... Я к вашим услугам...

— Доктор Мартенс, я хотела бы обратиться к вам сразу по двум вопросам... Первое: мой отец погиб в гестаповской тюрьме. Он был арестован неким Гаузнером. Ныне, как я слыхала, этот Гаузнер проживает в Мюнхене и работает в организации некоего доктора Вагнера... Словом, оккупационные власти знают его адрес, он сотрудничает с ними. Я бы хотела выяснить, кто отдал Гаузнеру приказ об аресте моего отца, профессора Кристиансена, кто расстрелял его и кто отправил маму в концлагерь, где она и погибла. Второе, — заметив, как адвокат подвинул к себе листки бумаги, чтобы начать записывать данные, Криста напористо, без паузы заключила, — и немаловажное заключается в том, что у меня сейчас нет наличных денег для уплаты расходов... Однако, если вы возьмете на себя труд продать мой дом на берегу Саммерсфьорда и, возможно, нашу яхту, то, думаю, вопрос с оплатой ваших трудов в Мюнхене отпадет сам по себе...

— Вы единственная наследница? Никто не может предъявить претензий на имущество?

— Нет, нет, я одна...

— Замуж не собираетесь? — улыбнулся адвокат. — Муж вправе претендовать на определенную часть суммы...

— Я замужем, господин доктор.

— Необходимо согласие вашего мужа, чтобы я начал дело о продаже собственности. Попросите его заглянуть ко мне или написать коротенькое письмо, я его заверю здесь же, у меня есть гербовая печать, не зря плачу налоги правительству.

— Мой муж живет в Соединенных Штатах.

— Но он скоро вернется?

— Не очень скоро. У него бизнес, он не волен распоряжаться своим временем.

— В таком случае он должен прислать телеграмму, заверенную его юристом. Вы сможете организовать это?

— Конечно. Я закажу телефонный разговор, объясню ему суть дела, и телеграмма будет отправлена в течение суток... Но я ставлю второй пункт разговора в зависимость от первого, господин доктор Мартенс. Согласны ли вы взять на себя дело о преследовании лиц, виновных в гибели моих родителей?

— Вы понимаете, конечно, что это не слишком дешевое дело? Необходима поездка в Мюнхен... Не знаю, куда еще... Все это оплачивает клиент, то есть вы. Это большие деньги... Вы намерены потребовать компенсации от господина... Простите, я не успел записать имя...

— Гаузнера. И тех, кто стоит за ним, господин доктор Мартенс.

— Каков должен быть... Словом, сколько вы хотите с них получить?

— Я бы хотела послушать ваше предложение.

— Сколько лет было вашему отцу, когда он погиб?

— Сорок семь.

— Ах, какой ужас! Совершенно молодой человек, профессор, светило... Вы помните его годовой заработок?

— Нет, я никогда этим не интересовалась... Честно говоря, меня не интересуют деньги... Они очень интересуют гаузнеров и их начальников... Вот я и хочу ударить их по больному месту... С волками жить — по-волчьи выть.

— Могу ли я предложить вам чашку чая?

— Да, благодарю, у меня еще есть время...

Адвокат вышел в приемную, попросил пожилую машинистку с невероятно длинным носом приготовить две чашки чая, вернулся за свой стол и, потерев хорошо ухоженным пальцем переносье, заметил:

— Я понимаю всю безмерность вашего горя, фрекен Кристиансен, но ведь Германия уже понесла возмездие... Страна в руинах... Правительство повешено в Нюрнберге... Я боюсь, вы затратите много денег, но компенсации — я имею в виду материальную сторону вопроса — не получите... Они банкроты, им нечем платить...

— Но ведь я смогу привлечь их к суду? Если вы их найдете, если вы соберете данные в наших архивах, а они сохранились, как я слыхала, мы сможем обратиться в суд? Меня удовлетворит процесс против мерзавцев...

— Фрекен Кристиансен, я сочувствую вашему горю, поверьте... Но сейчас время изменилось... Опасность с востока делается реальной... Тенденция не в вашу... не в нашу пользу... Увы, единственной силой, которая может спасти цивилизацию от большевистского тоталитаризма, Запад видит именно Германию... Если постоянно пугать человечество ужасом немецкого национал-социализма, мы можем оказаться беззащитными... Нет, нет, если вы настаиваете, — адвокат увидел в глазах Кристы нечто такое, что заставило его резко податься вперед, он захо-

тел положить руку на ее пальцы, стиснувшиеся в жалкие, худенькие кулачки, — я приму ваше дело, не думайте! Выдвигая свои контрдоводы, я думаю в первую очередь о вас, о ваших интересах!

Секретарша принесла чай, повела своим носом над чашками, тряхнула черной челкой, отчеканила:

— Непередаваемый аромат; «липтон» всегда останется «липтоном».

— Я полагаю, — сухо заметил адвокат, — вы приготовили три порции? Угощайтесь в приемной, фрекен Голман, я знаю, как вы неравнодушны к настоящему чаю.

— О, благодарю вас, господин доктор Мартенс, вы так добры...

Секретарша кивнула Кристе, не взглянув на нее, и, ступая по-солдатски, вышла из кабинета; бедненькая, подумала Криста, как ужасно быть такой уродинкой; она обречена на одиночество; нет ничего горше, чем жить без любви; хотя можно придумать идола, по-моему, она уже придумала, влюблена в своего шефа, у нее глаза п л ы в у т, когда она глядит на него.

— Чай действительно прекрасен, — сказала Криста, хотя «липтон» был почти без запаха, в Голливуде такой сорт даже не продавали, в основном чай поставлял Китай, феноменальный выбор, сортов тридцать, не меньше, да еще Латинская Америка; все-таки, когда всего слишком много, — плохо; приходится долго думать, что купить, одно расстройство.

— Это подарок британского капитана... С ним был несчастный случай, он сшиб велосипедиста, я принял на себя защиту, все уладил миром, ну и получил презент: картонную упаковку «липтона», — пояснил адвокат Мартенс.

— Я начну диктовать те фамилии, которые мне известны?

— Все же вы решили начать это дело?

— Да.

— Хорошо, я готов записывать... Не угодно ли сначала выслушать мои условия?

— Я их принимаю заранее, вы же лучший адвокат города...

— Так говорят мои друзья. Если вы повстречаетесь с недругами, вам скажут, что я бессовестный эксплуататор человеческого горя, рвач и коллаборант...

— Но вы не имели дела с нацистами? — Криста закурила мятую «лаки страйк», сразу же увидев постаревшее лицо Пола близко-близко, так близко, что сердце сжало тупой болью.

— Каждого, кто не сражался в партизанских соединениях, не эмигрировал в Лондон и не сидел в гестапо, поначалу называли коллаборантами, фрекен Кристиансен. Это бесчестно, а потому — глупо. Я продолжал мою практику при нацистах, это верно. Я не скрывал у себя британских коммандос, но я защищал как мог людей, арестованных гитлеровцами. В условиях нацизма понятие «защитник» было аморальным... Если человек арестован, значит, он виноват и подлежит расстрелу или обречен на медленное умирание в концлагере. А я оперировал законом, нашим, норвежским законом... Слава богу, в архивах гестапо нашлась папка с записью моих телефонных разговоров, это спасло меня от позора, — за коллаборантами они не следили... Да, у меня в доме бывали чины оккупационной прокуратуры, я угощал их коньяком и кормил гусями, чтобы они заменили моим подзащитным гильотину каторгой, — хоть какая-то надежда выжить... Я хотел приносить реальную пользу моему несчастному народу, и я это делал... Мне больно обо всем этом говорить, но вы можете поднять газеты, — я обратился в суд против тех мерзавцев, которые меня шельмовали... В начале войны они сбежали в Англию, занимались там спекуляцией, за деньги выступали по радио, призывая к восстанию и саботажу, а я, оставшись на родине, защищал саботажников и спасал их от гибели... Я выиграл процесс, фрекен Кристиансен, в мою пользу свидетельствовали те, кого я спас... Кстати, клеветали на меня люди моей же гильдии, адвокаты, они потеряли позиции в правозащитных органах за время эмиграции, — вопрос денег и клиентуры, понятно и младенцу...

— В каких газетах был отчет о процессе?

— Во всех. Да, практически во всех... Если хотите, я покажу вам. У меня это хранится, хотя, честно говоря, каждый раз начинается сердцебиение, когда пересматриваешь все это...

— Я была бы вам очень признательна, доктор Мартенс.

— Вы можете взять с собою копию, потом вернете.

— Спасибо... Перед тем, как я начну диктовать вам фамилии...

Адвокат мягко улыбнулся:

— Перед тем, как вы начнете диктовать фамилии, я все же обязан сказать свои условия... Возможно, вас не устроит мой тариф... Я *дорогой* правозащитник... Словом, вы будете обязаны выплатить мне — в случае успеха *нашего* дела — пятую часть из той суммы, которую вам перечислят из Мюнхена. Понятно, вы оплачиваете мои расходы по поездкам в американскую зону оккупации, перепечатку необходимых документов, телефонные переговоры и аренду транспорта. Полагаю, сумма может вылиться в три, а то и четыре тысячи долларов. Естественно, я не включаю сюда деньги, которые вам придется внести в суд, — если дело дойдет до процесса, — для вызова свидетелей, их размещения в отелях и питания, это еще две, три тысячи... Боюсь, что расходы съедят значительную часть тех денег, которые *мы* выручим за ваш дом...

— У меня есть и яхта...

— Я понимаю. Но ведь вместо дома вам надо купить какую-то квартиру? Словом, я ознакомил вас с моими условиями. Они вполне корректны... Если бы дело не было связано с мщением нацистам, я бы запросил больше.

— Я согласна... То есть я позвоню вам вечером, когда прочитаю отчет о вашем процессе... Это будет окончательное согласие... Но я хочу, чтобы вы собрали уликовые материалы не только против Гаузнера, он, мне кажется, был из военной контрразведки, но и против гестаповцев, начиная с группенфюрера Мюллера, он отдавал приказы на казнь.

— Как мне известно, он погиб при осаде Берлина.

— Он погиб, но его заместители остались. Словом, меня интересуют материалы о карательном аппарате Гитлера, — пусть это будет стоить не четыре тысячи, а восемь — я пойду на это.

— Муж — в случае нужды — сможет помочь вам?

— Он американец, а это — мое дело, господин доктор Мартенс, это норвежское дело...

— В таком случае, это дело не ваше, а *наше*... Я тоже норвежец... Диктуйте, я весь внимание...

В редакции «Дагсблатт» Кристину направили в отдел новостей; в большой комнате стояло восемь столов, по

два телефона на каждом, в промежутке между ними — пишущие машинки, треск и крик, как можно работать в таких условиях — содом и гоморра.

— С кем я могу посоветоваться? — спросила Криста высокого, худого как жердь парня в свитере с рваными локтями, что сидел за машинкой, но не печатал, а, тяжело затягиваясь, жевал сигарету, пуская к потолку упругую струю дыма.

— О чем вы хотите посоветоваться со мной? — спросил парень, внезапно скосив на Кристу бархатные, с игрою, глаза, — конь на гаревой дорожке.

— О нацизме, — усмехнулась женщина. — Компетентны?

— Нет, это не по моей части, — ответил журналист. — Обратитесь к Нильсену, он дока.

— Где он?

— У нас он бывает редко, работает в кафе «Моряк», на набережной, и живет там же, на втором этаже... Если хотите — могу проводить. Как у вас, кстати, вечер?

— Занят, — ответила Криста и вышла из редакции.

Нильсен оказался стариком с копной пегих — то ли седых, то ли выгоревших на солнце — волос, в легком свитере и американских джинсах; обут тем не менее был в модные мягкие туфли, они-то и рождали некоторое отчуждение между ним и посетителями кафе, которые и говорили-то вполголоса, стараясь не помешать асу журналистики, легендарному партизану и диверсанту, сидевшему здесь с раннего утра и до закрытия; отсюда, не убирая со стола рукописей, он уходил в редакцию и на радио, сюда возвращался на обед, поднимался к себе на мансарду, чтобы поспать среди дня (привычка с времен молодости, когда служил моряком на торгашах); никто не смел подходить к его рабочему месту; хозяйка, фру Эва, была счастлива такому знаменитому завсегдатаю, деньги брала за месяц вперед, по сущую ерунду, реклама стоит дороже.

...Выслушав Кристину, не перебив ее ни разу, не задав ни одного уточняющего вопроса, Нильсен достал из кармана своих широких джинсов трубку-носогрейку, набил ее крупно резанным табаком, медленно, с видимым наслаждением раскурил, и только после того, как сделал две крутые затяжки (явно молодой конь из отдела новостей взял у него манеру затягиваться, отметила Кристина, один стиль, хотя тот курит сигареты) и, наконец, под-

нял бездонно-голубые, совершенно юношеские глаза на женщину:

— Таких историй, как ваша, я знаю тысяч пять, милая моя... Нацизм рождает типическое, только свобода хранит образчики сюжетной индивидуальности... Чего вы хотите добиться вашей борьбой? Человечество мечтает забыть нацизм... Страшное всегда норовят выкинуть из памяти. Люди рвутся на концерты джазов и музыкальные вечера, где можно всласть натанцеваться... Если бы вы были писателем — это я понимаю! Нацизм — пища для интеллектуала, есть обо что точить свою ненависть, каждый художник ненавидит жестокость и конформизм; тоталитарное государство Гитлера было воплощением именно этих двух качеств, при этом можно не задевать свое, думаете, у нас мало дерьма, в условиях многопартийной демократии?! Ого-го! Но ведь я не ее браню, любимую... А прошлое... Всегда удобно бранить прошлое... Вы называли людей в Испании и Португалии, которые вроде бы продолжают дело Гитлера... Доказательства? Факты? Вы думаете, если я отправляюсь туда — хотя вряд ли, слишком дорого стоит билет, — они сразу же откроют мне правду?

— Они вздрогнут, — ответила Кристина. — Они как пауки. А когда паук вздрагивает, видно трясение всей паутины...

— А у вас есть лаборанты, которые станут наблюдать за трясением паутины? Я допускаю, что она существует, но сколько вы наберете Дон Кихотов, которые готовы на драку? С силой можно бороться только силой. Она есть у вас?

Криста согнула руку, кивнула на плечо:

— Вот мои мускулы.

Нильсен усмехнулся, лицо его подобрело, сделавшись старым и дряблым. «Отчего к старости люди делаются добрее, чем в зрелые годы?» — подумала Кристина; это закономерность, интересно бы посчитать, состыковавшись с биологами, они без нас, математиков, ответ на этот вопрос не дадут.

— Выпить хотите? — спросил Нильсен. — Выбор скуден, но наливают до краев.

— Мне надо в университет, там неудобно появляться пьяной.

— Кристиансен — ваш отец?

— Да.

— Мы пытались его отбить... Его доцент готовил операцию, мы хотели отбить вашего отца, когда его возили на машине из тюрьмы на допрос в гестапо, все было на мази, но потом забрали доцента, дело полетело кувырком...

Закурив, Кристина долго кашляла, оправляла на себе юбку, потом спросила:

— А вы не сидели?

Нильсен покачал головой:

— Я — везун... Пил много... Я, милая фрекен, пил от страха... Пять лет прожил в страхе, оттого сейчас и начал писать... Страх подвигает человека к фантазиям... Сколько их у меня в голове?! — Он пыхнул трубкой-носогрейкой. — Объясните, что изменится, опубликуй я список нацистов, которые укрылись от возмездия? Папен был оправдан трибуналом в Нюрнберге, а он лично передал портфель канцлера фюреру. Шахт оправдан, а он финансировал создание армии и гестапо. Их, правда, потом осудили в немецком трибунале, но это же чистой воды ужимки, западные немцы потирают руки: «Вот у нас уже и свой суд есть!» Дерьмо не тонет... В политике выгодно сохранять монстров, глядишь, при неожиданном повороте курса пригодятся, политика похожа на калькулятор, любит счет...

— Скажите: адвокат Мартенс — честный человек?

— А что такое честность?! — Нильсен пожал плечами. — С точки зрения «буквы» его можно было лишить права на профессию, но если подойти к делу с прагматической точки зрения, то именно он спас стране десять патриотов, талантливых и добрых людей... Причем в Англии у него были родственники, он бы там не бедствовал, да и образование получил в Оксфорде, в отличие от тех маленьких адвокатишек, которые и начали против него кампанию, отсидевшись в Лондоне... Нет, не знаю, как кто, а я к нему отношусь вполне спокойно, он оказался честнее многих, он хоть что-то делал...

— Спасибо. Если вы измените свою точку зрения на мое предложение о наци, позвоните, а?

— Я ее не изменю, милая фрекен. А телефон давайте. Я очень люблю бывать в обществе красивых женщин... Нет, нет, я не о том, это чисто эстетическое, красота помогает работе, а нет ничего совершеннее женской красоты в мире... Диктуйте...

Криста вдруг рассмеялась:

— Погодите, но я забыла наш телефон! Он отключен, я только-только вернулась... Можно, я позвоню сюда и скажу свой номер?

— Конечно. Я тут торчу круглосуточно... Позвоните, сразу же напрошусь в гости... И научу варить грог... Любите грог?

— Ненавижу, — ответила Кристина. — Терпеть не могу того, в чем есть примесь сахара. У меня мужские вкусы...

В университете ее сразу же восстановили в докторантуре: «Ах, Кристина, Кристина, все понятно, любовь, но разве нельзя было отправить телеграмму: «Предоставьте отпуск на двадцать лет»?!»

...Яхта стояла на том же месте, где Кристина оставила ее восемь месяцев назад; краска облупилась, но внутри было все в полнейшем порядке, даже медные поручни не очень почерпели; сторож сказал, что он приглядывал за порядком. «Вы же молодые, в голове ветер, ну, ничего, доченька, пока есть на свете старики, можете безумствовать, нам скучно, когда нет дела, слишком навязчиво думается о смерти...»

...Страховой агент, который просил называть его по имени (Роберт), заметил, что продавать сейчас яхту — безумие: «Хороших денег не получите, а через пять лет таких корабликов не будет, сделано на заказ, лучшими мастерами; давайте застрахуем ее на четверть миллиона, хоть платить придется много, но уж лучше потом взять, чем сейчас потерять; в крайнем случае утопите, я научу, как это делать, за риск уплатите пятьдесят тысяч, без меня ничего не предпринимать, дело может грозить тюрьмой».

В кино Криста не пошла, вернулась домой рано, письмо Роумэну написала без помарок, очень кратко: «Дорогой! Видимо, правильнее будет, если ты сам возбудишь дело о разводе. Ты прав: здесь тоже все сломаны. Мои попытки отомстить наталкиваются на мягкую стену плохо скрываемого непонимания или страха. Видимо, — снова ты прав, — эпопея происходит та же, что и в Америке. Если захочешь, чтобы я вернулась к тебе, — напиши. Если ничего не напишешь, я буду ждать. Если же ты пришлешь телеграмму, заверенную юристом, что не возражаешь против продажи нашего дома и яхты, буду считать себя свободной. Я».

Через пять дней Пол прислал согласие на продажу дома и яхты, заверенное юристом студии «Юниверсал».

Дом купил господин Упсалл, предприниматель из Христиании; уплатил ровно столько, сколько просил адвокат Мартенс. Он же, Мартенс, подобрал Кристине двухкомнатную квартиру на третьем этаже, с окнами в парк, неподалеку от университета.

На телефонной станции Криста написала заявление об установке ей телефона в новой квартире, поинтересовалась, может ли она выбрать себе те цифры номера, которые по душе: «Я математик, верю в значение суммы чисел»; ей любезно ответили, что поскольку в действие вводится новая подстанция, просьбу фрекен можно удовлетворить; номер был легко запоминающимся, 25-05-47; рано утром отправила телеграмму в Голливуд, Роумэну, сообщив о продаже дома; дату заполнения бланка проставила сама: «25 мая 1947 года».

...После того как все формальности были соблюдены, Криста внесла деньги за страховку яхты, Мартенс выехал в Мюнхен, пообещав ей позвонить или написать через две недели: «Раньше не управлюсь, милая фрекен Кристиансен».

ШТИРЛИЦ, ГАНС, БАРИЛОЧЕ, 1947

— Иди к ним, иди, — взмолился Ганс. — Это щуки, они набиты деньгами, не умеют кататься, их перехватит дон Антонио, иди же, только ты можешь затащить их к нам!

— Не суетись, дурашка, — Штирлиц усмехнулся. — Если они американцы, а они действительно скорее всего американцы, подойди к ним сам, янки любят тех, кто говорит через пень-колоду и с акцентом, им нравится все иностранное... Я их отпугну нью-йоркским акцентом, они своих боятся, — обдерут за милую душу.

Ганс, не отрываясь от окошка, заросшего ледяным плющом, посреди которого он выскоблил щелочку и расширил ее быстрым, пульсирующим дыханием, цепко наблюдал за тем, как семь человек — пять мужчин и

две женщины, одетые по-американски, достаточно скромно и в высшей мере удобно, но явно не для горнолыжных катаний, — топтались на месте, поглядывая то на коттедж Отто Вальтера, то на прокатный пункт дона Антонио.

— Они меня не поймут, Макс, я же говорю по-английски с грехом пополам! И потом я смущаюсь — я не умею заманивать, это унизительно!

— Ну-ну, — сказал Штирлиц и поднялся. — Попробую. Пожелай мне ни пуха ни пера.

На улице было достаточно холодно, но ветер с Кордильер уже задувал; значит, через час-другой солнце начнет припекать; снег прихвачен ледяной корочкой, кататься нельзя, унесет со склона, разобьешься о камни; пока-то американцев экипируешь, пока-то поднимешь на вершину, объяснишь, как надо «п л у ж и т ь» — опускаться, постоянно притормаживая, установится погода, день будет отменным.

— Я вас заждался, — крикнул Штирлиц американцам издали. — Уже полгода жду! Всех катал — и англичан, и голландцев, и французов, — а вот настоящих янки не поднимал на вершину ни разу!

Седой крепыш, судя по всему старший, резко повернулся к Штирлицу:

— Вы американец? Здесь?! Какая-то фантасмагория!

Заметив, что к прибывшим во всю прыть гонит младший брат дона Антонио, сумасшедший Роберто, Штирлиц ответил:

— За рассказ о моей одиссее дополнительную плату не беру, пошли, я уже приготовил хорошие ботинки прекрасным леди, — пятый и седьмой размер, попробуйте спорить?!

Дамы не спорили; как истинные американки, раскованно и дружелюбно расхохотались, заметив, правда, что джентльмен им льстит, размеры чуть больше, шесть и семь с половиной, и первыми направились к прокатной станции Отто Вальтера.

— Они шли ко мне, Максимо, — прошептал сумасшедший Роберто, пристроившись к Штирлицу, который заключал шествие, словно бы загонял американцев, будто кур, в сарай, широко расставив руки. — Это не очень-то по-соседски.

— Надо было скорей поворачиваться, Роберто. И не устраивай истерики — побью.

— Тогда они испугаются и уйдут от тебя.

— Верно, — согласился Штирлиц. — И пойдут к вам, и увидят твою морду с синяками, и тогда вообще побоятся ехать на вершину.

— Но ты хоть позволишь мне подняться вместе с вами?

— Я не могу тебе этого запретить, но объясняться-то я с ними буду по-английски, все равно не поймешь...

Роберто отошел, бормоча под нос ругательства; седой американец поинтересовался:

— Конкурент?

— Если знаете испанский, зачем спрашивать? — ответил Штирлиц.

Ганс встретил гостей, затянул ремень, как на параде, приветствовал их на чересчур правильном английском, осведомился, кто хочет кофе; есть напитки и покрепче; давайте сразу же начнем примерять обувь...

Штирлиц сумрачно заметил:

— По поводу того, что «покрепче»... До спуска пить запрещено... Я — ваш тренер, меня зовут Мэксим Брунн, к вашим услугам, леди и джентльмены, кто намерен подняться на вершину?

— Все! — закричали женщины.

— Прекрасно, у моего босса, — Штирлиц кивнул на Ганса, — будет хороший бизнес. Ознакомьтесь с расценками за инвентарь. Лично я беру за день пять долларов с каждого, гарантирую, что за неделю вы научитесь скоростному спуску. Страховку не беру, — фирма гарантирует, что вы вернетесь в Штаты с целыми ногами и тазобедренными суставами, — вообще-то их ломают чаще всего люди моего возраста, — он, обернувшись к женщинам, добавил: — К вам это не относится, гвапы... «Гвапа», — он галантно пояснил, — по-галисийски значит «красавица»...

— А что такое «ходер»? — спросила большеногая американочка; лет тридцать пять, веснушки, ямочки на щеках, в глазах — чистый наив, вполне естественно совмещенный с оценивающей деловитостью женщины, знающей толк в любовных утехах.

— Вы чья-нибудь дочка?! Джентльмены, кто отец этой очаровательной женщины? — Штирлиц улыбался. — Или вы жена? Лучше б, конечно, подруга, тогда бы я сказал правду.

— Мы жены, жены, — прокричали американочки. —

Я — Мэри, — сказала большеногая, — Мэри Спидлем.

— А я — Хэлен Эрроу, — сказала маленькая; смуглая, стриженная очень странно, слишком коротко, чуть не под мальчика.

— Если вы жены, то пусть седой господин — мне кажется, он ваш предводитель, — объяснит, что такое «ходер», — усмехнулся Штирлиц. — У меня язык не поднимается.

Седой крепыш, понимавший испанский, смущенно ответил:

— Девочки, это слово идентично нашему «заниматься любовью».

— Неверно, — Штирлиц покачал головой. — Зачем говорите неправду? Это идентично нашему «фак» *, девушки. В горах надо все называть своими именами... Ладно, к делу... Кто из вас хоть раз стоял на лыжах?

Перестав хохотать над разъяснением Штирлица, Мэри и Хэлен отрицательно покачали головами; седой, укоризненно поглядев на присутствующих, заметил:

— Нужно ли все называть своими именами?

— Наш инструктор мистер Брунн, — быстро заговорил Ганс, стараясь исправить неловкость, — настолько силен на склонах, что ему здесь прощают все... Они психи, эти тренеры, настоящие психи, но что мы без них можем?

— Мистер Брунн не псих, — Хэлен сбросила куртку. — Просто он любит точность. И мне это нравится. Правда, Эрни? — Она обернулась к высокому мужчине в клетчатой куртке. — Ты согласен?

— С такой женой, — усмехнулся Штирлиц, — ни один муж не рискнет не согласиться... А вообще-то, леди и джентльмены, я вас проверял: я вожу на склон только тех людей, которые не выпендриваются... Иногда ведь начинающих горнолыжников приходится — за грубые ошибки — ударять палкой по заду, как детей, и это по правилам, иначе не научитесь... И такой шлепок надо простить тренеру, потому что горные лыжи есть некий момент любви и самоутверждения, вы в этом убедитесь через час... А теперь все, хватит болтовни, дамы раздеваются первыми в комнате наверху, берут брюки и куртки, я поднимаюсь к ним с ботинками через пять минут, мужчины — так и быть — раздеваются при мне...

---

* Американский нецензурный жаргон.

...На вершине было холодно, нос Ганса сразу же сделался сосулистым, но капли, которой так ждал Штирлиц все эти недели, что они работали вместе, так и не появилось, он так хитро дотрагивался до щек перчатками, запрокидывая голову, или, наоборот, резко присаживался, вроде бы поправляя крепления, что успевал смахнуть ее совершенно незаметно; раньше Штирлиц потешался над этим, сегодня начал анализировать каждый жест молодого х е ф е; он вообще сегодня смотрел на Ганса по-новому, очень цепко и поэтому внешне совершенно не обращал на него внимания.

— Между прочим, я вам не представился, — сказал седой коротыш, опустив уши своей шапочки. — Меня зовут Дик Краймер, я работаю в сфере рекламы... Нашу поездку финансировал нью-йоркский филиал лондонской туристской фирмы «Кук и сыновья»...

— Намерены прославлять наши восхитительные склоны? — сразу же заинтересовался Ганс. — Я готов передать вам, совершенно безвозмездно, материалы об уникальном озере Уэмюль, об его индейском изначалии...

— Изначалие у него вулканическое, — буркнул Штирлиц, и американцы весело рассмеялись: эта нация не терпит угодничества и не считает нужным хитрить по мелочи.

Ганс посмеялся вместе со всеми, но в глазах у него промелькнуло то, прежнее, что Штирлиц прочел во время их первой встречи; тем не менее этот человек умеет проигрывать, отметил он, и обладает отменной выдержкой; сумасшедший Роберто полез бы с кулаками, а как же иначе, над ним смеялись синьориты, смех — оскорбление для кабальеро, все по правилам...

— Безвозмездно никто ничего не передает, — продолжал между тем Штирлиц, поглядывая на облака, которые становились все более высокими, легкими; в них угадывался розовый цвет, значит они вот-вот разорвутся и выглянет солнце. — Безвозмездно — значит неинтересно. Или, хуже того, лживо. Правда, мистер Краймер?

— Вообще-то, да, мы не очень верим в безвозмездность, когда речь идет о бизнесе, — согласился тот. — Но если там всякие фонды и пожертвования, то это, конечно, другое дело.

— Э, бросьте, — Штирлиц махнул рукой, — фонды не облагаются налогом, можно спрятать десяток миллионов долларов от ищеек из финансового ведомства, да и по-

том реклама, связанная с благотворительностью, даст неплохую прибыль, нет?

— Вы американец, — утверждающе заметил Краймер. — Не отказывайтесь.

— А кто сейчас отказывается от вашего зеленого картона? Победители, денег тьма, девушки, — Штирлиц кивнул на Мэри и Хэлен, которые прилаживали лыжи, — хорошенькие, дурак откажется... Ладно, хватит болтать!

Он опустился перед женщиной на колени, взял ее левую лодыжку, вогнал ботинок в крепление, затянул и вдобавок обвязал кожаной тесемкой, — в сумочке у него были медикаменты, ремешки, мазь против ожога и плоская фляжка со спиртом.

— Теперь не жмет? — спросил Штирлиц. — Удобно?

— Прекрасно, наладьте вы мне и другую ногу таким же образом.

Штирлиц приладил ей и второй ботинок, поднялся, задрал голову и крикнул:

— Солнце, давай! Время!

И, будто послушное ему, солнце разорвало радужные, легкие тучи; американцы дружно зааплодировали.

Ганс шепнул:

— Ну и сукин же ты сын, Макс.

— Мальчик, зависть погубила Сальери, а он был довольно одаренным композитором... Ну, — Штирлиц обернулся к американцам, — признавайтесь, кто из вас хоть раз стоял на лыжах?

— Один раз я, — сказал Краймер. — Но у меня ничего не вышло...

— Где это было?

— В прошлом году, в Австрии, около Теплицзее, я там кончал армейскую службу...

Штирлиц посмотрел на Ганса; тот, однако, не спросил, в каком это месте было, кто тренировал, где останавливался американец; поди ж ты, а как много рассказывал про тамошние склоны; впрочем, катается он отменно плохо, так что, быть может, не хочет позориться передо мною.

— Кто вас тренировал? — спросил Штирлиц.

— Какой-то паршивый Фриц, наверняка эсэсовец, они все эсэсовцы, эти поганые фрицы...

— Это уж точно, — согласился Штирлиц, — что верно, то верно, особенно Бах и Моцарт...

Мэри засмеялась:

— Дик, вас умыли холодной водой из-под крана... Мой дедушка, кстати, был Фрицем, самый настоящий немец из Гамбурга...

— Ладно, — Штирлиц отчего-то вздохнул. — Объясняю, как надо спуститься с этого склона живым. Все зависит от того, как вы меня будете слушать. Сначала давайте разберемся с палками. Смотрите, как надо продевать руку сквозь тесемки... Поняли? Если потеряете на склоне палку, то не сможете подняться, когда шлепнетесь. А это — конец, особенно после того, как задул ветер... Здесь это происходит в минуту: ясное солнышко, благодать, как вдруг заметет, ни зги не видно и ничего не слышно... Замерзнете за милую душу...

— Ну вас к черту, — сказал долговязый, муж Мэри. — Вы инструктируете нас, словно мы приехали в крематорий.

— Простите, сэр, больше не буду, — смиренно ответил Штирлиц. — Но если вы потеряете палки и замерзнете, мне придется сопровождать вашу жену в ее траурном турне до Нью-Йорка... Я не хочу этого, право... Если же вам вообще не нравится моя манера — валяйте вниз и бегом к нашему конкуренту, сумасшедший Роберто станет спускать вас на руках, как Дюймовочку...

— Ты несносен, — сказала Мэри своему долговязому мужу. — Мистер Брунн обладает в отличие от тебя чувством юмора. У тебя какая-то страсть делать всех людей похожими друг на друга. ...Продолжайте, Мэксим! Посмотрите, я правильно просунула кисть, чтобы не потерять палку?

— Вы умница. Прирожденный горнолыжник, — кивнул Штирлиц и обернулся к остальным. — Ну-ка, все поднимите руки! Молодцы. Понятливые. Теперь давайте-ка поглядите, что такое плуг... Это — основа основ первого дня обучения... Спуск с торможением, я это называю «плугом»... Вот, я поехал, наблюдайте!

Он оттолкнулся палками, чуть согнул ноги, словно приготовившись к прыжку, слегка развел их и, чуть не упершись кончиком правой лыжи в левую, начал соскальзывать вниз, придавливая опорную ногу так, что еле-еле ехал по довольно крутому склону, будто какой незримый тормоз держал его там, где по всем законам физики человека должно нести вниз с устрашающей, всевозрастающей скоростью.

— Видите, — кричал Брунн, обернувшись к американ-

цам, — смысл в том, чтобы держать корпус развернутым к склону, постоянно чувствовать ноги, собранность спины и радоваться тому, что вы управляете скоростью, а не она вами!..

— Камни! — закричала Мэри. — Вы врежетесь в камни!

— Я не врежусь в камни, — ответил Штирлиц, продолжая спускаться, — я приторможу, я помню, что в тридцати метрах должны быть камни, но я не боюсь их, потому что я разведу лыжи пошире и спокойно остановлюсь на самом крутяке! Вот здесь. Стоп! Видите, как легко я остановился? Понятно, как надо катить вниз моим плугом?

— Понятно, — прокричали американцы; только долговязый муж Мэри промолчал.

— А ну, валяйте ко мне! — скомандовал Штирлиц. — По очереди. Дик, начинайте, вы ж катались в австрийских Альпах? Вперед!

— Боюсь! Меня может понести. Вы зачем-то выбрали слишком крутой склон, — ответил Краймер. — На какой бок падать?

— Я вам запрещаю падать! Толкайтесь палками! Так! Молодец! Хорошо! Больше разводите ноги! Еще больше! Жмите на опорную лыжу! Еще! Еще! Еще! Молодец! — Ну-ка, остановитесь! Вам не нужна левая нога! Поднимите ее чуток! Браво! Навалитесь на правую лыжу! Поворачивайте вверх! Молодец, Дик!

Краймер остановился возле него; лицо покрылось капельками пота. цепкий мужик, другой бы грохнулся, спуск действительно крутоват.

— Мэри, давайте вы!

— Боюсь, — прокричала американка.

— Все женщины боятся, а потом за уши не оттащишь. — Штирлиц хмыкнул. — Вперед! Молодец! Присаживайтесь! Ниже! Еще ниже! Ноги плугом! Отводите правую! Жмите на нее! Правую, говорю, правую! Носки вместе! Поворот на склон!! Молодец, девочка! Браво!

Хэлен, конечно, шлепнулась сразу же, Штирлиц так и думал, малышка прежде всего думала о том, как она смотрится со стороны, а горные лыжи этого не терпят. Действительно, это настоящая, всепожирающая страсть, ей отдают себя без остатка, в противном случае получается сделка, пакость, бр-р-р-р!

Штирлиц п о д с к а к а л к ней по-оленьи, легко, вспомнил лицо колдуньи Канксерихи, ай, да Гриббл, спасибо ему, все же шпионы добрые люди, чей только он шпион, неужели б р а т с т в о начало вербовать англичан? Побежденные подчиняют себе победителей? Парадокс нынешнего времени.

— Ушиблась, Хэлен? — спросил он, склонившись над женщиной. — Больно?

— Страшно, — ответила та, протягивая ему горячую, податливую ладонь.

— Ну, это ерунда, это вы себе вбили в голову... Поднимайтесь... Вот так... Ноги трясутся?

— Еще как, — сказала Хэлен, не отпуская его руки.

— Пройдет. Постоим минуту, отдышимся, и поедете следом за мной, повторяя каждое мое движение, ладно?

— Какая-то я неспособная к этим чертовым лыжам...

— Таких нет. Все к ним способны... Только одни научились спускам, а другие не рискнули. В жизни надо рисковать раз шесть, от силы семь. И один из этих семи должен быть риск на склоне. Если вдруг стало очень плохо, надо плюнуть на все, одолжить денег и уехать в горы... Поверь, голова и сердце отдыхают, только когда спускаешься по склону... Ни о чем другом не думаешь, кроме того, как бы спуститься половчей... Такой отдых мозгу и сердцу необходим... И дают его горные лыжи, ничего больше. Отдышалась?

— Вроде бы да.

— Ноги не трясутся?

— Перестали... Когда вы рядом — не страшно.

— Ну, валяй за мною, повторяй каждое мое движение, договорились?

...Остальные спустились без приключений; Чарльз, муж Мэри, разогнался, ехал д е р е в я н н о, он, видимо, раньше занимался коньками; с т о й к о с т ь почти профессиональная; затормозил, точно скопировав манеру Штирлица.

— Поздравляю с боевым крещением, — прокричал Ганс, спустившийся последним, раскорякой. — Я поражен, как все лихо скатились! Вы наверняка тренировались перед поездкой в Барилоче, правда, Макс?

— Скатились они чудовищно, — ответил Штирлиц, — трусили, а особенно Чарльз, который более всего опасался выглядеть смешным...

— Ничего подобного, — сказал Чарльз, и какое-то подобие улыбки промелькнуло на его сухом лице. — Прос-

то я не хочу, чтобы вы сопровождали мою жену в траурной процессии. К мужчинам вашего типа женщины льнут. Видимо, существует своя выгода в том, чтобы родиться хамом...

— Ну и неправда, — Штирлиц тоже улыбнулся. — Хорошо быть горнолыжником, особенно инструктором... Женщины любят инструкторов... Они вообще преклоняются перед теми, кто умеет делать то, чего не могут окружающие, правда, Хэлен?

Та вздохнула:

— Вы обратили вопрос не по адресу. Спрашивайте Мэри. А вот как я спущусь с этого ужасного крутого склона — не знаю. Лучше бы мне забраться наверх и вернуться в долину на фуникулере.

— А он вниз не везет, Хэлен, — сказал Штирлиц. — Так что придется катить за мной... Сейчас мы разучим с вами легкие повороты, главное — научиться тормозить и не разгоняться, как Чарльз. Все остальное — завтра...

...В долине, когда вернулись в домик Отто Вальтера, — счастливые, разгоряченные, мокрые, обгоревшие под солнцем, — Штирлиц достал бутылку чилийской «агуа-ардьенте» *, разлил по чашкам и стаканам, предложил выпить за Мэри и Хэлен, — «будут кататься по первому классу», и порекомендовал заказать обед у Манолете: «Самая вкусная и при этом достаточно дешевая еда, никто не делает такую парижжю **, как испанский итальянец, да и вина у него отменные».

Предложение приняли, Штирлиц отправился к Манолете, старик обрадовался — пять дней будет хороший заработок, ринулся разжигать угли для парижжи, позвонив при этом племяннику: «Гони что есть сил!»

— И пусть прихватит с собой какого-нибудь чико ***, — попросил Штирлиц, — который хочет заработать пару долларов, но при этом умеет держать язык за зубами...

— Что нужно сделать чико? — поинтересовался Манолете, передав племяннику просьбу друга.

— Знаешь, Ганс все-таки большая скотина, — ответил Штирлиц. — Он хочет брать всех моих учеников на себя... По-моему, он сегодня попрется в отель к этим гринго... Если не сегодня, то уж завтра наверняка, и

* «Горячая водка» (исп.).
** Жареное мясо (арг. жарг.).
*** Чико (исп.) — паренек.

возьмет с них деньги за обучение... А я не люблю, когда меня обдуривают, ты знаешь... Вот мне и надо, чтобы верный чико поглядел за Гансом... Сегодня, завтра, словом, все те дни, пока эти гринго живут здесь.

...В отель после обеда Штирлиц проводил американцев сам: Чарльз надрался, на ногах не стоял, пришлось нести его на себе до автобуса; Мэри вздохнула:

— Мэксим, а что мне с ним делать, когда этот чертов драндулет остановится? Чарльз обычно засыпает после крепкой поддачи. Давайте затащим его в номер вместе, а?

— С вами я готов затащить его даже в преисподнюю, — ответил Штирлиц и, сев рядом с нею в автобус, сказал Гансу, который намеревался пристроиться рядом, чтобы тот протер лыжи и посушил инвентарь: — Завтра начнем кататься с самого утра.

— А ты разве не вернешься? — удивился Ганс.

— Дели всю выручку пополам — тогда вернусь, — усмехнулся Штирлиц и сказал шоферу Пепе: — Трогай, пэрень. Не застуди этих янки, они платят хорошие деньги, поэтому их надо любить...

...Чарльза затащили в номер не без труда: действительно, он уснул сразу же, как только автобус начал спуск в долину, к озеру, к тем двум островам, на которых день и ночи велось строительство атомного реактора СС штурмбаннфюрера Риктера...

...В отеле разошелся Дик Краймер; остальные янки были довольно сдержанны, сразу же отправились спать; седой пригласил Штирлица в бар: «Мне нравится, что вы не увели к себе Мэри, она же отдается вам глазами! Молодец, вы мужчина! Только паршивые даги * режут подошвы на ходу, вы ведете себя, как джентльмен: угощаю я; ужинаем вместе».

Именно за ужином, когда Краймер окончательно размяк, хотя головы не терял, мужик был крепкий, — Штирлиц и задал ему вопрос:

— «Кук» профинансировал вам поездку только в Аргентину?

— Да. Именно в Барилоче. Уникальный горнолыжный курорт, катают как раз в те месяцы, когда у нас солнце, представляете, сколько сюда можно отправить людей на июньские, зимние катанья?

* Итальяшки (ам. жарг.).

— А если за одну и ту же сумму «Куки» предложат туристам поездку в две страны?

Краймер удивился:

— Какой смысл, Мэксим? За две страны надо брать именно как за две! Вы же сами говорили о вреде безвозмездности...

— А я и не предлагаю устраивать благотворительный тур. «Куки» должны уплатить нам за идею, а мне, в довершение ко всему, дать право на обмен валюты своим клиентам.

— Чего-то я вас не понимаю. — Краймер потер лицо ладонями.

— Ну и хорошо, что не понимаете. Значит, я не дурак, это только дурака можно понять сразу... Если хотите, завтра зайдем к адвокату и заключим сделку: «Куки» рекламируют тур в две страны за цену, которую брали за посещение одной, а я организовываю катанья в двух странах... Деньги делим поровну. Первый взнос — пять тысяч долларов. Четыре мне — одну вам, точнее, вы мне платите четыре, потом сочтемся доходами.

— Нет, я вас не понимаю, — Краймер выпил две таблетки аспирина, — хочет протрезветь, почувствовал жареное, дело пахнет большими деньгами.

— А вы подумайте, Дик. Я отвечаю за реализацию идеи, вам только надо приготовить мешок для денег, ничего больше... Всю практическую работу я беру на себя. Хотите серьезно говорить — заключаем соглашение у адвоката Гутоньеса, он здесь главная шишка, мужик с головой, не хотите — не надо, найду другого клиента.

— Вы не верите мне? Не хотите объяснить дело? Как же я могу заключать с вами сделку, не зная, что вы продаете?

— Если вы готовы заключить сделку, идею я выложу у адвоката, это справедливо, согласитесь...

— Но вы заломили баснословную цену за идею... Четыре тысячи — это нереально!

— Нереально, так нереально, — согласился Штирлиц. — Разве я спорю? Я никогда никому не навязывался, Дик. Я живу так, как мне нравится... Загораю, катаюсь на лыжах... Очень удобно, и никаких трат... Ладно, я пошел спать и вам советую... Завтра буду гонять по самому крутому склону...

— Нет, погодите, так не годится, — рассмеялся Краймер. — Вы меня разожгли, а теперь делаете бай-бай ручкой? Это не по-мужски. Я готов купить вашу идею за тысячу баков, одну идею, это хорошая сделка...

— Ну и заключайте ее с вашим Чарльзом, — ответил Штирлиц и поднялся.

Сговорились на двух тысячах: «К адвокату пойдем завтра, после катанья, там и решим все окончательно».

Ночью Штирлиц вернулся к Манолете; старик уже был в кровати.

— Этот твой Ганс не подваливал к гринго, Максимо... Он пошел на калле де Чили, второй этаж, контора сеньора Рикардо Баума, ты должен знать его сына, старик занимается транспортировкой красного дерева из Пуэрто-Монта, к ним зашел Чезаре Стокки, он вожжается с этими сумасшедшими физиками, что торчат на островах, а оттуда слинял домой...

Кемп говорил Штирлицу про человека, занимающегося в Барилоче торговлей красным деревом из Чили; имени не знал, но подтвердил, что это резидент Гелена; Стокки был коллегой Мюллера в Риме; вот что значит врать по малости, милый, маленький Ганс! «Я не умею завлекать иностранцев, Макс, это унизительно!» А что же ты нес в первый день нам с Манолете про то, как заманивал американских солдат в свою венскую контору по сдаче в наем гражданской одежды?!

Неужели и Отто Вальтер включен в систему Гелена? Не может этого быть. Он сказал, что Ганс какой-то племянник двоюродной сестры... Какой, к черту, племянник?! А если и племянник? Он вполне может быть здесь не тем, кем был дома: Гелен учит своих людей конспирации с первой минуты, — когда еще принимал решение взять человека на службу в отдел «Армии Восток» вермахта Адольфа Гитлера; чистая замена, поди проверь, Вальтер не был в Европе с двадцать девятого!

У адвоката Гутоньеса перед тем, как идти ужинать (катались отменно; Мэри дважды шлепнулась, но оба раза сделала это для того, чтобы Штирлиц, обняв ее, помог встать), составили соглашение: «Я, Макс Брунн,

и я, Ричард Краймер, заключили настоящее соглашение о том, что фирма «Кук и сыновья» может продавать за прежнюю цену тур в Аргентину (Барилоче) и Чили, то есть в две страны, рекламируя семидневную поездку как горнолыжную (пять суток) и рыболовную — Чили, порт Пуэрто-Монт (двое суток). В случае, если «Кук и сыновья» (или же третья туристская фирма) заинтересуются предложением за одну цену организовать посещение двух стран, Макс Брунн и Ричард Краймер должны получать, — паритетно, — три процента с прибыли и обладать исключительным правом обслуживать туристов и проводить обмен долларов на местные валюты.

Идея Макса Бруна оплачена Ричардом Краймером двумя тысячами долларов, которые депонированы на счет «Банко де Архентина» и не могут быть сняты вплоть до сообщения Ричарда Краймера о том, что предприятие начато. В случае, если ни одна из туристских фирм не заинтересуется такого рода предложением, Макс Брунн имеет право получить одну тысячу долларов, и одна тысяча будет перечислена на счет 52678 в «Нэшнл Сити Бэнк», отделение в Сан-Франциско на имя Ричарда Краймера, что вменено в обязанность совершить Хосе-Аделаида-Аугусто-Эсперанса-и-Мирасоль Гутоньесу».

Дата, подписи, печать, документ, все по форме.

...Провожая американцев на аэродром, Штирлиц незаметно сунул в карман Краймера записку:

— Это адрес женщины, которая меня когда-то любила. Если вы поймете, что наше дело перспективно, то я позвоню вам и попрошу отправить этот проспект горнолыжного тура за одну цену в две страны моей подруге. Только в конце допишите: «Если вы остановитесь в отеле «Анды», он будет у вас на следующий день». И все. Не приедет — значит, судьба, приедет, — будет счастлив.

Тот кивнул, вздохнув:

— Меня тревожит во всем этом деле, Мэксим, то, что вы романтик... Такие губят бизнес... В нашем деле нужны люди, скрепленные семьей, постоянной любовницей и необходимостью вносить ежемесячные взносы за строительство нового дома с подземным гаражом, — сейчас это входит в моду, — и бассейном посреди гостиной...

1

«Строго секретно,
в одном экземпляре!

Его Превосходительству генерал-лейтенанту
Армандо Виго-и-Торнадо.

Ваше превосходительство!

Поскольку Вы, любезно инструктируя меня в Мадриде накануне моего возвращения в Буэнос-Айрес, изволили подчеркнуть, что наблюдение за объектом «М. Брунн» ведут наши друзья из мюнхенской «Организации генерала Верена», то на мою резидентуру возлагается исследование контактов «объекта» в основном с испанцами (если таковые будут зарегистрированы), я отдал соответствующее распоряжение моему представителю в Барилоче.

При этом я посчитал возможным запросить представительство в Барилоче сообщить мне все материалы, собранные ранее по интересующему «объекту».

Из данных выборочного наблюдения явствует, что объект «М. Брунн» не проявляет видимого интереса к строительству, развернутому на острове. (К чести аргентинской службы безопасности, здесь проведены такого рода маскировочные работы, которые не дают возможности составить истинного представления о происходящем, если, конечно, речь идет не о профессиональном атомном физике.)

Более всего «М. Брунна» интересуют горнолыжные трассы.

Одним из первых, кого он посетил в Барилоче, был Отто Мейлинг, прибывший сюда еще в 1929 году, построив вместе с Гербертом Тутцауэром первый «приют Серро Отто», положивший начало лыжным трассам в окрестностях Барилоче.

Поскольку разговор с сеньором доном Отто Мейлингом «М. Брунн» провел во время прогулки по склону, записать его не удалось, однако мои сотрудники зафиксировали еще двух наблюдавших за встречей, — судя по одежде, это были австрийцы или немцы.

Затем «М. Брунн» посетил приюты «Серро Дормильон», построенный в 1934 году братьями Майерами, а также «Серро Лопес» и встретился с сеньором доном Х. Неумейром, построившим свой приют в конце марта 1945 года.

Объект «М. Брунн» повстречался с президентом «Клуб

Андино Барилоче» Эмилем Фреем, избранным президентом горнолыжного клуба в 1937 году, каковым он остается и по настоящее время, принимая всех немцев, прибывающих сюда, перед тем, как распределить их на жительство. По этим вопросам Фрей постоянно консультируется с одним из ветеранов горнолыжной ассоциации сеньором доном Гансом Хильдебрандтом и фотографом сеньором доном Рейнардом Кнаппом.

В течение двух недель объект «М. Брунн» совершал прогулки, знакомясь с местностью, ни разу не приближаясь к секретному строительству на озере.

Он вполне профессионально, как опытный альпинист, поднялся на высочайшую вершину (3.554 метра) «Тронадор», затем совершил спуски с вершин «Пунта Принсеса», «Пунта Невада», «Пунта Рефухио», «Рефуджио Лион» и «Пиедра дель Кондор». Следует отметить, что лыжные спуски он совершал лишь по маршрутам, представляющим особую трудность, — «Дель секундо ломо» и «Де ля пальмера».

После того как объект «Брунн» с помощью австрийского эмигранта Отто Вальтера (левая ориентация) получил работу в качестве инструктора горнолыжного спорта на его прокатном пункте, он совершил поездку вокруг озера Науэль-Уаппи и остановился в городке Вилла Ла Ангостура, на дороге «Семи Озер», в пансионате «Маленькая Германия»; все это время его сопровождали два человека, представляющие неизвестную нам секретную службу, работу вели высокопрофессионально, хотя «объект М. Брунн» не проявлял никакого беспокойства, ни разу не проверился и не предпринимал шаги, чтобы оторваться от наблюдения, — даже если допустить, что он его заметил.

В следующее воскресенье он отправился на автобусе (через перевал «Пуеуе») в Чили, где остановился в городе Пуэрто-Монт. Поскольку это поселение, как и Барилоче, основано немцами, «объект» в основном разговаривал на немецком или английском языках, что не давало возможности нашим людям понять вопросы, особо интересовавшие «М. Брунна».

Около двух часов «объект» провел на уникальном рыбном рынке «Анхельмо», где представлены наиболее экзотические дары моря, — излюбленное туристское место. Затем он переплыл на лодке (принадлежит рыбаку Франсиско Рабалю) канал и провел два часа на острове

Тенгло, где обедал в остерии «Бремен», купленной сеньорой Ильзе Ульман, которая прибыла сюда в 1942 году, после того, как ее кофейные плантации в Никарагуа были конфискованы президентом Сомосой, — в связи с объявлением Никарагуа войны странам оси. Разговор «объекта» с сеньорой Ульман зафиксировать не удалось, ибо он проходил на немецком языке.

Через месяц «объект» совершил путешествие в Сан Мартин де лос Андес, где остановился в отеле «Соль де лос Андес» и совершил спуски по наиболее трудным горнолыжным трассам в районе «Серро Чапелько».

В Барилоче «объект» в основном посещает библиотеку Сармьенто, «Музей Патагонии», кинотеатр «Колизей» и «Клуб гольф». Несколько раз он побывал в ночном клубе «Крису», но ни с кем в контакт не входил, обмениваясь бытовыми репликами с соседями, известными наблюдавшим.

Хозяин дома, у которого «объект» снял мансарду, ничего подозрительного в поведении «М. Брунна» не замечал, однако в те дни, когда «объект» ночует в городе, а не на склоне, в пункте проката «Отто Вальтер», где он проводит большую часть времени, «М. Брунн» совершает длительные прогулки перед сном (с десяти до двенадцати часов ночи), иногда заходит в бар «Мюнхен», где, как правило, заказывает жидкий шоколад, ни с кем в контакт не входит, обмениваясь лишь несколькими фразами, которые не могут расцениваться как пароль или отзыв для связи.

Поскольку Вы, Ваше превосходительство, поручили мне наблюдать лишь за испанскими связями «М. Брунна», я не могу сообщить о такого рода контактах, ибо в основном «объект» общается с местным населением, редко с немцами и американцами, приезжающими сюда в качестве туристов.

Однако позволю себе высказать предложение, что наши друзья из «Организации Верена» или же их бывшие коллеги по четвертому управлению РСХА, обладающие ныне серьезными возможностями на континенте, могут иметь (или же имеют) исчерпывающую информацию о «М. Брунне». Моим представителям в Барилоче было бы значительно проще работать, если бы наши друзья нашли возможным поделиться информацией об интересующем «объекте».

Арриба, Испания! *

Искренне Ваш
Хосе Росарио,
резидент секретной службы в Аргентине».

2

«Строго секретно!
Государственная тайна!

Директору «Организации Верена»

Мой дорогой генерал!

Резидент в Аргентине Хосе Росарио, человек, в котором я абсолютно уверен (он прошел двухлетнее обучение в рейхе в 1940—1941 годах в «отделе-42», специализировался в четвертом подразделении РСХА, получил самую высокую оценку покойного группенфюрера Мюллера), прислал мне сообщение о «Брунне», интересующем Ваших сотрудников.

Несмотря на то, что тревожных фактов моя служба до сих пор не зафиксировала, Росарио просит об откомандировании в его распоряжение человека, знающего немецкий и английский язык, чтобы можно было вести не только визуальное, но и общее наблюдение, включающее прослушивание его бесед, — даже со случайными контактами.

Конечно, я мог бы откомандировать Росарио такого человека, да и он обладает достаточно квалифицированной немецкоговорящей агентурой в Буэнос-Айресе, однако я не хочу принимать решение, не посоветовавшись с Вами.

Буду рад получить от Вас сообщение.

С пожеланием всего самого лучшего,
искренне Ваш Армандо Виго-и-Торпадо,
генерал-лейтенант.

Мадрид».

3

«Испания, Мадрид,
Пуэрта дель Соль.
Строго секретно!

Мой дорогой друг!

Я был сердечно тронут, получив Ваше в высшей мере любезное послание.

---

* Официальное приветствие франкистской фаланги.

«Объект», интересующий нас в известном Вам пункте, является высокоподготовленным профессионалом. Именно поэтому наблюдение за ним должно носить скользящий характер, — до того момента, пока он не начнет активные действия.

В том же, что он их начнет, у моих коллег нет сомнений.

Именно тогда и потребуется окружающее наблюдение.

Поэтому сейчас, до того момента, пока «объект» не начал действовать, всякая активность может лишь насторожить его.

Поэтому, принося Вам самую глубокую благодарность и свидетельствуя почтительное уважение, прошу сориентировать резидента Хосе Росарио в том смысле, чтобы он держал своих людей в постоянной готовности, но никак не форсировал активных мероприятий.

Для Вашего сведения: «объект» провел двухчасовую беседу с сеньорой Ильзе Ульман о судьбе несчастных немцев, брошенных президентом Никарагуа г-ном Сомосой в концлагеря после начала войны США против Гитлера и японского императора, а также покойного Муссолини.

Поскольку немецкое проникновение в Центральную Америку началось значительно позже, чем в Аргентину, Венесуэлу и Чили, — Вы, видимо, знаете, что наш консул в Гватемале Карл Фридрих Рудольф Клее только в 1941 году отправил в Берлин сообщение о Никарагуа, — «объект» интересовался судьбой моих соотечественников, чьи кофейные плантации были захвачены президентом Сомосой в 1941 году, причем в первую очередь его интересовала судьба г-на Петера из провинции Карасо, который владел имуществом, оценивавшимся в триста тысяч долларов, плантаторов из Манагуа Гильермо Йерико (сто тысяч долларов), Альберто Петерса (двести тысяч долларов), Юлиуса Балке (двести тысяч долларов), Пауля Громайера (сто тысяч долларов), Франца Брокманна (сто тысяч долларов), Карла Бергмана из Сан Хуана дель Норте, владевшего недвижимостью, оценивающейся примерно в пятьдесят тысяч долларов.

Поскольку президент Никарагуа г-н Сомоса, захвативший все кофейные плантации, принадлежащие немцам, не пускает в страну ни одного из тех немцев, кто был

выдан им властям США и Канады и депортирован в концентрационные лагеря, мы были бы чрезвычайно признательны, если бы Ваши службы помогли установить местонахождение указанных выше лиц, чтобы мы могли войти с ними в контакт, ибо мы намерены, в ближайшем будущем, обсудить с президентом Сомосой вопрос о возмещении убытков, нанесенных лицам немецкой национальности.

Нас также интересует местонахождение именно этих лиц еще и потому, что мы не исключаем возможности контакта «М. Брунна» или же его сообщников с указанными выше лицами: все, чем интересуется «объект», продиктовано вполне прагматическими соображениями.

Остаюсь, Ваше превосходительство,
Вашим искренним, давним другом,
генерал Верен.

Мюнхен».

4

«Г-ну Роберту С. Макайру.
Строго секретно.

Дорогой друг!

Мои контакты до сих пор не зафиксировали активности интересующего Вас лица в Барилоче.

Люди «Организации», которым поручена реализация разработанной комбинации, также не смогли подтвердить какой-либо активности «объекта» или же его попыток выйти на связь с известными вам лицами, проживающими ныне в Голливуде.

Поскольку «объект» весьма квалифицирован, не сочтете ли Вы целесообразным санкционировать его нейтрализацию, чтобы исключить возможность какой бы то ни было случайности?

Искренне Ваш
Верен.

Мюнхен».

5

«Организация»
г-ну Верену.

Генерал!

Продолжайте наблюдения за интересующим нас «объектом».

Видимо, связь с людьми, проживающими ныне в Голливуде, он будет осуществлять через третьи страны.

В силу известных Вам причин, вызванных достаточно жесткой политикой против генералиссимуса Франко, навязанной ООН русскими, мы лишены возможности поддерживать контакт с секретной службой в Мадриде.

Именно поэтому я рассчитываю на ваше сотрудничество с коллегами в Испании и особенно с резидентурой г-на Росарио в Буэнос-Айресе.

«Объект» представляет стратегический интерес, и его нейтрализация в настоящее время нецелесообразна. Он должен быть схвачен с поличным, уликовый материал обязан быть таким, чтобы факт его шпионской деятельности на Южноамериканском континенте ни у кого не вызвал ни малейшего сомнения.

Просил бы также выяснить через Ваши испанские возможности, что за строительство разворачивается аргентинским правительством в районе Барилоче?

Дружески,
Макайр.

Вашингтон,
Лэнгли».

6

«Г-ну Р. Макайру,
Вашингтон.

Дорогой друг!

Я отдал соответствующие распоряжения в связи с интересующим вас «объектом».

Полагаю, что ряд оперативных шагов, которые подтолкнут «Брунна» к действию, помогут всему мероприятию. Если Вас заинтересуют подробности, готов ознакомить с тем планом, который разработан моими сотрудниками.

Что же касается строительства, разворачиваемого аргентинским правительством в Барилоче, то это, как мне сообщили испанские коллеги, филиал астрофизического комплекса, существовавшего ранее как в Мар дель Плата, так и Кордове.

По сведениям, которыми располагают испанские контакты, Перон намерен развернуть в Барилоче один из центров по теоретическим исследованиям, связанным развитием энергетики.

Искренне Ваш
Верен.

Мюнхен».

7

«М-ру Роберту С. Макайру.
Центральная разведывательная группа.
Строго секретно!

Уважаемый мистер Макайр!

Директор ФБР Г. Гувер поручил мне ознакомить Вас с работой, которая была проведена по интересующим Вас объектам — м-ру Спарку и м-ру Джеку Эру.

С санкции Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности мы вызвали м-ра Спарка, задав ему вопросы о его связях с агентами Коминтерна м-ром Брехтом, Эйслером, а также кинорежиссером м-ром Лаусоном, который ожидает вызова для публичного допроса в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

М-р Спарк был растерян, утверждал, что он знает м-ра Брехта шапочно, как и м-ра Эйслера. О м-ре Лаусоне он сказал: «Но ведь он американец, его фильмы знает вся страна, самый известный сценарист!»

На вопрос, неизвестно ли ему, является ли м-р Лаусон членом коммунистической партии США, м-р Спарк ответил в том смысле, что он никогда не обсуждал этот вопрос с м-ром Лаусоном.

Как и было обусловлено, ему не были заданы вопросы ни о м-ре Роумэне, ни об интересующем ЦРГ м-ре «Брунне».

После собеседования, которое продолжалось сорок минут, в поведении м-ра Спарка стала заметна еще большая подозрительность, он постоянно проверяется, избегает разговоров с коллегами, резко сократил число лиц, с которыми ранее часто обменивался телефонными звонками.

Более того, он посетил директора кардиологической клиники д-ра Рабиновича, с которым был знаком еще с времен учебы в колледже; тот вызвал для консультации психиатра.

Настроение, в котором пребывает ныне м-р Спарк, весьма угнетенное.

В отличие от него м-р Роумэн после разрыва с миссис Роумэн спивается. Этот тягостный процесс проходит на глазах службы наблюдения. Если не принять каких-то мер, исход может быть трагичным. Представляется странным его тяготение к режиссеру Гриссару, подозреваемому в связях с Синдикатом.

Наблюдение и в этом направлении продолжается постоянно.

Что касается м-ра Джека Эра, то он, уволившись из ФБР, открыл в Нью-Йорке частное детективное бюро (адрес и телефон известны вашему нью-йоркскому филиалу). Он успешно провел два дела, связанные с похищением автомобилей; в настоящее время его бизнес развивается, поскольку он открыл консультационный пункт: «Что должен знать американец, когда на него нападают».

В основном он дает консультации одиноким женщинам, предлагая им усвоить азы личной безопасности: ходить только по освещенным улицам, пользоваться «главным оружием самозащиты», то есть голосом, рекомендует постоянно носить с собою зонтик, который может быть употреблен как колющий предмет, — в случае насилия; заявляет, что сорок процентов грабежей происходит потому, что хозяева забывают запереть двери и окна, тридцать процентов угонов автомобилей связаны с тем, что не подстрахованы ветровики, через которые похитители открывают двери, и т. д. То, что нам кажется азбукой, вызывает повышенный интерес его клиентов, поэтому престиж его конторы заметно растет.

До сих пор м-р Эр не входил в контакт ни с м-ром Роумэном, ни с интересующим ЦРГ м-ром «Брунном».

Однако мы не можем с полной определенностью утверждать, что между ними нет связи, поскольку постоянное наблюдение за м-ром Эром не ставилось; мы проверяем его периодически, как нашего бывшего сотрудника.

Примите, мистер Макайр, мои заверения в совершенном почтении.

Заместитель директора ФБР
Честер Стролли».

8

«Г-ну Ч. Стролли
Федеральное бюро
расследований.

Уважаемый мистер Стролли!

Несмотря на то, что данные наблюдения и телефонного прослушивания по Роумэну и Спарку не дали каких-либо материалов, связанных с нашим оперативным ин-

тересом, Ваши сотрудники обратились ко мне с вопросом, стоит ли продолжать наблюдение за указанными выше людьми.

Хотя Ваши сотрудники и считают, что м-р Спарк близок к психическому расстройству, а м-р Роумэп, по их словам, превращается в алкоголика и, таким образом, деградирует как социально действующая личность, тем не менее просил бы Вас санкционировать тотальное наблюдение за всеми их контактами еще на месяц, с тем, чтобы потом, встретившись, мы могли провести совещание, на котором бы приняли решение о том, как организовать развитие ситуации в будущем.

Был бы признателен, если бы Вы смогли поставить наблюдение за м-ром Д. Эром хотя бы в течение двух-трех недель.

Примите, мистер Стролли, мои заверения в совершенном почтении,

Искренне Ваш
Макайр.

Вашингтон».

9

«Сеньор Блюм *
Вилла Хенераль Бельграно
Аргентина.
Спецшифром, в одном экземпляре,
через службу аэроклуба в Кордове.

Прошу оказать содействие в подборе материалов на некоего «Макса Брунна». Запрос носит личный характер и не подлежит учету.

Бонифасио» **.

ШТИРЛИЦ, АРГЕНТИНА, 1947

— Слушай, Ганс, — сказал Штирлиц, — я сегодня получил телеграмму. Из Штатов. На, прочти, если поймешь...

Ганс быстро пробежал текст, написано было на жаргоне: «Дело взято в работу, ваша часть отныне принадлежит вам безраздельно, присылайте проработку проекта, первую группу, возможно, пришлю через двадцать

* Псевдоним Мюллера.
** Псевдоним резидента секретной службы Испании Хосе Росарио.

дней, за маршрут к океану на рыбалку берете наличными, половину перечислите на мой счет в Штаты. Краймер».

Что же ты не просишь помочь с переводом, мальчик, подумал Штирлиц; «я говорю по-английски с грехом пополам, едва волоку», а тут слэнг, поймет только тот, кто знает язык отменно; господи, как плохо быть молодым, неужели мужчина делается умным только к старости, глаз видит, да зуб неймет; по-русски говорят «око»; страшно, — начинаю терять родной язык, проклятый немецкий аккуратизм, «безвыкость» английского демократизма, а тут многомыслие, как же оно в нас сильно; «глаз», «око», «очи», «зыркалки», «гляделки», «шары»... Вернется ли то время, когда я смогу засесть за Владимира Даля и работать с его четырьмя томами месяц, не отрываясь.

— О чем это? — спросил Ганс, возвращая телеграмму. — Написано на слэнге, я не понял.

— Бери лыжи, пройдем новые маршруты, там объясню.

— Ты с ума сошел! Будет пурга! Фуникулер вот-вот выключат.

— Значит, не бери лыж, сиди тут и пей кофе, я пойду один, мне надо посмотреть трассы и помозговать, можно ли их использовать, когда идет снег, некоторые маршруты особенно хороши во время снегопада, знаешь, сколько психов на свете?! Одному подавай солнце, другой мечтает спуститься через пургу, он себя человеком начинает ощущать, его после этого к женщине тянет, и деньги за такой отпуск платит громадные.

— Ну хорошо, хорошо, пойдем! Отчего ты такой колючий, ума не приложу! Как что, так сразу режешь бритвой по живому.

— Как ты сказал? — спросил Штирлиц. — Режешь бритвой по живому? Занимался биологией? Мучил лягушек?

— Не цепляйся к слову... Я никогда не резал лягушек, я их в руки боюсь взять, от них появляются бородавки... Просто много читаю в отличие от тебя, это литературная фраза...

Да уж, подумал Штирлиц, литературная. Так писал Эуген Пиппс, классик «третьего рейха»... Сочиняя про древнегерманских рыцарей, заодно разоблачал интелли-

гентишек, которые забыли о своем арийском первородстве, «резали по живому великую историю нации»...

В люльке подвесной дороги здорово болтало, ветер крепчал, над вершинами деревьев посвистывало — к пурге; все. как надо, только б он не соскочил на второй очереди; вполне может; вертит головой, смотрит, нет ли в небе просвета, парень осмотрительный; но и крючок я ему запустил надежный, он хорошо понимает, когда дело пахнет серьезными деньгами; чего он больше всего хочет, — так это разбогатеть, что ж, побеседуем... И построить мне надо наш диалог, следуя рекомендации Августа: «достаточно скоро делается лишь то, что делается хорошо»; между прочим, входит в противоречие с нашим «поспешишь, людей насмешишь», и с немецким «поспешай с промедлением».

Когда проезжали вторую очередь, Эронимо, служащий канатной дороги, крикнул:

— Максимо, я выключаю штуку, очень дует, к пурге, зарядит на пару дней! Спустишься на лыжах или вернешься на подвесной?

— Подожди! — сказал Ганс. — По такой тьме мы потеряем трассу. спустимся на креслах!

— Выключай мотор! — прокричал Штирлиц. — Выключай через десять минут! Я хочу посмотреть Ганса в деле! Обязательно выключай!

Ганс резко обернулся в кресле — он сидел перед Штирлицем метрах в двадцати:

— Ты сошел с ума!? Эй, Эронимо! Эронимо-о-о-о!

— Горло посадишь, — сказал Штирлиц. — Все равно он тебя не услышит.

— Я не стану спускаться через пургу! Я вернусь вниз в кресле, ну тебя к черту, Макс!

— Как знаешь, — ответил тот, подумав: «Не спустишься ты в кресле, через десять минут Эронимо обесточит дорогу, виси над пропастью, замерзай, станешь сосулькой, снимут через два дня, будешь звенеть, — кусок льда, — и каплю на носу не скроешь. повиснет»; впрочем. я сейчас оказался в проигрышной позиции, на вершине он может почувствовать неладное, соскочит с кресла и, не дожидаясь меня, прыгнет в то, что спускается вниз; он погибнет, ясное дело, но это будет улика против меня, — я видел, что он в кресле, я был обязан предупредить Эронимо, тот живет в хижине рядом со станцией, включить ее — минутное дело, и мерзавец вернется в долину; плохо, если будет так, парень он цепкий, шарики крутятся, сечет быстро.

— Эй, Ганс, — крикнул Штирлиц. — у тебя нож есть?!

— Есть. А что?

— Если пурга будет набирать, надо взломать ящик, где кнопка автоматического включения дороги, спустимся па канатке.

— Какой, к черту, ящик?!

— Ты что, не помнишь?! Под сосной, когда выходишь на трассу!

Вспоминай, капля, я ж дал тебе шанс, ты сейчас мучительно думаешь, под какой сосной этот ящик, подумал Штирлиц; нет ящика и не было, есть прием, как переключать внимание противника, вполне действен.

Память Штирлица порою становилась похожей на кинематограф: он часто видел лица своих учителей Антонова-Овсеенко, Кедрова, Бокия в медленной, трагически-безмолвной панораме, камера памяти словно бы передвигалась с лица на лицо, ах, какие же одухотворенные лица были у этих апостолов революции, какие поразительные глаза, сколько в них дружества и открытости, братья по делу, рыцари духа, подвижники той идеи, которая...

— Макс, я перепрыгиваю в кресло, качу вниз, не сердитесь! — крикнул Ганс. — Вскроете ящик сами, если Эронимо остановит дорогу!

— Не глупите! Он выключит мотор, вы замерзнете. Я и вправду несколько заигрался, но вдвоем мы победим, а поврозь погибнем. Я же ни черта не вижу в пурге, смотрите, как метет. Я сейчас привяжусь к вам веревкой и пойду к этому ящику, а вы будете ее дергать. что, мол, все в порядке, направление верное. Если я не найду ящик, вы замерзнете, а я накануне открытия своей туристской фирмы, не зря ж дал вам прочесть телеграмму, один я не потяну, нужен ваш взнос для раскрутки гигантского дела...

Ганс соскочил с кресла; те двадцать метров, что отделяли от него Штирлица, показались тому сейчас верстою: если этот сукин сын прыгнет в то кресло, что, лязгающе обогнув металлический столб, начало спуск в долину, игра проиграна: слава богу. идет, глядя на часы; смотри, мальчик, смотри...

Штирлиц шагнул к Гансу, усмехнулся:

— Давай рискнем, парень. Ей-богу, я спущу тебя по этим склонам, мне хочется поглядеть на тебя в деле.

— Нет, — отрезал тот. — Где ящик? Давайте включать кнопку, я не пойду вниз на лыжах.

— Ну и зря, — сказал Штирлиц и, достав из своего широкого кожаного пояса веревку, протянул ее Гансу. — Держи. Сейчас я стану на лыжи, а ты меня страхуй, ни зги ж не видно... Где этот чертов ящик?

— Какого черта вам пришла в голову эта бредовая идея?! Как мальчишка какой-то!

— Это верно, — согласился Штирлиц и попросил: — Ну-ка, обмотай меня покрепче.

Ганс воткнул свои лыжи в снег и сделал шаг к Штирлицу; в это же мгновение дорога остановилась, на вершине сделалось одиноко-тихо, только пурга завывала; шум двигателя, казавшийся здесь столь чуждым в солнечные дни, нарушавшим девственность природы, сейчас был последней пуповиной, связующей матерь-землю с двумя капельками, оказавшимися на горе, среди пурги, которая с каждой минутой набирала силу.

В тот момент, когда Ганс воткнул лыжи по обе стороны от себя, Штирлиц ударил его что есть силы в поддых. Парень покатился в сугроб, а Штирлиц бросил его лыжи в снег, и они стремительно покатились по склону, исчезнув из глаз через мгновение в метущей белой пелене.

— Ты что?! — заорал Ганс. — Ты что?! — перешел он на шепот. — Зачем?!

— Не вставай, — сказал Штирлиц. — Здесь нет никакого ящика, ты правильно делал, что сомневался в моих словах, я это видел по твоей спине. Если встанешь, я укачу вниз. Сразу же. Лежи и отвечай на мои вопросы. И если ты ответишь на них честно, я поставлю тебя на лыжи у меня за спиной и спущу вниз, в хижину Эронимо, где мы оформим наши с тобой отношения. Согласен?

— О чем вы, Макс?!

— О Рикардо Бауме, малыш, о твоем шефе по линии доктора Гелена. И об итальянце, коллеге Мюллера. Через двадцать минут — если не начнем спуск, а спустить тебя теперь могу только я, ты станешь на мои лыжи, мы сделаемся единым целым, — будет поздно, я не найду дороги, ну и черт с ней, я свое пожил, тем более, что

твое появление здесь, как выяснилось, не случайно, значит, я и тут хожу на мушке, а если это происходит постоянно — страх смерти притупляется. Понял?

— Чего ты хочешь? — Ганс медленно поднялся на ноги; на носу его повисла капля, она росла стремительно, сорвалась, и сразу же начала расти следующая.

Потек мальчик, подумал Штирлиц; иначе капельку бы убрал, знает, как это ж а л к о, забыл о внешности, думает о жизни, сломаю!

— Я хочу, чтобы ты ответил мне, с какого времени ты работаешь на Гелена, кто тебя вербовал, когда и на чем? Если же ты кадровый офицер, назови свой номер и дату начала службы. Скажешь, кто тебя инструктировал, о чем, что вменили в обязанности. Вот здесь, — Штирлиц достал из своего волшебного пояса блокнот с воткнутым в него карандашом, заправленным ярким грифелем, — тебе надо будет кое-что написать... После того, как скажешь о том, что меня интересует... Текст произвольный: «Обязуюсь работать на Штирлица, выполняя все его приказы, не прекращая формальной службы в организации генерала Гелена». Или Мюллера, разница малая. Дата. Место. Час. Подпись.

— Ты сошел с ума! Мы погибнем! Спусти меня вниз, я согласен, мы там договоримся обо всем! Я согласен, урод! Ты меня победил! Я все скажу внизу!

— Во-первых, урод ты, а не я, — ответил Штирлиц обиженно (он действительно поймал себя на том, что обиделся, никто и никогда не смел так с ним говорить, вот сукин сын, а?!). — Во-вторых, вниз мы попробуем спуститься только после того, как ты ответишь на вопросы и подпишешь текст, предварительно сочинив его... Попробуешь финтить с почерком, — укачу вниз, я твой почерк изучил, к а п л я...

Ганс машинально вытер нос, поднял блокнот, что валялся около его ног, написал текст, размашисто подписался, бросил Штирлицу:

— Ну вези же меня вниз! Я по дороге расскажу все! Через десять минут начнется вьюга, я погибну!

— Мы погибнем, — поправил его Штирлиц. — Как возлюбленные... Не ты один погибнешь, дерьмо, а мы с тобою... Я не двинусь к тебе, пока ты не ответишь. Или начну спуск. И я спущусь, обещаю тебе. Через час я буду пить грог у Эронимо, а вечером позвоню к горноспасателю Хаиме де ля Крусу и Фредди Альперту, под-

ниму тревогу... Я буду в порядке, понимаешь? Алиби. Я буду в полном порядке. А ты в это время — обмороженный и недвижный — будешь молить бога о скорейшей смерти, но бог не поможет паршивым доносчикам...

— Мой номер двадцать семь тысяч пятьсот два, — прокричал в отчаянии Ганс. — Я лейтенант вермахта, служил у Гелена, в подразделении сорок дробь тридцать три! После разгрома меня привлекали снова... Мне поручили смотреть за тобой, дядька ничего не знает... Мне поручено смотреть за твоими связями. Если ты решишь уехать, я должен сообщить, поэтому я сдружился с начальником железнодорожной станции... Мой руководитель Рикардо Баум... Тебя должны свести с бывшим сенатором Оссорио, он был членом комиссии по антиаргентинской деятельности! Когда он приедет сюда, я должен сделать так, чтобы ты стал его другом! Все! Я сказал тебе все, сволочь!

— Извинись.

— Что?!

— Извинись, сопляк.

— Ну прости, прости, прости! Прости же! — Ганс повалился на колени, плечи его затряслись. — Я хочу жить! Я так молод! Прости меня, Брунн!

— Кто тебя привлек к работе после краха?

— Лорх.

— Что он тебе сказал обо мне?

— Он сказал, что... Нет, а вот это, — Ганс вскинул голову, — и это самое главное, я скажу внизу!

— Ты скажешь все сейчас.

— Нет.

Штирлиц развернулся на месте и начал скользить вниз, еще мгновение, и он бы скрылся в снежной пелене; Ганс закричал пронзительно, по-заячьи:

— Он сказал, что ты из гестапо! Ты продался янки! А я ненавижу нацистов! Я их ненавижу, понял? Я патриот Германии, я служил рейху, а не фюреру!

— Какой у тебя пароль для связи?

— С кем?

— С шефами из Мюнхена.

— «Лореляй, прекрасная песня...»

— Отзыв?

— «Наша поэзия вечна, в ней дух нации...»

— Как ты вызываешь Рикардо Баума на связь?

— Он меня вызывает...

— А если тебе срочно потребуется связь? Тревога, я даю деру, тогда как?

— Звонок по телефону, фраза «Дяде плохо, помогите», через час он будет на железнодорожной станции.

— Иди ко мне, — сказал Штирлиц. — Иди скорей, Ганс. Теперь нам с тобой обязательно надо спуститься. Я же тебе тоже обещал кое-что рассказать, я расскажу, не пожалеешь, что повел себя разумно... Поэтому смотри в оба, если я не замечу камней, увидишь ты, только не ори на ухо, я не переношу, когда кричат, предупреждай тихо...

Через двадцать минут они вошли в хижину Эронимо; брови их покрылись льдом, лица были буро-сиреневыми; на кончике носа Ганса висела сосулька.

— Ну и ну, — сказал Эронимо, — спускаться в такую пургу — смерть. Вы с ума сошли, кабальерос?

— Немножко, — ответил Штирлиц и обернулся к Гансу. — Вытри нос, атлет, смешно смотреть...

Ганс привалился к стене, закрыл глаза и шепнул:

— Эронимо, у вас есть спирт?

— Конечно, — тот открыл дверцу деревянного скрипучего шкафа и быстро налил в тяжелые глиняные чашки Штирлицу и Гансу. — Грейтесь, кабальерос!

— Разбавьте мне водой, — попросил Ганс. — Я не умею пить чистый спирт.

Ганс выпил, закашлялся, упал на колени, потом и вовсе повалился на пол; Эронимо опустился рядом с ним, подложил под голову ладонь; парня трясло, на губах появилась кровавая пена.

— Не кончился бы, — сказал Эронимо, — он глаза закатывает.

— А ты похлопай его по щекам, — посоветовал Штирлиц и, присев на деревянную лавку, придвинутую к столу, на котором стояла сковородка с жареным мясом, начал снимать свои черно-белые, тяжелые ботинки. — Оклемается.

Ганса вырвало, он замычал, сел и хрипло попросил воды.

— Встань, — сказал Штирлиц. — Поднимись, вымой лицо и садись к столу. На тебя противно смотреть.

После того как Ганс вымылся, сел к столу, съел мяса, выпил еще полстакана разведенного спирта, его сморило;

Эронимо поднял его, отвел к своей тахте, сделанной из досок сосны, положил на козьи шкуры и укрыл двумя пончо, купленными в Андах; чилийские индейцы умеют их делать так, как никто в Латинской Америке.

Когда Ганс уснул, Штирлиц поднялся, хрустко размялся и спросил:

— Ты сможешь спустить меня вниз, Эронимо?

— Рискованно, кресла здорово раскачивает...

— Но еще рискованней спускаться по склону, особенно после спирта... Выручи, брат... Мне очень нужно быть внизу... А Ганса подержи у себя до утра, он мне понадобится только утром. И не раньше. Если же и утром будет пурга — держи его здесь, пока не утихнет ветер, скажи, что движок не работает, да и вообще рискованно включать, трос может обледенеть, кресло, не ровен час, соскочит. Ясно?

Просьбы Штирлица здесь выполняли: он умел быть полезным людям — месяц назад помог Эронимо составить прошение в суд по поводу перевода на его имя надела земли, оставшегося бесхозным после смерти двоюродного дядьки на восточной стороне озера; просьба была составлена квалифицированно, адвокат за такое взял бы не менее двухсот штук, а поди их заработай, месяц надо пахать, чтобы получить такую сумму, за ум — к глупому адвокату кто идет?! — положено хорошо платить, это тебе не лопатой махать, а думать, мозг сушить.

Просьбу Эронимо удовлетворили; он предложил Штирлицу деньги, тот, посмеявшись, отказался: «Угости обедом, этого будет достаточно».

До этого он вылечил Манолете; старика скрутил радикулит, не мог двинуться; племянник лежал с инфлюэнцей, конец бизнесу, хоть закрывай бар, а самый сезон, турист шел густо, надо ловить момент, не развернешься — чем платить налоги?! Что положишь на свой счет? Что пустишь на расширение дела?!

Штирлиц сначала погрел Манолете ладонями — он верил в животный магнетизм: если передавать свою энергию, тепло другому человеку, он ощутит легкое жжение в том месте, где болит, наступит блаженная расслабленность; в это время надо сделать крутой массаж, нащупать болевые точки, размять их, укутать человека в шерсть, дать немножко грога и заставить уснуть.

В том, что магнетизм существует, Штирлиц лишний

раз убедился на себе, в джунглях под Игуасу у Кыбывырахи и Канксерихи, дай им бог счастья и долгих лет жизни; как все-таки ужасен консерватизм человеческого мышления! Их бы привезти в хороший институт, дать им лабораторию или же, чтобы не пугать городом, организовать маленький научный центр в джунглях, постараться понять предмет серьезно, а не отрицая огульно: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда».

Штирлиц поставил Манолете на ноги за день; старик предложил открыть частную практику:

— Здесь многие страдают от радикулита, знаешь ли... Хорошо мне, я уже над схваткой, женщина видится мне все больше в образе дочери, воплощение нежности и красоты, а те, кто помоложе?! Давай, я внесу деньги, ты подбросишь чуток: «Курандейро Брунн, тайны Амазонки, гарантия излечения от радикулита».

— Знаешь, сколько стоит частная практика? — спросил Брунн.

— Нет.

— Десятки тысяч. У тебя они есть? Аренда помещения? Страховка? Да и потом, — если с тобой у меня вышло, то с другим может не получиться, ведь все зависит от того, верит тебе человек или нет.

— При чем тут «верит» или «не верит»? Мне жгло, когда ты стоял надо мной, расставив ладони, как епископ на молитве... Жгло, я же чувствовал, как в меня проходило твое тепло.

— А другой придет ко мне, будучи заранее уверенным, что такого быть не может. И точка. Знаешь, сколько на земле упрямых ишаков? Мильоны, поди их убеди...

С сыном племянника, Сальвадором-Игнасио-и-Санта-Крусом, отстававшим по английскому и латыни, Штирлиц занимался недели три и подтянул парня. Он заставил его ходить с собою в горы и не отвечал ни на один вопрос, заданный по-испански, только английский, ничего, кроме английского: «Не можешь сказать, объясняй на пальцах, я тебе помогу, так легче запомнишь слово... Ты только представь себе, что тебе пришлось воевать против гринго, и ты у них в тылу, и каждое твое испанское слово выдаст тебя, не сделаешь того, что должен сделать для республики, поэтому либо молчи, изображая глухонемого, либо говори по-английски, — пусть даже с ошибками, вполне можешь представиться каким-нибудь италь-

янцем, а для этого мы подтянем латынь, янки уважают образованных людей, знающих историю». Потом Штирлиц посидел в библиотеке — она помещалась в самом центре города, на первом этаже серого, сложенного из камня П-образного здания, построенного австрийцами в начале тридцатых годов, ни дать ни взять тирольский замок, принадлежавший какому-нибудь отпрыску Габсбургов, — нашел две книги на латыни, пролистал их, снова вспомнил отца, который говорил, что культура невозможна без знания латыни, — и приготовил для Сальвадора несколько новелл.

...Эронимо проводил Штирлица до канатной дороги; ветер валил с ног:

— Максимо, я бы тебе не советовал спускаться, это достаточно опасно.

— А бог зачем? — Штирлиц вздохнул. — Бог помогает тем, кто знает свое дело.

Открыв окно, чтобы вьюга была слышимой, близкой, Штирлиц набрал номер сеньора дона Рикардо Баума, торговца красным деревом, живет здесь с тридцать девятого года, резидент Гелена, членом НСДАП, — по словам Кемпа, — не был, адепт великогерманской идеи, в Гитлере разочаровался после разгрома под Минском, в сорок четвертом, в разведке ведал вопросами военно-транспортного характера и экономикой, особенно интересовался развитием национального банковского дела Аргентины.

Обмотав мембрану носовым платком, Штирлиц сказал:

— Дядя заболел, просит помочь.

И сразу же бросился к автобусу, который шел в город; весь план он рассчитал, пока спускался вниз, шел в домик Отто Вальтера, кипятил чай, курил сигарету, рассматривал свои обломавшиеся во время спусков ногти и, закрыв глаза, делал упражнения, которые разгоняют соли в шейных позвонках.

...На вокзале, старом, точная копия баварских, длинный перрон красного цвета, изразцовый пол, даже столбы, на которых крепился навес, были скопированы с германских, — Штирлиц зашел в туалет и приоткрыл окно: платформа как на ладони; ну, иди сюда, дон Рикардо Баум, я готов к встрече, иди, милый...

...Баум приехал ровно через час, как и говорил Ганс; подошел к большой доске, на которой было вывешено расписание; отчего-то на маленьких узкоколейках, где бывает два-три поезда в день, особенно большие расписания.

Штирлиц вышел из своего укрытия, дождался той минуты, когда Баум повернулся, двинувшись в обратном направлении; догнал его, мягко ступая, и, тронув за руку, тихонько сказал:

— Хайль Гитлер, капитан! Как я рад, что вы откликнулись на мою просьбу.

Да здравствует резкая внезапность и юмор! Надо постоянно нарабатывать в себе два эти качества, — все остальное приложится, если знаешь, во имя чего живешь и чему служишь.

Баум растерялся; лицо его побагровело:

— Простите, вы обознались, кабальеро! Я приехал за билетом.

— А кто поможет бедному дяде? Уезжаете, бросив несчастного старика? Ладно, господин Баум, будем говорить открыто, времени у меня в обрез, да и вы занятой

человек... Я знаю, что вы не воевали, так что с этой стороны все обстоит благополучно, и даже членом партии не были. Но вам прекрасно известно, как ревниво относятся янки к своему коронному оружию — атомной бомбе. Они не потерпят соперников, где бы те ни объявились. Тем более, если эту бомбу рассчитывают наши с вами коллеги. Здесь, в Барилоче. Мой хозяин — Ганс вам докладывал о группе американцев, которая сюда приезжала, не так ли? — очень интересовался, что строят на острове, где сидят наши люди. Я дал ответ, который успокоил босса. Пока, во всяком случае. Я не мог поступить иначе, прежде всего каждый из нас немец! Вы делаете свое дело, я — мое, но мы оба служим будущему, нет? Чтобы окончательно успокоить босса, который выдает себя за туристского шефа, я согласился возглавить здесь новый офис, открываю фирму по приему американских лыжников. Дело обещает быть крайне выгодным. Я не против того, чтобы вы в него — со временем — вошли компаньоном. Поэтому вношу предложение: вы звоните в свое бюро, предупреждаете, что должны срочно выехать на несколько часов, мы берем билет, едем в соседний город, оттуда я звоню в Штаты и сообщаю, что мы с вами заключили контракт. Вы же, в свою очередь, передаете мне ваш отчет о нашей встрече генералу Гелену, — если, впрочем, сочтете нужным ему об этом писать... Этот отчет мы будем считать актом «вербовки», договорились?

— Я ничего не понимаю...

Штирлиц дождался, пока прошел состав, проводил взглядом нескольких пассажиров и заметил:

— Времени на раздумье у вас мало. Поезд уйдет через двадцать минут, господин Баум. Я дерусь за жизнь, и в этой драке нельзя жить без страховки. Я крепко подстрахован. Так же, как вы. Но мне терять нечего, я одинок, а у вас семья. Думайте.

— Где Ганс?

— Там, где ему следует быть.

— Он жив?

— Да. Кстати, вы уберете его отсюда, передислоцируете в другое место, я отныне не хочу его видеть...

— Что он вам еще сказал?

— Я отвечу. Но только после того, как мы вместе смотаемся туда, где мои междугородные разговоры не будут

слушать здешние любопытные телефонистки, которым вы платите премию за информацию.

— Какова возможная прибыль от дела?

— Не знаю. Пока не знаю. Но я рассчитываю принимать здесь не менее пятисот американских горнолыжников. Это много. Это — деньги.

— Сколько я должен буду внести в предприятие?

— Гарантию моей жизни и нашу дружественность.

— Что еще?

— Ничего.

— Но вы понимаете, что в Мюнхене вами заинтересуются еще больше, узнав, что вы в контакте с гринго...

— Понимаю. Однако от вас зависит все: либо вы даете информацию Гелену, что ко мне выгодно и дальше присматриваться, «возникают интересные возможности, он нужен ж и в ы м», либо предлагаете выдать меня властям, выкрасть, устранить. Все зависит от вас. Если со мной что-то случится, помните — я подстрахован. Мое горе вернется к вам бумерангом.

— Хорошо, а если я отказываю вам?

Штирлиц пожал плечами:

— Ваше дело, господин Баум. Но отказать — подставить под удар всю вашу ц е п ь. Я знаю ее... С самого севера. С Игуасу... И повинны в этом г р о м а д н о м провале будете вы. Именно вы.

— Почему «именно я»?

— Потому что ваши коллеги были благоразумнее. Они понимают лучше, чем вы, что мы — в конечном-то счете — делаем одно и то же дело. Пример с Гансом — явное тому подтверждение. О других я умолчу, это асы Гелена, я дорожу их дружбой. Мы дружим с ними, господин Баум. Они верят мне.

— В таком случае назовите имя хотя бы одного из наших асов?

— Ну этого-то я никогда не сделаю.

— Значит, блефуете.

— Это самоуспокоенность на десять минут. Потом наступит пора мучительных раздумий и раскаяния. Вам известен мой ранг в СД?

— Да.

— Вы понимаете, что я унес с собой определенную информацию из рейха, — на вас, в частности: «Нелегальный резидент гитлеровского вермахта в Аргентине с тридцать девятого года по девятое мая сорок пятого»?

— Да.
— Вы понимаете, что я могу распорядиться этой информацией и к своей пользе и к нашей общей?
— Понимаю.
— В таком случае: что интересует Гелена, — только в связи со мной?
— Передвижения.
— Еще?
— Контакты.
— С кем?
— Со всеми.
— И ничего больше?

Баум закряхтел; растерянность на его лице была очевидна, человек попал впросак, мучительно ищет выход из трудного положения.
— Ну, давайте же, время...
— Повторяю: контакты. Все контакты... Особенно с аргентинцами... Точнее, с одним аргентинцем...
— Имя! — Штирлиц прикрикнул, чувствуя, что теряет ритм и натиск.
И Баум сдался:
— Сенатор Оссорио... Бывший сенатор, так вернее...
— Кто его должен ко мне подвести?
— Не знаю. Но подведут. Ждите. У него есть материалы, которыми интересуется Центр. Это связано с работой комиссии сената по расследованию антиаргентинской деятельности. Люди Перона не смогли их получить. документы исчезли. Вы, как считают в Мюнхене, ищете именно эти материалы...
— Значит, после того, как я их получу, вы должны убрать меня?
— Не знаю.
— Кто возьмет билеты? — спросил Штирлиц.
— Вы.

Из соседнего городка Штирлиц заказал три телефонных разговора: один с ФБР (в Кордове он не зря спросил у Джона Эра номер коммутатора), второй с Краймером, а третий был совершенно вымышленный номер.
Когда ответил низкий голос: «Федеральное бюро расследований, доброе утро, слушаю вас», Штирлиц попросил соединить его с мистером Макферсоном (от Роумэна знал, что этот человек, руководитель подразделения по наблюдению за европейскими эмигрантами, умер семь месяцев назад); бас пророкотал, что мистер Макферсон больше не работает в управлении, очень сожалею, может быть, соединить с кем-то еще из его группы? Штирлиц поблагодарил, сказав, что он перезвонит в другой раз; Краймеру он сказал, что необходима ссуда, пара тысяч долларов, все остальное он берет на себя; «И, пожалуйста, отправьте то, что я вас просил; время; теперь я готов к встрече»; третьего разговора не стал дожидаться, вышел из кабины и попросил Баума:
— Выкупите у барышни в бюро заказов бланк с номерами, не надо, чтобы здесь оставались те номера, я напишу ей другие...
И Баум сделал это; Штирлиц порвал бланк, бросил в урну и вышел из почты; на улице Баум схватился за живот: «Сейчас я вернусь, это на нервной почве»; идет подбирать обрывки бланка, понял Штирлиц, очень хорошо, пусть, как раз в это время я и отправлю письмо Роумэну...

ГАРАНТИРОВАННАЯ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ, 1947

«Л» *. Мистер Краймер, я пригласил вас для того, чтобы задать ряд вопросов, связанных с вашей поездкой в Аргентину.
Краймер: Во-первых: представьтесь, во-вторых, объясните, отчего я вызван в Центральную разведывательную группу, в-третьих, будет ли наше собеседование носить такой характер, что я должен пригласить сюда своего адвоката?
«Л»: Меня зовут Джозеф О'Брайен, я консультирую ЦРГ по вопросам Латинской Америки, где в равной мере опасны как бывшие нацисты, так и коминтерновские представители, готовящие путчи против законно избранных правительств. Это ответ на ваш первый вопрос. Соединенные Штаты не могут не проявлять оправданного беспокойства о своих южных соседях — так было, есть, так будет. Поэтому ЦРГ внимательно наблюдает за происходящими в том регионе процессами. Это ответ на ваш

* «Л» — псевдоним сотрудника ЦРГ Липшица.

второй вопрос. Полагаю, что приглашение вашего адвоката нецелесообразно, ибо против вас не выдвигают никаких обвинений, а хотят поговорить как с патриотом этой страны...

Краймер: Хотят? В разговоре примет участие еще кто-нибудь?

«Л»: Как человек, получивший филологическое образование, да еще работающий в рекламе, то есть постоянно соприкасающийся со словом, вы очень тщательно следите за фразой. А я говорю с вами совершенно открыто, не придавая, видимо, отдельным словам должного значения... Приношу извинение... Говорить с вами буду я. Один.

Краймер: Это если я соглашусь разговаривать с вами один на один.

«Л»: Да, конечно, это ваше право, мистер Краймер. Вы можете пригласить адвоката... А можете и вовсе отказаться от собеседования, это право вам гарантирует конституция страны.

Краймер: Все будет зависеть от того, как пойдет разговор... Я, знаете ли, читаю наши газеты, там печатают допросы, проводимые комиссией по расследованию антиамериканской деятельности...

«Л»: Вы находите в них какие-то нарушения конституции?

Краймер: А вы — нет?

«Л»: Бог с ней, с этой комиссией... Меня интересует другое... Во время поездки по Аргентине, финансировавшейся фирмой «Кук и сыновья», не приходилось ли вам встречаться с немцами или русскими? Случайно, в самолете, поезде, автобусе, отеле?

Краймер: С немцами и австрийцами встречался... Кстати, австрийцы вас тоже интересуют? Я им не верю, как и немцам... Один язык, похожая природа...

«Л»: Да, австрийцы тоже меня интересуют, особенно те, которые были связаны с наци...

Краймер: Таких в Барилоче полно.

«Л»: Барилоче? Что это? Город? Район?

Краймер: Неужели не знаете?! Одно из чудес света! Прекрасные лыжные катания — с июня по октябрь... Это на границе с Чили, там невероятно красиво... В Барилоче много австрийцев... И немцев тоже...

«Л»: Фамилии не помните?

Краймер: Нет... Они для меня все «фрицы».

«Л»: Странно, мы, американцы, называем немцев «гансами»... Только русские называют их «фрицами».

Краймер: Так это я у русских и научился! Наши полки встретились на Эльбе... Первыми...

«Л»: Хорошо отпраздновали встречу?

Краймер: О! Первый и последний раз в жизни я позволил себе пить три дня подряд...

«Л»: С кем?

Краймер: С русскими, с кем же еще?

«Л»: Фамилии не помните?

Краймер: Все фамилии зафиксированы вашими службами, мистер О'Брайен. Как и наши — русскими. Я воевал начиная с Африки, с сорок второго года, не надо говорить со мной, как с девицей. Если же вас интересуют фамилии немцев и австрийцев в Барилоче, отправьте туда ваших людей, деньги вам на это отпущены... Я бы, на вашем месте, отправил.

«Л»: У вас есть подозрения против кого-нибудь?

Краймер: Я же вам говорил: не верю ни одному «фрицу».

«Л»: Увы, должен согласиться с вами... Я ведь тоже во время войны был в Европе... Ненависть к немцам трудно вытравима, вы совершенно правы... Скажите, в той фирме, что вас принимала, были немцы?

Краймер: Да, был там один Ганс...

«Л»: Это надо понимать, «фриц»? Немец?

Краймер: Нет, именно Ганс. Из Вены... Но нами занимался американец, Мэксим Брунн, прекрасный инструктор горнолыжного спорта.

«Л»: Он вам ничего не рассказывал о тамошних немцах с нацистским прошлым?

Краймер: Нас с ним интересовали совершенно иные вопросы, Барилоче — поле для бизнеса.

«Л»: Какого?

Краймер: Нашего, мистер О'Брайен, нашего с Брунном, проблема не имеет отношения к собеседованию, бизнес есть бизнес.

«Л»: Да, да, конечно, это свято... Но мистер Брунн там живет, значит, он много знает... Возможно, поделился чем-то с земляком?

Краймер: Мы не земляки. Он из Нью-Йорка, а я южанин, из Нью-Орлеана...

«Л»: Местные власти не мешают вам и мистеру Брунну в бизнесе?

Краймер: Какой им смысл?! Они получают с нас хорошие деньги, тот дикий край заинтересован в валютных поступлениях.

«Л»: Вы оставили мистеру Брунну какие-то поручения?

Краймер: Конечно. Когда начинаешь дело, партнер должен иметь право на свободу поступка.

«Л»: А что за поручение мистера Брунна вы взялись выполнить здесь, в Штатах?

Краймер: Насколько я понимаю в биологии, Брунн американец... А вас интересуют нацисты, немецкие нацисты.

«Л»: Для нас, Центральной разведывательной группы, факт проживания американца в тех районах, где, по вашим словам, много немцев, возможно с нацистским прошлым, представляет немаловажный интерес...

Краймер: Ну в этом смысле вы, конечно, правы.

«Л»: Лишь поэтому я и спрашиваю, какие поручения мистера Брунна вы взялись выполнить дома.

Краймер: Никаких. Конечно, надо кое-что вложить в рекламу, но это моя забота, а не его, напечатать проспекты, хотя, повторяю, это делаю я, он в этих вопросах некомпетентен, он замечательный инструктор, умеет вести себя с людьми, прекрасно катает, знает уникальные места в окрестностях... Славный парень, он понравится вашим людям. Можете им назвать меня, пусть передадут привет от компаньона, Брунн не откажется помочь.

«Л»: Вы не представляете себе, мистер Краймер, как мне важно это ваше предложение... А что вы можете сказать о Гансе? Мистер Брунн как-то характеризовал его?

Краймер: По-моему, он относится к нему с юмором...

«Л»: С доброжелательным юмором?

Краймер: Да, именно так. Но в горах отношения между людьми особые... Там важно, кто как катает со склонов. Мистер Брунн непревзойденный мастер... Этот Ганс сосунок в сравнении с мистером Брунном... И потом он племянник хозяина той фирмы, где служит Брунн...

«Л»: Кто хозяин?

Краймер: Я с ним не встречался... Какой-то Вальтер... Отто Вальтер, австрийский социал-демократ, эмигрант... Брунн считает его порядочным человеком.

«Л»: Брунн симпатизирует социал-демократам?

Краймер: Мистер О'Брайен, в Австрии можно симпатизировать или национал-социалистам или социал-демократам. По-моему, американец обязан симпатизировать последним.

«Л»: Вы отвечаете, как режете, мистер Краймер... Все, у меня больше вопросов нет... Большое спасибо за ваше предложение отправить в Барилоче нашего человека к мистеру Брунну с приветом от вас, это очень важно... Как, кстати, там со связью? Мистеру Брунну легко до вас дозваниваться?

Краймер: Легко, но дорого. Надежное письмо.

«Л»: Власти Перона не лезут в переписку? Может быть, вам стоило придумать какой-то примитивный шифр? Перон, знаете ли, и есть Перон.

Краймер: Нам нечего скрывать. Кроме добра себе, нашим клиентам и Аргентине мы ничего не делаем...

«Л»: Еще раз большое спасибо, мистер Краймер, извините, что я отнял у вас время».

«Расшифровка беседы, проведенной с миссис Мэри Спидлем, осведомителем ФБР «Лиз», откомандированной в распоряжение м-ра Макайра (Центральная разведывательная группа).

Лиз: Боже, какой у тебя загар, подружка! Ты совершенно коричневая! Но не такая, как мы, валяющиеся летом на пляже. У тебя совершенно особый, какой-то нутряной загар...

Мэри: Так я же вернулась из Аргентины... Вечно забываю название этого места в горах... Такая красота, Лиз, такое блаженство!

Лиз: В Аргентине? Ты сумасшедшая! Это же черт-те где?! Зачем тратить безумные деньги? Или ты получила наследство?!

Мэри: Наследство мы, увы, не получали... Просто Чарльз делает буклеты для фирмы «Кук», ну те и предложили полет в четверть цены, это дешевле, чем отправиться на Майами.

Лиз: Не жалеешь, что съездила?

Мэри: О, нет, что ты! Это незабываемо!

Лиз: Неужели встала на горные лыжи?

Мэри: И еще как!

Лиз: Кто тебя учил? Какой-нибудь индеец в шляпе из перьев?

Мэри: Меня учил Мэксим, подружка, американец, как мы с тобой...

Лиз: Ну-ка, ну-ка, погляди мне в глаза!
Мэри: Нет, действительно, он поразительный тренер... Бородатый, крепкий... Настоящий мужик...
Лиз: Ну и..?
Мэри: О чем ты?
Лиз: Напиши ему записку, представь меня, я тоже полечу в Аргентину...
Мэри: Нет.
Лиз: Ой, ты влюблена! Он пишет тебе письма, а ты отвечаешь ему стихами!
Мэри: Между прочим, я бы с радостью стала писать ему письма... Но он какого-то особого кроя... Очень сдержан... Я таких мужчин раньше не встречала...
Лиз: Каких?
Мэри: Ну таких... Я даже не знаю, как объяснить... Если раньше действительно были рыцари, а их не придумал Айвенго, то он настоящий рыцарь...
Лиз: Рыцарей придумывал Вальтер Скотт, дорогая. Айвенго был шотландским разбойником... Ну хорошо, а в чем же его рыцарство? Расскажи, страшно интересно!
Мэри: Не знаю... Это трудно передать...
Лиз: Скажи честно, он волочился за тобой?
Мэри: Говоря честно, я волочилась за ним...
Лиз: Ну и?
Мэри: Видишь, вернулась. Живая и здоровая... И начала вести на календаре отсчет, когда я поеду в это самое... как его... Барилоче, вспомнила! Я мечтаю туда вернуться... Мечтаю, как девчонка.
Лиз: Он тебя ждет?
Мэри: Я замужем, подружка, ты забыла?
Лиз: С каких пор это мешает чувству? Особенно, если оно такое чистое... По-моему, именно новое чувство укрепляет семью, дает импульс былому, возвращает тебя в юность, ты начинаешь по-иному оценивать мужа, видишь в нем что-то такое, чего раньше не замечала...
Мэри: Ну, знаешь, это слишком сложная теория, такое не для меня... Я смотрю на мир проще.
Лиз: Это как?
Мэри: Не знаю... Проще, и все тут...
Лиз: А у этого самого инструктора есть семья?
Мэри: По-моему, нет.
Лиз: Но ты хоть адрес ему оставила?
Мэри: Он не просил...
Лиз: Вообще ни о чем не просил?

Мэри: Ни о чем.
Лиз: Он образован? Умеет рассказывать истории? Знает стихи?
Мэри: Он молчаливый. По-моему, за ним — история, но он никому ее не открывает...
Лиз: Очень скрытный?
Мэри: Да нет же... Он ничего не играет, понимаешь? Он сам по себе: «Я вот такой, а никакой не другой, таким меня и принимайте, не хотите — не надо!»
Лиз: Ну хорошо, ты хоть поняла, что он любит, что ненавидит?
Мэри: Он очень любит горы... А ненавидит? Не знаю... Он про это не говорил...
Лиз: Он всю войну просидел в этих самых горах?
Мэри: Кажется, он воевал... Да, да, он воевал, очень ненавидит нацистов, вот что он ненавидит по-настоящему. Он сказал Чарльзу: «Вы не знаете, что такое рейх, и молите бога, что вам этого не довелось узнать...»
Лиз: А почему он так сказал? У него были основания?
Мэри: Разве в этих словах есть бестактность? Я бы почувствовала, ты не права...
Лиз: А он по-испански хорошо говорит?
Мэри: Как по-английски... У него есть друг, хозяин бара Манолете, тот уехал в Аргентину после того, как в Испании победил Франко, они вместе поют под гитару такие замечательные песни! Как настоящие фламенко!
Лиз: А отчего Манолете уехал из Испании? Он красный?
Мэри: Откуда я знаю! Он милый. Какое мне дело, красный он или нет! Он готовит замечательную парижжю... Знаешь, что это?
Лиз: Откуда мне...
Мэри: Это когда на углях жарят мясо — печень барашка, почки, мозги, даже яички, это у них главный деликатес... Объедение!
Лиз: Наверняка у этого твоего тренера есть какая-нибудь аргентинка! Я это чувствую кожей... Или индианка... Ты была у него дома?
Мэри: Как я могла?! Он никого к себе не приглашает, он очень весел на склоне, а в баре сидит и молчит...
Лиз: И ты с ним...
Мэри: Твой вопрос бестактен...
Лиз: А я бы на твоем месте сохранила память обо всем

этом. И ничего в этом нет постыдного. Если мужчинам все можно, то почему нельзя нам?!

Мэри: Между прочим, ты бы ему наверняка не понравилась...

Лиз: Сначала надо решить, понравился бы он мне... Наверное, он от вас вообще не отходил ни на шаг, если ты так к нему привязалась...

Мэри: Да мы его упрашивали быть с нами! Мы! Я же говорю: он живет сам по себе! Ему интересно с самим собой и с его горами...

Лиз: А кто вас к нему привез?

Мэри: Никто нас к нему не привозил. Он сам предложил свои услуги, там это у них принято...

Лиз: Наверняка он предложил услуги именно тебе!

Мэри: Ничего подобного, Краймеру. Он наш руководитель, он все и решал.

Лиз: А откуда твой красавец знал, что Краймер руководитель?

Мэри: Какая разница? Почему это должно меня интересовать? Просто я теперь отмечаю календарь каждый день, и это для меня счастье».

«Роберту С. Макайру
ЦРГ

Уважаемый мистер Макайр!

Во время командировки в Барилоче с группой туристов фирмы «Кук и сыновья» я познакомилась с интересующим ЦРГ Мэксимом Брунном.

Произошло все в день прибытия, когда мы решали, где начать катания.

М-р Брунн сам предложил нам свои услуги, и все мы согласились с его предложением, что вызвало неудовольствие у его конкурента м-ра Роберта «Локо», но большую радость хозяина фирмы, австрийца Ганса.

М-р Брунн более всего контактировал с м-ром Краймером и миссис Мэри Спидлем; думаю, что между ними возникла близость, так нежны были их отношения. Это возможно тем более и потому, что м-р Чарльз Спидлем выключается после приема алкоголя, что позволяет его жене быть свободной всю ночь.

Я не заметила ничего, что могло бы хоть в какой-то мере компрометировать м-ра Брунна как лояльного американца.

В библиотеке Барилоче я поинтересовалась его формуляром. Беглое изучение показало, что м-р Брунн не заказывает левую литературу или журналистику, изучает в основном историю немецкого заселения Латинской Америки (Аргентина, Чили, Парагвай, Бразилия и Никарагуа), проявляя повышенный интерес к делу о похищении в 1931 году сына великого американского летчика Чарльза Линдберга, выписывал по этому вопросу газеты из Буэнос-Айреса на английском, немецком и испанском языках. С вопросом о деле летчика Чарльза Линдберга он также обращался в местную газету, — по какой причине, выяснить не удалось, поскольку тур был весьма кратковременным.

У меня наладились вполне добрые отношения с м-ром Брунном, и в случае, если Вы сочтете целесообразным, я готова отправиться в Барилоче для более тесной работы с этим джентльменом.

Ни с какими просьбами к членам нашей группы м-р Брунн не обращался, к вопросам политического или военного характера интереса не проявлял, его беседы с м-ром Краймером носили деловой характер и касались возможности создания в Барилоче филиала их фирмы.

О м-ре «Брехте», «П. Роумэне» и «Г. Спарке» разговор ни с кем ни разу не поднимался. О работе комиссии по расследованию антиамериканской деятельности — так же.

...В районе озера ведется активное строительство какого-то комплекса, но что это такое, никому не известно.

Хэлен Эрроу».

Резолюция Макайра: «В архив. Командировка X. Эрроу в Барилоче нецелесообразна. Работу по «Брунну» ведет «Организация» и лично «Верен».

РОУМЭН, СПАРК, ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 1947

Спарк позвонил к нему ночью, в половине первого:

— Я хочу, чтобы ты сейчас же, повторяю: сейчас же приехал к нам, Пол!

Тот вскинулся с тахты, чувствуя, как сердце враз сделалось «заячьим хвостиком»:

— Господи, что-нибудь с детьми?!

— Нет, нет, с мальчиками все в порядке... Ты же вы-

полнил условия договора... Я прошу тебя немедленно к нам приехать, речь идет о другом...

— А кто выручит мою шоферскую лицензию? — Роумэн хохотнул. — Я слегка поддал, Грегори. Я не хочу ездить пьяным, этого только и ждут *пареньки*, я чту законы страны проживания.

— Вызови такси, я оплачу, останешься у нас, здесь и поговорим.

— На подслухе у Макайра? — Роумэн снова хохотнул. — Ты хочешь порадовать начальника?

— Не сходи с ума, Пол. У тебя здесь нет бо́льших друзей, чем Элизабет и я. Не сходи с ума. Мне нужно тебя увидеть.

— Ну так и приезжай в город. Пойдем в «Президент»... Там шлюхи съезжаются к полуночи, я покажу тебе самых роскошных... Там дорого, осведомители не пролезут, они же на бюджете, им нужно просить разрешение на траты, забыл, что ль? Там и поговорим, если тебе это так надо.

— Хорошо. Я выезжаю. Встретимся в «Президенте»? Или заехать за тобой?

— Нет, ко мне не надо, здесь все нашпиговано макайровскими штуками, я ж говорю, они записывают даже то, как я корчусь в туалете после пьянки...

— Думаю, у них сейчас есть работа поважнее, чем фиксировать твои корчи. Я выезжаю.

— Хорошо, я заказываю столик.

Роумэн положил трубку на рычаг осторожно, словно боялся ее сломать, потом резко поднялся, походил по квартире, которая после отъезда Кристы сделалась похожей на его мадридское обиталище в дни, когда не приходила убираться Мариан: сплошной кавардак — разбросанные по полу ботинки, висящие на спинках кресла рубашки, пыль на книжном столе, на нем рукописи сценариев; истинно холостяцкое жилье; даже спать теперь он ложился, если возвращался домой — на тахте, возле балконной, во всю стену, двери; кровать, которую купила Криста, была завалена книгами; каждое воскресенье Роумэн отправлялся по книжным лавкам, скупал все, связанное с прошедшей войной, историей разведки, помешательством, мафией и атомной бомбардировкой Хиросимы; книги по бизнесу складывал на полу, возле батарей отопления, особенно часто листал пособие для начинающих предпринимателей «Как стать миллионером», потешаясь, делая выписки, притал их в стол, пригодится на будущее, почему бы действительно не стать миллионером тому, у кого баки на счету?

Роумэн снял рубашку, надел полосатую куртку и джинсы, бриться не стал, набрал номер «Президента», попросил забронировать столик на имя мистера Спарка. «Платить буду я, Пол Роумэн, да, да, «ар», «оу», «ю», нет, я не «ар», «эй», «ю», кто-то подлаживается под меня, гоните его прочь, ах, это тот самый Раумэн из Техаса, который держит скот? Очень хорошо, передайте ему привет, скажите, мы с ним братья, пусть подкинет пару сотен тысяч, я восславлю его в фильме, сниму верхом на жирафе, с копьем в левой руке».

...Роумэн вышел на улицу, с океана задувал ветер; нет ничего прекрасней такой погоды, подумал он; все идет, как надо, сейчас меня хорошенько проморозит: я буду готов к разговору, мы должны провести этот разговор, от него зависит все, или почти все, это точно.

Город уснул, главная улица была пустынной, только в барах слышны голоса и *костистые* удары бильярдных шаров; именно в барах по ночам собираются либо счастливые люди, либо самые несчастные, которые бегут от самих себя.

В шикарном «Президенте» было светло, как в операционной, и так же холодно; нет ничего отвратительнее огромных гостиниц, никакого уюта, сплошная показуха, отчего людей так тянет на показуху, будь мы все неладны?!

Войдя в бар, Роумэн спросил, не пришел ли мистер Спарк; метр ответил, что еще не появлялся, однако техасский Раумэн *гуляет*. «Я ему сказал про вас, он очень потешался, хотите познакомиться?»

Раумэн оказался крошечным человечком в ковбойской одежде; хлопнув Пола по плечу, предложил выпить «хайбол», спросил, откуда он родом. «Нет, увы, мы не братья, я бы мечтал найти брата, меня раздавило дело, будь оно неладно, нет свободной минуты...»

— Так остановитесь, — посоветовал Пол. — Набрали десяток миллионов баков — и хватит! Наслаждайтесь жизнью! Видите, сколько здесь прекрасных шлюх? Каждая стоит тысячу в месяц — это если высшего разбора. Сто тысяч за десять лет вперед — гроши. Я бы на вашем месте нанял тройку, завидую шейхам, нет ничего надеж-

нее многоженства, жизнь в радость, никаких обязательств, одни наслаждения...

— Я смущаюсь называть вещи своими именами, — сказал коротышка Раумзн, — тем более, когда речь идет о женщинах.

— Наймите себе «паблик рилэйшенз офиссер» *...

— Сколько хотите получать в неделю?

— Нет, я не пойду, — Роумзн покачал головой. — Если хотите познакомиться с какой-то из здешних красоток, укажите пальцем, и я без денег все организую.

— Пальцем указывать некультурно, — сказал карлик назидательно, и Роумзн понял, что именно этим ограничивается его соприкосновение с культурой; хотя нет, наверняка он знает, что дичь можно есть руками, наверное, поэтому заказывает в ресторанах фазанов или куропаток, не надо мучиться с тремя вилками, все просто, а заодно соблюден престиж: ерундовое крылышко птички в пять раз дороже самого прекрасного стэйка; ну и горазды люди на фетиши, выдумают блажь и поклоняются ей...

Спарк приехал через сорок минут; по дороге спустило колесо.

— Знаешь, — усмехнулся он, когда они расположились за своим столиком, — я вожу машину с закрытыми глазами, но когда надо менять скат, ощущаю себя Робинзоном, путаюсь с ключами и очень боюсь заночевать на дороге...

— Вози с собой теплую куртку и виски, — посоветовал Роумзн. — Жахнешь от души, укутаешься, поспишь, а утром попросишь шоферов прислать тебе «автосос» **, двадцать баков, — и никаких забот... Ну что у тебя?

— Пол, мы получили письмо от Крис.

— Мне она тоже прислала телеграмму.

— Я хочу, чтобы ты прочитал ее письмо при мне.

— Слушай, Грегори, я чертовски не люблю сентиментальных сцен: добрый друг наставляет заблудшего, разговор по душам, глоток виски, сдержанное рыдание... Это все из штампов Голливуда...

— Ты можешь обижать меня, как тебе вздумается, Пол... Я все равно не обижусь, потому что люблю тебя...

---

* Чиновник по связям (англ.).
** Служба помощи автомобилистам.

И знаю, что нет на земле лучшего человека, чем ты... Задирайся, валяй, все равно ты прочитаешь ее письмо при мне... Или, если хочешь, я его тебе прочту сам...

— Поскольку здесь им трудно оборудовать звукозапись, можешь читать.

— Что с тобой, Пол?

— Ровным счетом ничего. Просто я ощутил себя законченным дерьмом. А поняв это, стал отвратителен самому себе. Ясно? Я помог Крис уйти от меня. Я не хочу, чтобы она жила с дерьмом, понимаешь?

— Погоди. Сначала послушай, что она пишет...

— Я читал, что она написала перед тем, как уехать! Она сбежала! Она бросила меня! Да, да, да! Не делай печальное лицо! Мало ли, что я пару раз не приходил домой! Я всегда жил один, и я привык жить так, как считал нужным! Я тогда не мог приехать пьяным! Я звонил ей, но никто не брал трубку!

— Врешь.

— Если ты еще раз посмеешь сказать мне это слово, я уйду, Грегори, и мы больше никогда не увидимся.

— Хорошо. Прости. Послушай, что она пишет. — Спарк взял письмо в руку; Роумзн заметил, как тряслись его пальцы. — Вот, погоди, тут она рассказывает Элизабет про свое житье... Ага, вот эта часть... «Мне казалось, что Пола порою удивляло мое постоянное «ты», я действительно очень не люблю никого называть по имени... Я назвала его «Полом» в прощальной записке. Жест дарующий и жест принимающий дар имеет разъединяющий... Так и те дни, которые я провела с ним: дни надежды, дни разлук, но более всего я боюсь, что он не узнает, какое это было для меня счастье, какая это была нежность, которую он так щедро подарил мне. Каждый должен во что-то верить: в бога, Космос, сверхъестественные силы. Я верила в него. Он был моим Богом, любовником, мужем, сыном, другом, он был моей жизнью... Я благодарна ему за каждую минуту, пока мы были вместе, я благодарна ему за то, что он был, есть и будет, пока есть и буду я... Больше всего я страшусь того, когда, просыпаясь, не вижу его глаз. Он говорил, что глаза нельзя целовать, это к расставанию, плохая примета... Нет, уходя, можно все, только нельзя остаться... Я теперь часто повторяю его имя, оно делается ощутимым, живым, существующим отдельно от него... Я села и написала: имя твое — поляна в лесу, имя твое — поцелуй в росу, имя

твое — виноградинка в рот, имя твое скрипка поет, имя твое мне прибой назвал, тяжко разбившись о камни скал, имя твое — колокольный звон, имя твое — объятья стон, ну а если на страшный суд, — имя твое мои губы спасут...»

Спарк поднял глаза на Пола; в них были слезы.

— Ты должен поехать к ней, Пол...

— Нет.

— Почему? Она любит тебя.

— Я сломан. В каждом человеке живет своя гордость. Я не могу, чтобы она была подле раздавленного, старсющего и спивающегося мужика. Это предательство. А я не из этой породы... Мы с тобою предали Брехта, и Ганса Эйслера тоже предали, их нет в этой стране, их оболгали и выбросили, как нашкодивших котят... А ведь они не котята, а великие художники, которые будут определять память середины двадцатого века! А кто здесь понял это? Кто стал на их защиту?! Кто?! Ты? Я? Украли мальчиков, раздавили нас подошвой, как тараканов... Я не могу взять на душу грех приучать ее к тараканам... Не могу... Она их и так слишком много повидала в своей жизни... Словом, я, — тут у меня наклевывается одна работенка, предстоит полет в Вашингтон, — оформлю там развод и пошлю ей все документы... У нее впереди жизнь, а мне осталось лишь одно — доживать.

— Как сердце?

— Прекрасно.

— Ты говоришь неправду, Пол. Ты ужасно выглядишь... Ты гробишь себя. Кого ты хочешь этим удивить? Надо выждать... Все изменится, поверь. Так долго продолжаться не может...

— Изменится? Да? Хм... А кто будет менять? Ты? Я? Стоит только прикрикнуть, как все уползают под лавку и оттуда шепчут, что «так дальше продолжаться не может...» Кто ударит кулаком по столу? Я? Нет, я лишен такой привилегии, потому что мстить за это будут Элизабет и тебе, мальчики — в закладе... Должно родиться новое поколение, созреть иное качество мышления... А кто его будет создавать? Человечество несет в себе проклятие страха, согласись, именно рабовладение определяло мир с его основания до конца прошлого века.

Девушка в коротенькой юбочке принесла виски.

— Крошка, принеси-ка нам сразу еще четыре порции. И соленых фисташков, о'кэй?

— О'кэй, — ответила та. — А вам записка.

— От кого?

— От скотовода, — девушка усмехнулась. — От гиганта из Техаса.

Роумэн прочитал вслух:

— «Братишка, если ты и впрямь можешь заклеить здесь любую красотку, то я бы просил тебя побеседовать с той, которая вся в белом». — Роумэн рассмеялся, поясни: — Это гуляет крошечный ковбой, который стоит пятьдесят миллионов, Раумэн, видишь, вырядился в костюм первых поселенцев...

— Ты что, намерен быть его сводником? — спросил Спарк с нескрываемым презрением.

— А почему бы и нет? Во мне родился инстинкт иждивенца, я постоянно хочу к кому-то пристроиться, чтобы не думать о завтрашнем дне... Я уже у в о л е н, Грегори... Я не дослужил нужных лет до пенсии... Я в любую минуту могу оказаться безработным...

Он поднялся, сказал Спарку, что сейчас вернется, пусть пьет, стол оплачен, подошел к громадной женщине в белом, поклонился и спросил разрешения присесть, ощущая на спине скрещивающиеся взгляды Спарка и скотовода.

— Что ж, подсаживайтесь, — голос у толстухи был низкий, хриплый, мужской. — Есть проблемы?

— Мой друг мечтал бы познакомиться с вами.

— Твой сосед, длинный красавчик?

— Нет, тот не знает никого, кроме жены, он священник...

— У священников нет жен...

— Бывший священник, — усмехнулся Пол. — У него были неприятности с Ватиканом.

Женщина вздохнула.

— Так кто хочет меня пригласить?

— Вон тот гигант, — Роумэн показал глазами на карлика. — Он стоит полсотни миллионов.

— Я лучше с тобой пойду...

— Тебя как зовут?

— Мэри Флэр, — ответила женщина. — У меня красивое имя. Правда?

— Очень. Слушай, Мэри Флэр, сделай милость, позволь все же этому маленькому подойти к тебе, а? Ну что с тебя станет, если он угостит тебя шампанским?

— А ты?

— У меня нет денег на шампанское... Нет, вообще-то есть, но я очень скупой, берегу на черный день...

— Да я сама тебя угощу. Я спрашиваю, ты совсем отвалишь или потом вернешься?

— Вернусь, честное слово, приду...

— Ладно, — женщина кивнула, — пусть поит шампанским. Я ему сейчас назову марку начала века — за такие деньги можно стадо купить, поглядим, на что он способен...

Карлик, увидав улыбку Роумэна, поднялся; его высокие сапожки тридцать седьмого размера были на каблучках, как у оперной певицы; важно ступая, он отправился к Мэри Флэр, галантно поклонился женщине, сел рядом и сразу же пригласил метра.

— Этот в порядке, — вернувшись к Спарку, сказал Роумэн; вздохнув, выпил еще один хайбол, положил ладонь на холодные пальцы друга: — Не сердись, Грегори. Мне плохо. Мне так плохо, как никогда не было.

— Порой мне кажется, что ты играешь какую-то роль, Пол.

— Хорошо обо мне думаешь...

— Скажи правду: ты ничего не затеял?

Роумэн полез за своими вечно мятыми сигаретами, усмехнулся, сокрушенно покачал головой:

— Спи спокойно, Грегори. Больше я вас не подставлю... Больше никто никогда не похитит мальчиков...

— Ты говоришь не то, Пол.

— Я говорю именно то, что ты хочешь услышать.

— Ты говоришь плохо, Пол. Мне даже как-то совестно за тебя.

— Зачем же ты приехал? Валяй к себе в Голливуд, тебя заждалась Элизабет.

— Ты похож на мальчишку, который нашкодил и не знает, как ему выйти из того ужасного положения, в которое он сам себя загнал...

— Зачем ты так? Хочешь поссориться?

— Не я хочу этого, — ответил Спарк.

— Почему же? Тебе выгодно поссориться со мной... Тогда от тебя окончательно отстанут...

— Ты плохо выглядишь, Пол... Знаешь, Эд Рабинович купил себе клинику, он лучший кардиолог, какие только есть, потому что добрый человек... Я сказал ему, что у тебя аритмия, и сердце молотит, когда меняется погода, он ждет тебя, вот его карточка, возьми...

— Ты очень заботлив. Только я не знаю никакого Рабиновича.

— Знаешь. Вот его визитная карточка, возьми, пригодится... Он воевал, потом поселился в Голливуде, играет на виолончели...

— Ну и пусть себе играет вдвоем с Эйнштейном.

— Пол...

— Ну?

— Мы тебя все очень любим.

— Спасибо.

— Ты что сник?

— Я? — Пол удивился. — Я не сник. Наоборот. Будь здоров, Грегори, давай жахнем.

— А кто будет выручать мою шоферскую лицензию? Ты?

— Оставайся у меня, а? Это будет так прекрасно, Грегори, если ты останешься у меня! Я сделаю яичницу! У меня есть хлеб и масло, кажется, и сыр. Устроим пир! А? Оставайся, Грегори!

— Пол... Там же мальчики... Я и сейчас как на иголках...

Роумэн сник:

— Вот видишь... А ты говорил...

— Хорошо. Я останусь.

— Не говори ерунды. Я часто теряю ощущение реальности, Грегори. Я не имел права предлагать тебе это, не думай, я не испытывал тебя. Просто я... Не сердись... Езжай, поцелуй Элизабет, она прелесть... И постой над кроватками мальчишек. Посмотри на них внимательно, подивись чуду, они ведь у тебя чудо, правда...

— Едем ко мне, Пол. Там и надеремся. Как раньше, втроем: Элизабет, ты и я. Ты ляжешь спать в комнате, рядом с мальчиками, где вы спали с Крис...

— Тебе доставляет наслаждение делать мне больно?

— Не дури, Пол. Не сходи с ума. Ты нарочно играешь жизнью. Зачем? Если уж она тебе совсем не дорога, распорядись ею ко всеобщему благу.

— Это как? Застрелить Трумэна? Привести нашего друга Даллеса в кресло президента и вернуться в разведку? Эмигрировать к Сталину и организовать американское правительство в изгнании? Или поцеловать задницу Макайру и написать покаянное письмо: «Меня опутали левые, но теперь я прозрел, спасите»?!

— Едем, Пол, — Спарк поднялся. — Едем.

— Хорошо, хоть не посмотрел на часы, брат. Езжай. С богом. Я еще погуляю чуток.
— Что мне написать Крис?
— А я разве нанял тебя в посредники? Не лезь в чужие дела, это неприлично.
— Завтра тебе будет стыдно за то, что ты мне наговорил сегодня.
— А тебе? Какого черта ты приперся с ее письмом?! Ты думаешь, у меня нет сердца?! Я всегда смеюсь: «Ах, он такой веселый, этот Пол, у него прекрасный характер, с ним так легко...» А ты знаешь, чем мне это дается?! Ты знаешь, чего стоит быть веселым, улыбчивым, мягким?! У меня ж внутри все порвано! Мне разорвали все в нацистской тюрьме! Пытками! А потом... Ладно, Грегори, я не хочу, чтобы мы окончательно поссорились. Линяй отсюда! Я выпью за Элизабет, — он опрокинул в себя виски, — и за мальчиков. Это все. Шпарь. Я завелся. Шпарь отсюда, ладно?
И, не прощаясь, Роумэн поднялся и, вышагивая ровно, словно солдат на параде, двинулся к карлику, который сидел с Мэри Флэр.
Спарк посмотрел ему вслед с тяжелой неприязнью, потом смачно плюнул под ноги, бросил на столик двадцатидолларовую купюру и стремительно вышел из бара.
— Он плюнул тебе вслед, — сказала Мэри Флэр, погладив руку Пола. — Садись, Чарльз поит нас самым лучшим шампанским.
— Ах, тебя к тому же зовут Чарльз? — удивился Роумэн, плавающе поглядев на карлика. — Никогда и никому не говори, что ты Чарльз. Называй себя Ричардом, это твое настоящее имя, Ричард Бычье Сердце...
Карлик посмотрел на женщину вопрошающе, продолжая хранить на лице улыбку, спросил с вызовом:
— Это он оскорбляет меня, малыш?
— Тебя оскорбила природа, — вздохнула Мэри Флэр. — Больше оскорбить нельзя, такой крохотуля...
— Пойдем, я докажу тебе, какой я крохотуля! — ответил карлик. — Нет, ты ответь мне, Роумэн! Ты мне ответь: что это за Ричард Бычье Сердце?
— Я не оскорбляю тебя, — сказал Роумэн, налив себе шампанское в бокал Мэри Флэр. — Был такой английский король, его звали Ричард Львиное Сердце... Я переиначил твое имя, у тебя ж коровы, а не львы... Заведи себе табун львов, тогда можешь называться, как тот английский парень в золотой шапчонке... — Он потянулся к женщине выпяченными, потрескавшимися губами. — Поцелуй меня...

— Эй! — Карлик поднялся. — Это моя женщина!
— Вали отсюда, — сказала Мэри Флэр. — Вали, малыш. Моя рука толще твоей талии, мне за тебя страшно.
— Не гони его, — попросил Роумэн. — Лучше едем ко мне, я сделаю яичницу, у меня есть джип, виски, гульнем как следует. Едем, Ричард?
Скотовод снова обернулся к женщине:
— Малыш, я все же не пойму — он нарывается, что ль? Или это он так шутит?
— Он шутит. Ты должен быть добрым, крохотуля. Ты обязан льнуть к людям... Ты же такой маленький, глядишь, что не так скажешь — тобой зеркало разобьют... Возьмут за ноженьки, покрутят над головой и побьют зеркала... Едем к Полу...

В четыре часа, когда веселье в квартире Роумэна шло вовсю, и карлик отплясывал с Мэри Флэр, откидывая головку, как заправский танцор, Пол вдруг сполз с дивана и начал рвать на себе воротник куртки, повторяя:
— Болит, душно, болит, душно, душно, болит...
Мэри Флэр смеялась, продолжая танцевать:
— Ну, хорош, ну назюзюкался! Пойди понюхай нашатыря, сценарист, все вы, ученые, только на словах мужики, а как до дела, так сразу начинаете выпендриваться!
Карлик, однако, подошел к Роумэну, подложил ему под потную, взлохмаченную голову детскую ладошку и тихо спросил:
— Что у тебя болит, седой? Живот?
Роумэн, продолжая стонать, достал из кармана куртки визитную карточку доктора Рабиновича, которую ему дал в баре Спарк, ткнул пальцем в телефон прохрипел:
— Пусть он приедет! Сердце... Больно, очень больно, малыш... Прости меня... Пусть они приедут... я... я... скорей...

В восемь утра Рабинович позвонил Спаркам, долго кашлял в трубку, словно съел в жару мороженое, потом наконец сказал:
— Слушайте, у вашего друга обширный инфаркт, если

он сегодня не умрет — будет чудо... Словом, можете приезжать, я не знаю, когда я смогу вас пустить к нему, но пущу обязательно, потому что мы привязали ему руки к поручням, он буйный, он все время норовит подняться, надо как-то повлиять на него... Я сделал все, что мог... Но это ненадолго... У него нет сердца, ошметки, я давно не видал таких страшных кардиограмм...

ГЕНЕРАЛ ХОЙЗИНГЕР, ГЕЛЕН, ШТИРЛИЦ, 1947

Последние недели были крайне напряженными: с разрешения оккупационных властей США генерал проводил постоянные конспиративные контакты с бывшим начальником оперативного управления генерального штаба фюрера Хойзингером; его привозили из лагеря для пленных в маленький коттедж — «на медицинское обследование»; там ждал Гелен. Беседы были непростыми; Хойзингер открыто бранил американцев за их отношение к вермахту: «Нельзя жонглировать понятиями о «демократии», когда на пороге новая русская угроза; то, что они по-прежнему держат в лагерях Манштейна, Гудериана и Гальдера, по меньшей мере недальновидно, пусть мы живем в коттеджах, но ведь они обнесены проволокой...»

— Вы готовы? — спросил Гелен своего помощника, вернувшись со встречи. — Надо срочно подготовить запись беседы...

— Да, господин генерал.

Гелен поднялся и, расхаживая по кабинету, начал негромко, но очень четко, по-военному диктовать:

— Очередная встреча генерала «Вагнера», представлявшего «Организацию», с генералом Адольфом Эрнстом Хойзингером на этот раз состоялась в военном лазарете США; первые двадцать минут беседа проходила в помещении, а затем по предложению Хойзингера была продолжена во время прогулки по парку.

Во время этого полуторачасового обмена мнениями в первую очередь рассматривался «вопрос о той клеветнической кампании, которая ведется большевистской пропагандой и определенными кругами Запада», направленной против самого духа германской армии, дабы придать ей видимость «инструмента в руках Гитлера», хотя каждому непредубежденному исследователю ясно, что вермахт

всегда был в оппозиции и к фюреру и к доктрине национал-социализма.

Яснее всего это подтверждается тем фактом, что именно офицер вермахта, герой германской нации Штауффенберг привез двадцатого июля в ставку Гитлера бомбу, которая должна была уничтожить диктатора, и лишь случай помешал этому.

Генерал «Вагнер» и генерал-лейтенант Хойзингер изучили данные прессы, находящейся в руках Кремля и определенных еврейских кругов, о том, что якобы генерал Хойзингер был награжден фюрером серебряной медалью «За верность», — после трагических событий двадцатого июля, — как один из его самых доверенных сотрудников, и подтвердили, что эти публикации носят спекулятивный характер и сфабрикованы Москвой.

Было принято решение подготовить, используя возможности наших друзей, объективную информацию, которая покажет всю сложность ситуации, сложившейся в ставке фюрера накануне покушения.

Было принято решение заново изучить материалы по подготовке операции «Морской лев» и мнимом участии в ней Хойзингера, чтобы нейтрализовать возможные акции У. Черчилля, чья ненависть к Германии сравнима лишь с его ненавистью против большевистской России. Учитывая неожиданный характер бывшего английского лидера, следует опубликовать в Британии документы, носящие сенсационный характер, о том, что генерал-лейтенант Хойзингер на самом деле был одной из потаенных пружин антигитлеровского заговора и только чудо спасло его от казни.

При этом было отмечено, что публикации должны носить атакующий, а не оправдательный характер, время «сдержанной пропаганды» кончилось, пришла пора наступать, разбивая мифы о «жестокости» германской армии во время ее противостояния большевикам.

Хойзингер, заручившись обещанием генерала «Вагнера» о том, что с него будут сняты все обвинения, состряпанные русскими, дал согласие работать в качестве консультанта «Организации».

Поскольку архивы Шелленберга и Канариса в массе своей попали в руки британцев, признано целесообразным просить генерал-лейтенанта Хойзингера сосредоточиться не на русском вопросе (это следующий, основной этап работы), а на связях ОКВ с режимами стран Латинской

Америки накануне второй мировой войны, а также и во время битвы (Аргентина, Эквадор, Бразилия, Чили).

В свою очередь, генерал-лейтенант Хойзингер поставил перед генералом «Вагнером» вопрос о трагической судьбе выдающихся германских военачальников, находящихся в тюрьме Ландсберга в ожидании смертной казни. Речь идет о тех, кто стоял в первых рядах борьбы против большевистских орд; историческая справедливость должна быть восстановлена в самом ближайшем будущем, ибо в противном случае ни один из молодых немцев, живущих на западе Германии, ни при каких условиях не возьмет в руки оружия для защиты цивилизованного мира от красного владычества...

На вопрос генерала «Вагнера», следует ли добиваться отмены смертной казни для опергруппенфюрера СС Поля, бывшего начальника хозяйственного управления СС, и генерала СС Олендорфа, руководившего акциями по уничтожению славян и евреев на Востоке, генерал-лейтенант Хойзингер ответил в том смысле, что факт уничтожения славян и евреев еще надо доказать, а компетенция вышеназванных генералов в вопросах антибольшевистской борьбы не подлежит сомнению».

Привлечение Хойзингера к работе в «Организации» было огромной победой Гелена, поэтому фразы его отчета были такими литыми, четкими, рублеными.

Действительно, этот «консультант» был воистину неоценим для возрождавшейся германской разведки.

Именно поэтому «Вагнер» так торопился составить отчет для Даллеса, не отдав должного информации, пришедшей от Баума из Барилоче; оценил ее утром, прогуливаясь по дубовому парку, наполненному пением птиц и запахом прелых листьев, непередаваемым, единственным, успокаивающим хмелем земли; ах, бог ты мой, скорее бы несчастный Хойзингер оказался здесь, рядом со мною, а не в лагере; как все же несправедлива жизнь к лучшим ее защитникам, солдатам.

...После работы с такой глыбой, каким Гелен по праву считал Хойзингера, после того, как вопрос о его освобождении был, с помощью Аллена Даллеса, решен, лишь после этого он с новым вдохновением вернулся к текучке.

И первым документом, который он проработал, было сообщение из резидентуры в Барилоче; план, разработанный в Мюнхене для Рихарда Баума и Ганса Крочке, обретал форму реальной комбинации; офицеры разведки подставились под Штирлица и «сдались, припертые им к стенке»; Штирлиц, в свою очередь, не мог не заинтересоваться данными о материалах, спрятанных Оссорио, — секретные папки комиссии сената по антинацистской деятельности; разведка Перона летом сорок третьего года — во время военного переворота — не успела захватить их, а ведь это связи военных с организованным, широко разветвленным немецким подпольем времен войны, дорогого стоят.

Получив эти данные — а, видимо, он их получит, агент высочайшего класса, жаль, что не с нами, — Штирлиц, уже повязанный с Оссорио, одним из лидеров демохристианской оппозиции, при этом еще «ставленник Роумэна, человека московских посланников Брехта и Эйслера», ждет решения своей судьбы; без Даллеса в данном случае нет смысла предпринимать какие-либо шаги, хотя, видимо, если со Штирлицем не удастся договориться добром о чистосердечном признании на открытом процессе о шпионаже в пользу Москвы — сценарий вчерне готов, — он будет нейтрализован там же, в Аргентине; жаль, Гелен уважал профессионалов.

ШТИРЛИЦ, КЛАУДИА, БАРИЛОЧЕ, 1947

Первая группа туристов принесла Штирлицу семьсот долларов чистого дохода.

Вторая группа дала еще больше денег: тысячу пятьсот баков; Отто Вальтер, вернувшийся из госпиталя, принял Штирлица в дело, потребовав себе двадцать процентов доходов, хотя по всем законам не мог претендовать более чем на десять; Штирлиц не спорил, он жил, как спортсмен перед решающим сражением, понимая, что ему отпущены часы, не то, что дни; он теперь знал, что надо сделать, однако откладывал коронное дело, пока не получил то, без чего не мог его начать.

Третья партия горнолыжников — кто не хочет за прежнюю цену посетить вместо одной страны две — должна дать самую большую прибыль: Краймер прислал телеграмму, что прибывает специализированная группа; не

только американцы, но и канадцы, два сумасшедших француза и испанцы, все очень состоятельны, не страшатся расходов «экстра», предложите им супер, оплатят все до единого цента.

...Через час после того, как прибыла третья группа, из отеля «Анды» позвонили Штирлицу: «Тот, кого вы ждете, на месте»; портье был свояком Эронимо с подъемника, просьба «дона Максимо» стала для их семьи законом, за добро платят добром.

...Штирлиц почувствовал, как сердце сжало мягкой болью. «Я не имел права звать ее сюда, — в который уже раз сказал он себе. — Я не имею права рисковать ею; я — это я, расходы на собственную жизнь плачу сам, это в порядке вещей, вправе ли я рисковать чужой жизнью?»

«Без тебя я обречена на медленное старение, Эстилиц, — он часто вспоминал слова Клаудии, когда они прощались в Бургосе. — Ты не знаешь женщин, хотя очень добр, а ведь только добрые мужчины смогут понять нас. Даже малое время, которые ты позволишь мне быть подле, станет для меня счастьем; оно, это счастье, продлит мне самое меня: женщина не существует вне любви, которую она может отдать мужчине. Сейчас в мире очень мало мужчин: что-то случилось с «сильным полом»; жеребцов много, но разве о них можно говорить как о мыслящих, чувствующих, добрых, так быстро стареющих мужчинах?! За любовь надо уметь платить; жизнь — самая дешевая плата; одиночество — страшней и дороже».

Штирлиц дождался, пока городок уснул; в Барилоче засыпают рано; только тогда отправился в «Анды»; около двери Клаудии остановился, стоял долго, словно бы борясь с собою; потом положил ладонь на дверь и тихонько постучал.

Продолжение на стр. 161

«ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»

ПОСЛЕ разгрома корниловского мятежа политическая обстановка в России резко изменилась. Трудящиеся массы воочию убедились, к чему привело «бракосочетание» (по выражению Ленина) блока эсеров и меньшевиков с буржуазией. Обнажилась истина, прикрывавшаяся пустыми, якобы революционными фразами соглашателей,— истина, суть которой была проста: генералы в армии, помещики в деревне, капиталисты в городе готовы предать родину, пойти на любые преступления, чтобы отстоять свою власть над народом.

Это все отчетливей сознавали рабочие и крестьяне. Солдаты ненавидели ставку, ибо Временное правительство оставило в руководстве армией корниловских генералов, не сделав ровным счетом ничего для демократизации армейских порядков и удаления контрреволюционного командного состава.

Подавляющая масса народа убедилась в правоте большевистских идей и своего истинного защитника, выразителя надежд и чаяний видела в лице большевистской партии. Огромная Россия левела с фантастической быстротой. Рабочие и крестьяне решительно обновляли Советы, отзывая из них депутатов от соглашательских партий и заменяя их депутатами-большевиками. Эсеровские газетчики кинулись подсчитывать голоса, отданные за большевиков, проверяя, нет ли ошибок. Ошибок не было! «Факт усиления «большевизма» несомненен»,— отмечала газета «Дело народа». Что касается кадетов, то они били тревогу во все колокола, крича о «торжестве ленинизма»...

С нарастающим ускорением, захватывая все более широкие регионы страны, шла большевизация Советов! В связи с этим Владимир Ильич отмечал, что меньшевики и эсеры сделали все возможное и невозможное, чтобы «превратить Советы (особенно Питерский и общерусский, то есть ЦИК) в пустые говорильни, под видом «контроля» занимавшиеся вынесением бессильных резолюций и пожеланий, которые правительство с самой вежливой и любезной улыбкой клало под сукно. Но достаточно было «свежего ветер-

ка» корниловщины, обещавшего хорошую бурю, чтобы все затхлое в Совете отлетело на время прочь и инициатива революционных масс начала проявлять себя как нечто величественное, могучее, непреоборимое».

ЛЕНИН в эти дни жил в Гельсингфорсе. Получая почти все питерские газеты, он был хорошо осведомлен о политических изменениях после корниловского мятежа и отзывался на каждый сдвиг в настроениях масс, на каждое колебание в соотношении классовых сил. В период 110-дневного (последнего!) подполья Ленин написал более 60 статей и писем — в них были даны важнейшие указания партии.

В статьях «Один из коренных вопросов революции», «Задачи революции» и других, написанных в первой половине сентября 1917 года, Ленин вновь ставит вопрос о возможности в России мирного развития революции — в случае передачи всей власти в центре и на местах представителям Советов на основании революционной программы. Он подчеркивал, что лишь переход власти к Советам — единственное средство, которое могло бы сделать дальнейшее развитие революции постепенным, мирным, спокойным. В статье «Задачи революции» вождь партии сформулировал эту революционную программу правительства, ответственного перед Советами: немедленно предложить всем воюющим народам заключить мир на демократических условиях; провести конфискацию и национализацию помещичьих земель; национализировать банки и важнейшие средства производства; ввести в общегосударственном масштабе рабочий контроль над производством и потреблением; обезопасить Россию от повторения контрреволюционных «корниловских» попыток. Ленин подчеркивал, что перед демократической Россией открывается чрезвычайно редкая в истории революций возможность обезопасить страну от военной и хозяйственной катастрофы, обеспечить *мирное* развитие революции. Если Советы возьмут государственную власть для проведения этой программы, отмечал Ленин, то им будет обеспечена не только поддержка девяти десятых населения, рабочего класса и громадного большинства крестьянства, но и величайший революционный энтузиазм армии и большинства народа, без которого победа над голодом и войной невозможна. «Пролетариат не остановится ни перед какими жертвами для спасения революции, невозможного вне изложенной программы,— писал Владимир Ильич.— Но пролетариат всемерно поддерживал бы Советы, если бы они осуществили последний их шанс на мирное развитие революции». Если эта возможность будет упущена, подчеркивал Ленин, то гражданская война между пролетариатом и буржуазией станет неизбежной.

Ленин обратился к партиям меньшевиков и эсеров с предложением создать Советское правительство с программой, сформулированной в статье «Задачи революции». При этом Ленин учитывал не только изменения, происходившие в Советах, их очевидную большевизацию, но и тот факт, что в начале сентября, после корниловщины, вожди эсеров и меньшевиков разошлись со своими партийными массами, ставшими «левыми». Ленин обращался не только к вождям эсеров и меньшевиков, но главным образом к массам, к «низам», «не только к своим, но и особенно к эсеровским, к беспартийным, к темным».

Эсеровские лидеры ответили отказом! Они отвергли возможность передачи всей власти Советам. В передовой статье от 9 сентября газеты «Дело народа» выражалась уверенность в том, что против лозунга «Вся власть Советам!» будут бороться... сами Советы. Надо отметить при этом, что эсеры не без основания использовали заявление Зиновьева, который не учитывал изменения политической обстановки начала сентября. Ставя вопрос, способны ли Советы повести борьбу за власть, Зиновьев отвечал: «Все, что мы знаем о прошлой деятельности Советов, говорит нам: нет, не способны...»

Что касается меньшевиков, то они попросту игнорировали заявление большевиков о возможности возвращения к лозунгу «Вся власть Советам!». Путаясь с кадетами, они продолжали политику соглашения с контрреволюционерами и расчищали почву для развертывания буржуазией гражданской войны против революционного пролетариата. Восстание рабочих, солдатских и крестьянских масс становилось неизбежным!

В новых условиях, считал Ленин, лозунг «Вся власть Советам!» обрел новое содержание: отныне он означал призыв к восстанию, прямой подход к установлению диктатуры пролетариата.

Вывод о вооруженном восстании как единственном в новых условиях пути завоевания власти пролетариатом и беднейшим крестьянством основывался на строгом учете сложившихся в России экономических и политических условий. Свои мысли Ленин изложил в двух письмах — Центральному Комитету, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРП(б) — «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». В этих письмах вождь партии подытожил свой анализ обстановки и с предельной четкостью ответил на вопрос, почему большевики могут и должны взять власть именно теперь. Сравнивая положения в июльские дни и в первой половине сентября, Ленин указывал, что если тогда, в июле, большевики имели фактическую возможность взять власть, но не удержали бы ее, то теперь, после корниловщины, картина стала иной.

«Большинство народа *за* нас,— отмечал Владимир Ильич.— Это доказал длинный и трудный путь от 6 мая до 31 августа и до 12 сентября: большинство в столичных Советах есть *плод* развития народа *в нашу сторону*». И далее: «За нами выгода положения партии, твердо знающей свой путь, при неслыханных колебаниях и *всего империализма* и всего блока меньшевиков с эсерами». Отвечая на возражения о том, что у большевиков нет аппарата для взятия власти, Ленин писал: «Аппарат есть: Советы и демократические организации». Он считал Советы органами, к которым должна перейти власть после восстания.

В статье «Марксизм и восстание» Ленин разработал и план вооруженного восстания.

Он указывал, что Маркс называл восстание искусством. Это не имеет ничего общего с бланкизмом. Это не расчет на узкую группу заговорщиков, а опора на передовой класс, на революционный подъем народа. Вождь партии ставил конкретные задачи: чтобы «отнестись к восстанию по-марксистски, то есть как к искусству», надо организовать (и немедленно!) штаб повстанческих отрядов, распределить силы и сосредоточить наиболее верные части в наиболее важных пунктах, подготовить окружение правительственных зданий, занять Петропавловку, телефонную станцию и телеграф. Надо «арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города»; надо «мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою...».

Ленин называл свой план примерным. Но Октябрьская революция показала, насколько глубоко и всесторонне был продуман этот примерный план восстания!

Следует отметить, что при обсуждении ленинских писем на заседании ЦК партии 15 сентября Каменев внес проект резолюции, направленной против предложений Ленина об организации вооруженного восстания и даже настаивал на уничтожении ленинских писем. Центральный Комитет отверг капитулянтскую резолюцию и разослал письма во все наиболее крупные партийные организации страны.

Вопрос о восстании из перспективы переводился в область конкретных, практических действий.

В ФИНЛЯНДИИ Ленин много внимания уделял разработке вопросов теории марксизма. Здесь из-под его пера вышли такие выдающиеся произведения, как «Государство и революция», «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», «Удержат ли большевики государственную власть?», в которых Владимир Ильич развил марксистское учение о социалистической революции и диктатуре пролетариата, сформулировал основы внутренней и внешней политики пролетарской власти, наметил ее неотложные практические задачи.

В книге «Государство и революция», написанной в Разливе и Гельсингфорсе в августе — сентябре 1917 года, впервые и наиболее полно изложено марксистское учение о государстве. Этот труд — непревзойденное по глубине и многогранности научное освещение теории государства, яркий пример партийности в борьбе с врагами марксизма. Выступив против оппортунистических искажений марксизма, а также против анархизма, основываясь на новом революционном опыте, особенно деятельности Советов, Ленин развил учение марксизма о государстве. Книга пронизана идеей решительной, непримиримой борьбы против оппортунистических изменников, против анархистов. Тех и других, показал Ленин, роднит отрицание диктатуры пролетариата: оппортунисты, не признавая необходимости слома буржуазного строя победившим рабочим классом, тем самым защищают буржуазное государство; анархисты, выступая против использования государственной власти революционным пролетариатом для построения социализма, отрицают диктатуру пролетариата.

Ленин показал, что партия пролетариата — организующая и руководящая сила в системе диктатуры пролетариата. «Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и *вести весь народ* к социализму, направлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и против буржуазии».

Эта ленинская формула — гениальное определение роли и задачи Коммунистической партии, ее цель и программа на целый исторический период.

Книга «Государство и революция» — выдающийся вклад в идейно-теоретическое вооружение большевистской партии. Идеями, развитыми в этом труде, партия и народ руководствовались в борьбе за победу Октябрьской революции, за построение социализма.

С КАЖДЫМ днем убыстрялся ход событий. Революция назревала — это ощущалось прежде всего в Петрограде и Москве. Но и провинция не пребывала в «мирной тиши», и там, особенно в крупных промышленных центрах, шла подготовка к решающей схватке с буржуазией. «История сделала коренным *политическим* вопросом сейчас вопрос *военный*,— писал Ленин в самом конце сентября.— Я боюсь, что большевики забывают это, увлеченные «злобой дня», мелкими текущими вопросами и «*надеясь*», что «волна сметет Керенского». Такая надежда наивна... Со стороны партии революционного пролетариата это может оказаться преступлением». И продолжал: «По-моему, для правильной подготовки умов, надо сейчас же пустить в обращение такой лозунг: власть должна немедленно перейти в руки Петроградского Совета, *который передаст ее* съезду Советов».

Ленин считал невозможным оставаться и дальше вдали от бурлящего Питера — издалека трудно было руководить партией, заниматься практической подготовкой вооруженного восстания. С помощью финских социал-демократов он перебрался из Гельсингфорса в Выборг и поселился в доме

Окончание на стр. 148.

К 175-ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

В ИСТОРИИ стран и народов есть события, которые навсегда остаются в памяти, и не властно над ними время. Великий русский критик В. Г. Белинский писал: «У всякого народа своя история, а в истории свои критические моменты, по которым можно судить о силе и величии его духа, и, разумеется, чем выше народ, тем грандиознее царственное достоинство его истории, тем поразительней трагическое величие его критических моментов и выхода из них с честью и славою победы». К таким событиям в полной мере относится Отечественная война многонационального народа России, которую он вынужден был вести против иноземных завоевателей в грозном 1812 году.

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ НАРОДНЫЙ

И чем дальше время отдаляет нас от этой всемирно-исторической даты, тем воспоминания и размышления над ней заставляют сильнее биться наши сердца, тем ближе и дороже она нынешнему поколению советских людей. Потомки не могут не гордиться героическим подвигом наших славных предков, великой исторической миссией, выполненной во имя спасения Отечества, национального достоинства, во имя жизни и будущего России. В неравной схватке с превосходящими силами «великой армии» Наполеона I русские воины отстояли не только собственную честь и национальное достоинство, территориальную целостность и свободу России, но и суверенитет и национальную независимость европейских и других народов мира. В этом состоит важное международное значение Двенадцатого года. Франко-русская кампания 1812 года подтвердила справедливость и бесспорность вывода о том, что уроками истории пренебрегать нельзя: кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Отечественная война привела к крушению стратегических замыслов «гения войны» — амбициозного и надменного императора Франции Наполеона I, показала обреченность его планов поработить народы России.

Результатом всей русской кампании 1812 года был закат славы армии Наполеона, более 10 лет считавшейся непобедимой, полная катастрофа и развенчание «гения» и «выдающихся» полководческих талантов императора Франции, империя которого, не знавшая аналогов в истории, простиралась к тому времени от Варшавы до Лиссабона и от границ Курляндии до берегов современной Югославии. Присвоив себе все мыслимые и немыслимые титулы, Наполеон требовал от своих подданных величать его не иначе, как императором Запада, а Францию именовать «старыми департаментами». О подобных владениях не мечтали даже Карл Великий и Пипин Короткий. Как писал современник, Наполеон перечеркнул Европу как луч молнии и вдруг оказался у ворот России «подобно тем бичам, которые насылаются на людей гневом небесным». Он промчался среди ошеломленных народов, сокрушая троны, уничтожая города, одинаково свирепствуя во дворцах и хижинах, против сильных и против слабых. Наполеон утверждал, что Россия не союзник, а его главный соперник, и, пока она не покорится его замыслам, он не может «двигаться дальше...». Сверхсекретный план коварного нападения на Россию без объявления войны созрел в марте 1810 года.

Гроза Двенадцатого года еще спала.
Еще Наполеон не испытал великого народа,
Еще грозил и колебался он...

Но вот роковой шаг был сделан: на рассвете 12 (24) июня 1812 года под покровом утреннего тумана «великая армия», состоявшая из «галлов и с ними двунадесяти языков», перешла Неман. Мир содрогнулся от ужаса и бедствий, которые обрушила наступавшая «европейская цивилизация» на мирные русские города и села в поиске очередных жертв и наживы. Нет, не щадил не знавший сострадания зарвавшийся император ни мирного населения, ни женщин, ни детей. Даже первопрестольный белокаменный град Москва, один из прекраснейших городов Европы первой четверти XIX века, был отдан Наполеоном на поругание французской солдатне: город был осквернен и разграблен.

Оставление и пожар Москвы — одна из наиболее драматических страниц Отечественной войны 1812 года, но не она определяла исход всей русской кампании. Кульминационным событием Двенадцатого года было генеральное сражение, состоявшееся 26 августа (7 сентября) 1812 года в 124 километрах от Москвы под Бородином и известное во всем мире как Бородинская битва, которая во многом определила последующий ход войны. Спустя шесть дней после битвы состоялось заседание военного совета в Филях под председательством главнокомандующего русскими армиями М. И. Кутузова, на котором была решена судьба Москвы и в определенной степени всей России. «Битва гигантов», как назвал Наполеон Бородинскую битву, была одним из самых грандиозных сражений со времени изобретения огнестрельного оружия — в нем участвовало с обеих сторон более четверти миллиона солдат и офицеров и одновременно гремели залпы более 1200 орудий. Наполеон привел на Бородинское поле 135 тысяч человек, имел 587 орудий, русская армия насчитывала 120 тысяч человек при 640 орудиях. Очевидец и участник генерального сражения русский офицер Ф. М. Глинка так описывает его в своих воспоминаниях: «Ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии и пределы Германии давно, а может быть, и никогда еще не видали столь жаркого, столь кровопролитного и столь ужасным громом пушек сопровождаемого сражения!.. И само светило... мало видало таких браней на земле с тех пор, как освещает ее». Уже находясь на острове Святой Елены, Наполеон признавал, что «из 50 сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех... Русские в этот день снискали право называться непобедимыми».

В своем донесении 29 августа (10 сентября) 1812 года М. И. Кутузов сообщил правительству: «Баталия, 26 бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которую пришел нас атаковать». Таким образом, в результате этой битвы «великой армии» Наполеона был нанесен такой моральный и физический урон, от которого она уже не могла оправиться. Это сражение предопределило последующий разгром наполеоновской армии — несмотря на оставление Москвы. Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» писал: «Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из

Москвы, возвращение по Старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника». Бородино навечно вошло в анналы отечественной и мировой истории. Оно олицетворяет величие духа, славу и мужество русских воинов, вставших на защиту своей священной Родины-матери. С Бородином связана гордость каждого истинного патриота России за ее прошлое и настоящее, за героическую историю, ибо «незваные гости» дважды в истории нашей Родины (в 1812 и в 1941 годах) в полной мере испытали на себе мужество и преданность народов России идеалам свободы и независимости. Так образовалась неразрывная патриотическая связь времен и поколений. Бородино — это важная морально-психологическая и военно-стратегическая победа. Она убедила войска в возможности разгрома иноземных завоевателей, вселила в народ уверенность в окончательную победу. Бородино стало символом русской воинской славы. О Бородине писали известные поэты и писатели, военные историки, стратеги и тактики. В истории России нет, пожалуй, другой подобной битвы или сражения, которое привлекало и продолжает привлекать к себе столь пристальное внимание специалистов многих поколений. Дело в том, что здесь, на Бородинском поле, столкнулись не только две самые сильные в то время армии, но и два стратегических замысла.

Известна приверженность Наполеона к разгрому противника в одном генеральном сражении, которая на протяжении ряда лет приносила ему успех на европейских театрах военных действий. В Бородинской же битве ему не удалось добиться этой главной стратегической цели — разгромить русскую армию, которая, как известно, не покинула поле битвы. Не смог Наполеон и заставить Россию капитулировать, продиктовав ей условия мирного договора, которого он ждал. Бородинская битва показала несостоятельность стратегической идеи Наполеона одержать верх над русской армией в одном генеральном сражении, несмотря на численное превосходство, знаменовала собой кризис своего рода наполеоновского «рецепта победы», который он канонизировал, стремясь в любой обстановке одним мощным и массированным ударом разбить армию противника. Этому замыслу Наполеона русский полководец М. И. Кутузов противопоставил свою концепцию ведения войны — одержать победу над великой армией в серии сражений, так как главнокомандующий ставил перед русскими войсками стратегическую задачу уничтожения армии оккупантов.

Панорама «Бородинская битва». Фрагменты

Итак, Отечественная война 1812 года, центральным событием которой явилась Бородинская битва, имеет всемирно-историческое значение, так как она предопределила дальнейший ход мировой истории. Последовавшее вскоре после Бородинской битвы контрнаступление русских войск — Тарутинский марш-маневр, сражения за Малоярославец, под Красным и на Березине привели к разгрому и гибели «великой армии». В конце декабря русские войска вышли на государственную границу, полностью освободив территорию России от французских захватчиков. В своем приказе по армии главнокомандующий отмечал: «Война окончилась за полным истреблением неприятеля». Из 640 тысяч солдат, которых Наполеон привел в Россию, он недосчитался более 580 тысяч убитыми, плененными и ранеными. Разгром французской армии в России и последовавшие затем заграничные походы русской армии сыграли решающую роль в крушении гигантской империи Наполеона, положили начало освобождению Европы от наполеоновской тирании.

В ожесточенных боях и кровопролитных сражениях народные массы России осознали свою силу, в них окрепли чувства патриотизма и национального самосознания. Многонациональная Русь стала более сплоченной.

Панорама «Бородинская битва». Фрагмент

Бурные события Двенадцатого года вызвали в народе небывалый подъем. За 1812 годом последовал 1825 год. «Мы были дети двенадцатого года»,— с гордостью говорили о себе декабристы. 65 участников восстания 14 декабря, названные «государственными преступниками», насмерть стояли на Бородинском поле и ни пяди русской земли не уступили врагу. «Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то... пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России»,— писал декабрист А. Бестужев.

В наше время, когда в мире сохраняется напряженная международная обстановка, чреватая серьезными и непредсказуемыми последствиями в связи с появлением все новых и более совершенных средств массового уничтожения людей, резкого обострения идеологического противоборства двух противоположных политических систем, человечество все чаще обращается к мировому историческому опыту, к урокам истории в поисках ответа на злободневные проблемы современности, и прежде всего на проблемы войны и мира. Вот почему исторический опыт Европы и уроки Отечественной войны 1812 года приобретают в наши дни особое политическое звучание. Это одна из поразительнейших страниц истории народов России, когда, по словам воина, поэта и партизана Д. В. Давыдова, «нравственная сила рабов возвысилась до героизма свободного народа».

Со стороны России война 1812 года носила отечественный, освободительный, справедливый характер. Разгром и уничтожение «великой наполеоновской армии» в русской кампании 1812 года послужили сигналом ко всеобщему восстанию против французского владычества на Западе. По этому поводу В. И. Ленин писал: «...когда Наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистические, породившие, в свою очередь, национально-освободительные войны против империализма Наполеона». Следует вместе с тем отметить, что созданная Наполеоном «великая армия», которую он специально подготовил для русской кампании, хотя и не была однородна, ибо состояла из французов, итальянцев, поляков, австрийцев, португальцев и представителей других порабощенных им европейских народов, тем не менее представляла собой грозную силу: она насчитывала 1372 орудия, ее командиры и военачальники обладали большим боевым опытом, были хорошо налажены организация и управление войсками, а ее маршалов и генералов привела в Россию уверенность в том, что они одержат над русскими воинами такую победу, которая превзойдет успех Аустерлица. Но «солнце Аустерлица» не взошло над наполеоновскими войсками в России!..

Наша память возвращает нас к событиям 175-летней давности еще и потому, что они касались широчайших народных масс. От их исхода в конечном итоге зависели судьбы практически всех европейских стран, народов всего мира. Иногда можно услышать мнение, что история — это нечто давно минувшее и далеко от нас, ничего общего с сегодняшним днем не имеющее. В этой связи уместно напомнить замечание Ленина о необходимости постоянно изучать и знать уроки истории. Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) и победа советского народа над гитлеровской Германией и фашизмом вызвали интерес к Двенадцатому году, к боевым и патриотическим традициям русского народа. Время не смогло ослабить интереса к 1812 году, заслонить его другими событиями. Нынешнее поколение советских людей гордится великим подвигом своих мужественных предков, совершенным во имя будущего нашей Родины. Образы славных предков из далекого 1812 года вдохновляли красноармейцев на ратный подвиг в годы Великой Отечественной войны. В смертельной схватке с гитлеровскими ок-

19 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МОСКВЫ

М. КОРНЯКОВ

СЕРДЦЕ РОДИНЫ

В УБЫСТРЯЮЩЕМСЯ ритме и круговороте жизни мы не всегда задумываемся о прошедшем времени. А жаль! Сверкают, как падающие звезды, блики секунд, часов, дней, недель, месяцев, годов.

Темп жизни растет с космической скоростью. Но всех нас, ныне живущих и тех, кто будет жить после нас, должно объединять и еще одно, кроме принадлежности к нашей великой Родине,— любовь и уважение к нашей Истории, к нашему великому Прошлому.

«Нельзя быть Иванами, не помнящими своего родства!»

Мы обязаны изучать, знать, обеспечить сохранность для будущих поколений памятников истории и культуры, ибо прошлое и настоящее неотделимы, связаны неразрывной нитью событий, эпизодов, судеб и поступков людей, их подвигов и мужества во имя существования нашего Отечества.

Во главе борьбы со своими врагами-поработителями с давних пор стоит Москва. Москва становилась и стала средоточием, сердцем всей земли Русской, земли нашей многонациональной. И пусть в душе каждого вновь зазвучат величественные слова:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый могучий Советский Союз!

Именно Русь, пройдя через величайшие испытания, стала тем естественным стержнем, вокруг которого выковалась, спрессовалась невиданная еще в истории общность миллионов людей — Советский Народ.

Историк В. О. Ключевский справедливо отметил, что «одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падений».

В дни суровых испытаний, когда Наполеон со своей разноплеменной армией пытался покорить Россию, М. И. Кутузов писал об одном из тяжелых сражений 1812 года: «Отныне имя его (Тарутина) должно сиять в наших летописях, наряду с Полтавою, и река Нара будет для нас так же знаменита, как и Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные полчища Мамая».

В решающие дни Великой Отечественной войны рядом с героями смертельной схватки с фашизмом незримо присутствовали: Александр Невский, Кутузов, Ушаков, Нахимов и другие герои.

...Есть мудрые, вечные слова М. Салтыкова-Щедрина: «...Люби, люби и люби свое Отечество! Ибо любовь эта даст тебе силу...»

Начиная с 19 сентября этого года мы начинаем ежегодное празднование Дня Города — Дня Москвы.

Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. В Ипатьевской летописи (названной так потому, что хранилась она в костромском Ипатьевском монастыре) говорится — в записи за 1147 год — о том, что в поселении Москва встретились союзники: новгород-северский князь Святослав Ольгович и суздальский князь Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха. Через несколько лет Юрий Долгорукий огородил Москву деревянными стенами, она стала крепостью, городом, к тому же в силу удобного расположения — важным стратегическим пунктом на юго-западном рубеже Владимиро-Суздальской земли.

Москва не раз подвергалась набегам диких кочевников, отражала их орды, но и страдала не раз... Так, в 1237—1238 годах была захвачена и сожжена, но отстроилась заново и с 1328 года стала центром самостоятельного Московского княжества. А через десять лет был «заложен град Москов дубов». Иван Калита построил кремль из громадных дубовых бревен — взамен сгоревшего. Появились в Москве и первые каменные строения.

Росло политическое могущество Москвы. Особенно заметным оно стало в годы правления внука Ивана Калиты Дмитрия Ивановича, названного за победу на поле Куликовом Дмитрием Донским...

Вокруг Москвы продолжалось объединение русских земель. В XIV—XV веках Москва стала уже крупным торгово-ремесленным городом. Ее границы укрепляли монастыри-крепости: Симонов, Андроников, Вы-

---

купантами были приумножены подвиги «чудо-богатырей» 1812 года. Исторические события Отечественной играют исключительную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи и подрастающего поколения. На примерах ее героев воспитывалось не одно поколение советских людей. Самоотверженность и самопожертвование народных масс в национально-освободительной войне против наполеоновского нашествия не могут не восхищать тех, кто в современных условиях отстаивает с оружием в руках свободу и независимость своих народов.

В народе справедливо говорится, что герои, отдавшие свою жизнь за Отечество, не умирают. Советский народ бережно хранит священную память о мужественных защитниках Смоленска, бесстрашных героях Бородина, тех, кто стоял насмерть под Тарутином и Малоярославцем, добивал французских интервентов под Красным и на Березине. Историзм мысли, действия и поступков выступает сегодня одним из непременных условий развернувшейся в нашей стране и обществе перестройки. Мы и наше поколение ответственны как за прошлое, так и за будущее нашего государства. Мы несем ответственность и перед теми, кто отдал свои жизни за наш сегодняшний мирный день, в том числе и в далеком, но всегда близком и дорогом нам Двенадцатом году. Декабристу Ф. Н. Глинке принадлежат слова, обращенные к историку: «Опиши героев бывших, и тогда история твоя родит героев времен будущих».

...Не могут и не должны быть забыты имена тех, кто ценою собственной жизни защитил Отчизну, как не изгладятся из памяти народной их героические дела. Подвиги героев Отечественной войны 1812 года так же бессмертны, как и народ, их совершивший.

О. ПАПКОВ,
кандидат исторических наук

сокопетровский, Рождественский, Сретенский... В конце XV столетия Москва стала столицей Русского централизованного государства, которое уже тогда становилось многонациональным: в нем мирно жили наряду с русскими народы Севера и Среднего Поволжья. Город расширялся, появлялись кольцевые оборонительные сооружения. Москва превращалась в один из крупнейших городов Европы!.. В городе работали многочисленные казенные предприятия, такие, как Пушечный двор, в слободах изготовляли полотно и холсты, дорогую посуду и предметы культа, зародилось русское книгопечатание.

В начале XVII века столица Русского государства стала главным объектом польско-литовской интервенции. 21 сентября 1610 года город был взят врагом. Началась борьба русского народа за независимость и целостность государства. К. М. Минин и Д. М. Пожарский собрали ополчение, в конце июля — начале августа 1612 года оно подошло к Москве, и после длительных сражений враг капитулировал... Началось восстановление разрушенной, опустошенной Москвы. И вот уже столица государства Российского стала поражать иноземцев своей красотой и величием, множеством башен и церковных куполов, сверкавших позолотой... Укреплялись торговые связи Москвы со всеми частями государства, поднималось ее значение и как крупного международного рынка. При церквах и монастырях появились первые школы, в 1687 году возникло первое высшее общеобразовательное учебное заведение России — Славяно-греко-латинская академия.

При Петре I в 1712 году столица России была перенесена в Санкт-Петербург. Однако и после этого политическое, экономическое и культурное значение Москвы сохранялось. Она продолжала оставаться важнейшим историческим центром страны, игравшим большую роль в жизни России. Особенно ярко это проявилось в Отечественную войну 1812 года, когда Москва стала центром общерусского сопротивления врагу, местом формирования московского ополчения во главе с М. И. Кутузовым.

Важнейшее место занимает Москва в истории революционного движения России. Здесь в 80-е годы возникли первые марксистские кружки, в 1898 году был создан Московский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Москва сыграла важнейшую роль в революции 1905—1907 годов...

11 марта 1918 года Советское правительство во главе с В. И. Лениным переехало из Петрограда в Москву, и она стала главным городом молодой Советской Республики. А с 30 декабря 1922 года, когда I Всесоюзный съезд Советов принял «Договор об образовании СССР», Москва — столица Союза Советских Социалистических Республик.

Современная Москва — это государственный и политический центр страны, в котором работают ЦК КПСС, Верховные Советы СССР и РСФСР, Советское правительство, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, министерства и ведомства, руководящие органы общественных организаций... Здесь проходят съезды партии, сессии Верховных Советов Союза ССР и Российской Федерации, действуют различные творческие организации.

Москва — город революционных и боевых традиций. Навсегда вошел в историю подвиг пресненских рабочих, с оружием в руках выступивших против царизма. В октябре 1917 года московский пролетариат под руководством большевиков выступил на решительный бой за власть Советов и победил. В годы гражданской войны отсюда, из Москвы, партия, Ленин руководили борьбой народа против сил старого мира. В декабре 1941 года под Москвой гитлеровским полчищам был нанесен первый сокрушительный удар, развеявший миф о непобедимости фашистской армии...

Москва — крупнейший индустриальный центр, город трудовой славы. Здесь работают наиболее крупные предприятия машиностроительной, металлообрабатывающей, электротехнической, химической, легкой промышленности... Столица нашей Родины — ведущий научный центр СССР и один из крупнейших в мире. В Москве трудится огромный отряд творческой интеллигенции — писатели, художники, музыканты, работники театра и кино, вносящие огромный вклад в развитие советской культуры.

В 1947 году в связи с 800-летием Москва награждена орденом Ленина. В 1965 году городу-герою Москве вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», в 1967 году — орден Октябрьской Революции.

В наши дни Москва стала символом свободы, равенства, братства и дружбы народов. На ее примере люди всей планеты впервые в истории увидели, какой должна быть столица социалистического государства.

Мы отмечаем День Москвы — столицы нашей Родины. Сегодня, испытывая гордость за наш прекрасный город, мы выражаем и любовь к ней, а значит — и к нашей Родине.

Любить Родину — значит практически делать для нее, для людей что-то полезное. Мы многое стали переосмысливать, повернулись лицом к истории Отечества — так должно было быть всегда, ибо без прочного, качественного знания прошлого невозможно прочное настоящее, прочное будущее. Сейчас мы уничтожаем сообща наносное, налипшее, мешающее нам всем идти вперед. Мы все поняли смертельную опасность спаденьких, сусальных картинок действительности в книгах и на экране, далеких от суровой и подчас беспощадной прозы будней. Этот мир, далекий от реальности, фактического бытия, опасен для воспитания нашего будущего поколения. Мы все четко убедились в который раз, что демагогия — это лед, по которому подчас скользит и не претворяется в жизнь нужная, полезная для нас всех идея, мысль. Мы все убедились в том, что изменить что-то в нашей жизни мы можем, если сообща, всем миром, займемся решением неотложных проблем. Все это требует от каждого из нас, от всех, вместе взятых, мужества, стойкости — во имя самих себя, во имя Отечества. А это воспитывается только на сыновней любви к Родине.

На нас всех, ныне живущих, легла ответственность перед историей нашей земли, а Москва — сердце Родины!

ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ СУДЬЯМ! Жители перуанского города Кальяо на такой вопрос отвечают теперь ироническими улыбками и сомнительным покачиванием головы. Недавно они пришли в местный музей, где была выставлена бронзовая пушка, и увидели, что знаменитое орудие... потрескалось и рассыпается в пыль. При ближайшем рассмотрении эта пыль оказалась цементной. Значит, достопримечательность подменили!..

Бронзовое орудие сохранилось со времен борьбы за независимость. Оно стреляло по кораблям испанцев и поэтому считалось исторической ценностью. За расследование принялась специальная комиссия. Было установлено, что святотатство совершил верховный судья города Хорхе Гонсалес, владелец заводика по производству дешевых сувениров. Однажды предприятие стало испытывать дефицит в бронзе, и судья забрал реликвию под предлогом реставрации. Конечно, пушка была тут же переплавлена, а на ее место поставили бетонную копию. Подвела корыстного судью борьба музейных работников с влажностью в залах. В сухой атмосфере подделка быстро рассыпалась.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ДЕРЖИТЕ ШАГ!

Ю. ГУРЬЕВ

НЕРАВНОДУШНЫЕ

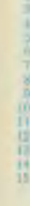
КАЖДЫЙ ДЕНЬ в белый дом под прохладной сенью чинар почтальон приносит толстую пачку писем. По обратным адресам можно изучать географию страны: города и села Узбекистана, Украины, Закавказья, других республик и областей. Адрес получателя один: «Ташкент, Хорезмская, 51, поисковый клуб «Прометей».

— Широкие связи клуба обусловлены спецификой нашей работы,— говорит руководительница «Прометея», молодой коммунист Зарифа Эшмурзаева.— Поиск героев войны и труда, истоков их подвига, если, конечно, ведешь его не ради галочки в отчете, зачастую выводит следопытов за пределы района, даже республики, переплетается с поиском коллег из других патриотических клубов и организаций.

Зарифа раскрыла папку с надписью «Ташкент — Чернигов». На первой странице две фотографии: пожилая узбечка укладывает цветы на братскую могилу воинов; возле бюста солдата, стоявшего на постаменте, офицер-ветеран проводит смену почетного комсомольского караула.

— Это наш первый опыт интернационального сотрудничества и наши первые украинские друзья,— пояснила Эшмурзаева.

Начало этой поисковой операции положило сообщение из филиала клуба в Пскентском районе. Следопыты нашли семью без вести пропавшего воина



Махмута Рахманова. Его дочери Рафат и Бешорат, как самую дорогую семейную реликвию, сохранили испеченную в домашнем тандыре лепешку — последнюю память, оставшуюся об отце при его уходе на фронт. По древнему узбекскому обычаю мужчине, когда он отправлялся в далекий путь, давали надкусить «хлеб возвращения», лепешку держали на почетном месте и вручали ее хозяину, вернувшемуся под родной кров. В доме Рахмановых лепешку с почетного места так и не сняли...

Отца сестры помнили смутно — были совсем еще маленькими. От матери они слышали, что отец пропал без вести в конце 43-го года. Письма, извещение, по которым можно было бы установить номера полевой почты и части, к сожалению, не сохранились. Весточек от отца не приходило — видно, обстоятельства не позволили ему писать, а извещение убитая горем мать куда-то спрятала и потом не нашла. Словом, солдат Рахманов пропал без вести. Зато добрая память о Рахманове-труженике крепко держалась в кишлаке. Пожилые люди тепло отзывались о Махмуте-комсомольце, своем школьном товарище. Светлый след Рахманов оставил и в трудовой истории хозяйства — был передовиком, инициатором в социалистическом соревновании. Но как сложилась его фронтовая судьба? Как погиб он, где похоронен и можно ли это узнать через столько лет? Сестры, да и все в кишлаке ждали вестей от следопытов...

Непрост и нелегок был поиск, к которому «прометеевцы» привлекли сотрудников многих организаций. Вместе с ними они работали в архивах районного и областного военкоматов, посылали запросы на документы военных госпиталей. Представители «Прометея» ездили в Подмосковье, получили помощь сотрудников архива из МО СССР. След боевых частей, в составе которых воевал Махмут Рахманов, привел к 77-й гвардейской стрелковой дивизии, освобождавшей в 1943 году Черниговщину. Через ЦК ЛКСМ Узбекистана следопыты обратились к комсомольцам Черниговской области. Конечно, не сразу пришел ответ. Дальнейший поиск, к которому подключились украинские следопыты, потребовал времени. «Прометеевцы» получили сведения не только о Махмуте Рахманове. Друзья с Украины сообщили имена еще 109 воинов из Узбекистана, геройски погибших при освобождении городов и сел Черниговской области, о местах, где они похоронены, и памятниках на братских могилах, за состоянием которых следят местные комсомольцы и пионеры.

Поиск вступил в новую фазу — нужно было отыскать родственников погибших. Следопыты обратились за помощью к журналистам, и с тех пор между ними завязалось тесное, взаимно заинтересованное сотрудничество. В ответ на публикации в адрес клуба из городов, из далеких «глубинок» приходили волнующие письма. «Более сорока лет я не знала о судьбе отца,— писала следопытам дочь Мухамеда Курбанова, похороненного в селе Матвеевка Черниговской области. — Семьи, которые имели документы о гибели близких, пользовались почетом, им помогали. Нам же нет. Трудно смириться с такой обидой! Конечно, я понимала: всякое случалось в войну. Но верила, что отец, которого сызмала помню сильным и честным, не мог стать предателем, трусом. Долгие годы молча таила горе. Теперь я, мои дети и внуки, все наши родные и близкие можем с гордостью говорить: мы из семьи Мухамеда Курбанова, который честно сражался и погиб за Родину. Просим, если это возможно, помочь нам устроить поездку к могиле самого дорогого для нас человека».

Такая поездка для родственников погибших и представителей «Прометея» была организована общественностью и ЦК комсомола республики.

— Мы вылетели в Киев, затем автобусом добрались до Чернигова,— вспоминает руководитель делегации З. Эшмурзаева.— В облвоенкомате встретились с украинскими следопытами, их командиром — полковником в

отставке Владимиром Денисовичем Драгуновым. Его рассказ раскрыл перед нами одну из героических страниц Великой Отечественной, когда части 77-й гвардейской стрелковой дивизии освобождали Черниговщину; узнали мы и о боевых подвигах наших земляков.

Приехали в село Александровку. На братской могиле среди имен русских, украинцев, белорусов в мраморе высечены имена Махмута Рахманова, Мухамеда Курбанова, еще восьмерых солдат и офицеров Ташкентской области. Мы подошли к могиле. Родные погибших развязали мешочки с землей, привезенной из далекого Узбекистана, рассыпали ее по могиле. Пусть здесь с погибшими будет кусочек солнечного поля, которое растило их...

Делегаты Узбекистана побывали в селе Щучья Гребля Бахмачского района на могиле Саидгази Саидкасимова. Его, пожилого хлопкороба, привело на фронт желание повидаться с сыном Кавунбаем. Все в кишлаке гордились отважным разведчиком и, конечно же, послали для него с отцом несколько хурджинов с подарками, множество наказов и пожеланий. Но Кавунбая перевели в другое соединение, и подарки отец раздал его товарищам. А вот наказ земляков сражаться до победы оставил для себя. Трудно теперь узнать, как добился пожилой дехканин включения в действующую фронтовую часть. Но все-таки добился. И стал солдатом, бесстрашным, умелым, участвовал во многих жестоких боях с фашистами, был награжден орденом и мечтал, что фронтовые пути-дороги сведут его с сыном как равного, как бойца с бойцом. Вражья пуля не дала сбыться мечте...

Вернувшись на родину, Кавунбай узнал, что отец его пропал без вести, долгие годы, но без успеха искал его могилу. Это удалось сделать интернациональному коллективу следопытов.

— Трудно передать чувства, которые пробудила в нас встреча сына-героя с прахом героя-отца,— продолжила свой рассказ Эшмурзаева.— Тут были и скорбь о тех, кого невозможно вернуть, и благодарность за их подвиг, сознание ответственности, которую передали нам старшие поколения, и удовлетворенность тем, что по мере сил и возможностей мы выполняем свой долг...

Поисковая операция «Ташкент—Чернигов» получила широкое освещение в прессе, обсуждалась общественностью и нашла горячий отклик. В клуб обращаются люди различных возрастов и профессий с просьбами, пожеланиями, предлагают свою помощь. И такие предложения, естественно, принимались и принимаются с благодарностью, способствовали созданию филиалов «Прометея» во всех районах Ташкентской области. Работа следопытов на местах приобрела многоплановый характер.

В поиске «прометеевцев» из Чирчика прослеживается «танкистская» линия. И не случайно. В годы войны из местного танкового училища вышли многие командиры «сухопутных крейсеров».

Одна из экспозиций в музее боевой и трудовой славы школы № 9 посвящена Герою Советского Союза Вольдемару Шаландину.

... В переломный момент «битвы моторов» под Курском гитлеровцы бросили на узком участке нашего фронта всю авиацию группы армий «Юг», 700 танков и самоходных орудий. Среди дня наступили сумерки. Густые тучи пыли и дыма от разрывов снарядов, авиабомб, как в затмение, скрыли солнце. Повсюду завязывались танковые «рукопашные». Тридцатьчетверки, вплотную сближаясь с «тиграми», били в упор, шли на таран.

К одной из траншей на полной скорости вырвались пять тяжелых фашистских танков. Спасая товарищей, пулеметчик Иван Зинченко со связкой гранат бросился под траки «тигра». Машину он подорвал, но остальные танки уже начинали утюжить траншею. В этот миг из дыма стремительно выскочила тридцатьчетверка. Отвлекая врага, комсомольский экипаж Вольдемара Шаландина вступил в неравный бой. Чадно запылали два «тигра», внутри пораженной в упор «пантеры» взорвался боекомплект. Но тяжелый снаряд последнего вражеского танка пробил броню, загорелась моторная группа. Тридцатьчетверка не остановилась. На предельной скорости всей своей пылающей массой она врезалась в борт «тигра», уничтожив его...

Комсомольцы и пионеры школы чтят память Героя делами. Как сообщила хранитель музея — старшеклассница Саулэ Ахмедова, они шефствуют над ветеранами войны и труда, семьями погибших. Многие из ребят проходят подготовку в клубе «Будущий воин» под руководством офицеров танкового училища, в списки которого навечно зачислен Шаландин.

В Пскентском районе комсомольско-молодежные коллективы хлопководов соревнуются за право носить имя Михаила Качуринера, первого в республике народного комиссара труда. Память о нем высветлил поиск здешних следопытов — участников похода по местам революционной славы.

...В мае 1918 года по декрету, подписанному Лениным, на ведение оросительных работ в Туркестане было ассигновано 50 миллионов рублей. Шла гражданская война, в клещах блокады молодая Советская республика испытывала, казалось бы, неодолимые материальные трудности, но средства для подъема сельского хозяйства в Средней Азии были выделены. Доставить в Туркестан огромную по тем временам сумму денег партия доверила Михаилу Качуринеру. Ему исполнилось двадцать лет, но позади уже была суровая школа Киевского подполья, опыт большевика-конспиратора и руководителя красногвардейских отрядов. Обходным путем — через Симбирск, Астрахань и Красноводск, часто по территории, занятой белыми, Качуринер добрался до Ташкента. Партия не отозвала его в Россию: большевик-ленинец был крайне необходим Туркестану, где шла напряженная борьба с белогвардейскими заговорщиками и националистами.

За считанные месяцы Качуринер освоился с региональными проблемами, умело организуя труд рабочих, дехкан, завоевал их любовь и уважение. С радостной верой относился он к молодежи, вводил ее представителей в состав республиканского аппарата управления, доверял ответственные государственные задания, называя молодых «главной нашей опорой». В небольшой организации революционной молодежи, насчитывавшей в то время всего лишь 200 членов, Михаил Качуринер прозорливо видел могучую общественную силу, которой является теперь более чем трехмиллионная армия комсомольцев республики. Он погиб в 22 года от руки белых мятежников...

— Узнав от наших следопытов о жизни Михаила Качуринера, мы решили включить его в свой коллектив, равняться на него как на правофлангового,— рассказывает бригадир хлопководов Шакир Мурадов,— но молодежь из других бригад запротестовала. «Почему включить к вам, а не к нам? Мы не хуже». Пришли к выводу: будем соревноваться, а дело покажет. Борьба, прямо скажем, была упорной. По принятым всеми условиям соревнования победу определял не только урожай, но и трудовая дисциплина, поведение в быту, активность в комсомольской учебе и в организации досуга. А народ у нас дотошный и зоркий — малейший изъян приметят. Почетное право мы заслужили в прошлом году, сняли урожай хлопка больше, чем предусматривалось заданием, и по всем другим пунктам не подкачали. Деньги, заработанные на имя Михаила Качуринера, внесли в Фонд мира.

Только в этом году молодежные коллективы республики, включившие в свой состав героев революции, войны и труда, участвовавшие в субботниках и воскресниках Памяти, внесли в Фонд мира три миллиона рублей. Но никакими материальными мерками не оценить тот вклад, который вносит дело неравнодушных в воспитание интернационализма и патриотической гордости, гражданского самосознания и общественной активности — в процесс развития нового мышления советского человека.

Окончание. Начало на стр. 130.

журналиста Ю. Татукки. Теперь лишь пять часов езды по железной дороге отделяли его от революционного Петрограда.

В Выборге 29 сентября Ленин написал статью «Кризис назрел».

«Нет сомнения,— писал Ленин,— конец сентября принес нам величайший перелом в истории русской, а, по всей видимости, также и всемирной революции». В крестьянской стране растет крестьянское восстание. Усиливается национально-освободительное движение. Финляндские войска и Балтийский флот отказываются подчиняться правительству Керенского и К°. В Москве из семнадцати тысяч солдат четырнадцать тысяч голосуют за большевиков... Растет число рабочих отрядов Красной гвардии.

«Кризис назрел,— писал Ленин.— Все будущее русской революции поставлено на карту».

ПАНОРАМА

ОН ЗНАЛ, КУДА ПЛЫЛ!

ТУР ХЕЙЕРДАЛ неутомимо исследует глубины океана, необитаемые острова, обычаи народов, древние забытые цивилизации и... архивы. Норвежский ученый, выступая недавно на пресс-конференции в Филадельфии, заявил, что Христофор Колумб, первооткрыватель Нового Света, имел в своем распоряжении предварительные данные, позволившие ему предпринять смелое путешествие с точной целью — открыть не восточную Индию, а именно новый континент. Это была не случайная удача, а планомерная попытка повторить старые открытия мореплавателей.

Во-первых, утверждает Хейердал, мореплаватели конца XV века уже имели весьма четкие представления о шарообразности Земли. С высоты достижений нашего времени ни в коем случае нельзя недооценивать научные и, в частности, географические представления той поры. Во-вторых, сейчас с определенной достоверностью установлены открытия скандинавских мореплавателей, достигавших на утлых парусниках берегов Ньюфаундленда и других точек Северной Америки. Примерно за четыре века до отплытия Колумба в путешествие по Атлантике Ватикан уже располагал сведениями об открытии «зеленых берегов», названных позже Америкой. Нет сомнений, говорит Хейердал, что Ватикан обладал не одним, а несколькими документами о походах викингов в западном направлении. Но так как клерикалы всегда были против любого нового факта, они прятали документы, а потом забывали о них. Ныне они хранятся в разрозненном состоянии.

Мнение Хейердала сводится к тому, что выписки из исторических хроник и писем в Ватикан от скандинавских миссионеров каким-то образом попали в руки королевы Изабеллы — покровительницы Колумба. Быть может, сам мореплаватель посоветовал королеве Испании раздобыть эти

Ленин стремился как можно скорее возвратиться в Петроград и не раз просил Центральный Комитет партии разрешить ему прибыть в столицу. 3 октября ЦК принял решение: «...предложить Ильичу перебраться в Питер, чтобы была возможной постоянная и тесная связь».

7 октября загримированный Ленин в сопровождении большевика Эйно Рахьи на паровозе № 293, который вел машинист Г. Ялава, благополучно переехал границу, сошел на станции Удельная и направился на квартиру М. Ф. Фофановой. На этой квартире Ленин оставался вплоть до своего прихода в Смольный поздно вечером 24 октября!

Возвратившись в Петроград, Ленин берет непосредственное руководство подготовкой восстания в свои руки.

Н. ВАСИЛЬЕВ

ПАНОРАМА

сведения из ватиканского архива.

Одним словом, Христофору Колумбу сопутствовала не редкая удача открыть острова Багамского архипелага, а упорная старательность в выполнении задуманного плана. Он точно вычислил количество морских миль до нового континента. Об этом свидетельствует и запас провианта на его кораблях. Ведь Америка открыта менее чем на полпути в призрачную часть восточной Индии. Однако в ту пору все географические открытия делались под покровом тайны. Карты засекречивались более тщательно, чем политические документы. Поэтому в путешествии Колумба до сих пор так много тайн и не разгаданных до конца мотивов.

В США составлена группа специалистов, которая собирается исследовать все аспекты гипотезы. Она будет работать в рамках научной подготовки к 500-летнему юбилею открытия Америки в октябре 1492 года. Кстати, эта комиссия специалистов по истории и географии рассматривает и другую версию, согласно которой в Америке до Колумба и викингов побывали берберские мореплаватели. Американские, польские и западногерманские антропологи исследовали некоторые погребения на Антильском архипелаге и на побережье Мексиканского залива. Было установлено африканское происхождение людей, захороненных более 1200 лет назад.

Недавно найден весьма любопытный документ XV века, из которого стало ясно, во что обошлось испанской казне открытие Нового Света. В одном из испанских монастырей обнаружена рукопись финансовых документов. На подготовку трех каравелл затрачено 36 тысяч пезет. Продуктов было закуплено на 2 тысячи. Капитанам после путешествия казна выдала по 900 пезет, а каждому матросу — всего по 12 пезет. Общая сумма, переведенная в современные деньги, составит менее 500 тысяч рублей. Сюда входит и «премия», полученная Колумбом от короля в размере 1600 пезет. Из всего этого следует, что правители Испании той поры были изрядными скрягами. По мнению специалистов, экспедиция на трех каравеллах была снаряжена слишком экономно.

ВЫЛЕТ НЕ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

НАШЕ ЗНАКОМСТВО с работой санитарной авиации началось с ее республиканского центра, находящегося в Москве. В центральной диспетчерской, которую сразу отличишь от обычной диспетчерской подстанции «Скорой помощи» наличием огромной, во всю стену карты СССР и расписания самолетов, царит спокойная деловая обстановка. Сюда со всей республики, а порой и из любой точки Союза поступают сообщения о человеческой беде, приходят просьбы о помощи. И в большинстве случаев требуется экстренная помощь. Диспетчер должен найти кратчайший маршрут, по которому отправятся в свой нелегкий путь специалисты-медики. Дружба медиков и авиаторов давняя. Летчики прекрасно понимают своевременность доставки врача к больному. Ведь зря московских специалистов коллеги на местах не побеспокоят. Значит, действительно случай очень сложный, порой запутанный, в котором даже малейшая оплошность может стать непоправимой.

На магнитных дисках памяти ЭВМ хранятся все данные, вплоть до паспортных, о наличии в данный момент того или иного специалиста в городе.

Большая ответственность в выборе консультанта ложится на плечи заместителя главного врача отделения экстренной и планово-консультативной помощи Центральной республиканской больницы Минздрава РСФСР Евгения Викторовича Белова.

Диагноз, полученный по ВЧ-связи, порой приблизительный, требующий уточнения, правильной передачи консультанту, которому предстоит лететь. Евгений Викторович уверенно вводит полученные данные в машину. Через несколько минут на экране дисплея появляется фамилия, имя, отчество и должность необходимого специалиста. Иногда ЭВМ выдает данные на нескольких требуемых специалистов.

— А как быть, если рейсы в какой-то город не ежедневны или самолет уже улетел? — спрашиваем мы.

— Для таких ситуаций, а также для транспортировки тяжелобольных в нашем распоряжении в аэропорту Быково всегда находятся в полной готовности два самолета, и мы всегда сможем отправить специалиста в точку, наиболее приближенную к требуемой, а дальше вертолетом местного отделения санавиации к больному. Но чтобы понять всю сложность работы, необходимо побывать в одном из наших филиалов в республике.

Так мы оказались в Свердловске и стали пассажирами необычного рейса.

ЗДЕСЬ нет привычной процедуры проверки билетов у трапа. Похоже, что пассажиры и экипаж давно и хорошо знают друг друга. Впрочем, так оно и есть на самом деле.

В наш 12-местный вертолет Ми-8 поднимаются медики. Это врачи санитарной авиации — нейрохирург Александр Викторович Коротков, заведующий САС Свердловской области Геннадий Петрович Глазков, Евгений Викторович Белов и мы, журналисты.

Вертолет держит курс на Тавду. Там в районной больнице ждет консультации и помощи нейрохирурга тяжело больной пациент.

Погода летная. Ярко светит солнце, на небе ни облачка, термометр в Свердловске показывает 27 градусов.

Из иллюминатора хорошо видны транспортные развязки, зеленые массивы знаменитых Уральских гор, по которым когда-то в поисках своего камня бродил Данила-мастер, повстречавший на своем пути хозяйку Медной горы...

Поглядываем на спутников. О чем-то спокойно-сосредоточенно думает нейрохирург. Это не первый его вылет. Несмотря на молодость, он уже немало «поколесил» по области, имеет большой опыт работы.

— Знающий, толковый специалист,— говорит о нем Геннадий Петрович.— Впрочем, в нашем деле иначе нельзя, ведь мы — санитарная авиация. От нас ждут помощи в самых отдаленных уголках области.

В диспетчерской

Евгений Белов

А область у нас большая, ее площадь без малого двести тысяч квадратных километров, и живет на ней свыше четырех с половиной миллионов человек. Мы летаем не только в населенные пункты, но и к месту работы лесорубов, лесосплавщиков, буровиков, геологов, охотников, строителей, садимся порой в буквальном смысле на «пятачок».

Под нами проплывает словно ожившая географическая карта Урала: вот широко раскинулась красавица Пышма, потом ее сменили бескрайние лесные массивы причудливых форм, затем показались похожие на лунные кратеры карьеры города Асбеста...

— Скоро начнется Западно-Сибирская равнина. Вы видели ее когда-нибудь! — спрашивает Геннадий Петрович.— А теперь под нами Ирбит, крупный промышленный районный центр и вместе с тем старинный город, славившийся когда-то своими знаменитыми ежегодными ярмарками.

Глазков — великолепный «воздушный» гид. Ему приходилось вылетать в различные пункты еще задолго до того, как он возглавил санитарную службу области. У него цепкая память,— возможно, это вообще характерная черта настоящего врача. Пролетая над одним из поселков, он вспомнил, как буквально вернул одного из своих пациентов с «того света». Больной был нетранспортабелен, и оперировать его пришлось на месте. Когда Геннадий Петрович вскрыл брюшную полость, он и анестезиолог ахнули: у больного в результате брюшного тифа оказался сильно изъязвленный кишечник. Медлить было нельзя. Даже видавший виды анестезиолог не очень верил в успех операции. Но Глазков использовал все свое искусство хирурга и спас человека.

Спасти человека — в этом весь смысл его жизни. Нам рассказывали о совсем недавнем случае, когда доктор Глазков работал еще в Тамбовской области. Больному с сильным кровотечением срочно требовалась донорская кровь. Была дорога каждая минута. Добраться воздушным транспортом до пункта назначения оказалось невозможным. Пришлось добираться на перекладных. Последние пятнадцать километров ему пришлось преодолевать верхом на лошади. Но успел вовремя...

САНИТАРНАЯ авиация в нашей стране перешагнула уже 50-летний рубеж своего существования. Немало доброго за этот срок на ее счету. Немало людей было спасено благодаря оперативности и высокой квалификации врачей.

Поистине гигантские масштабы занимает территория Российской Федерации, но во всех ее краях и областях действует «крылатая медицина». И люди, работающие в санитарной авиации, особые. К ним относятся не только врачи, а вся служба в целом. Немалую роль здесь играет оперативность диспетчера, его умение в считанные минуты вызвать нужного специалиста, обеспечить его транспортом, с минимальной затратой времени отправить его по вызову. Врачи здесь должны обладать не только высокой или даже высочайшей квалификацией, они должны быть энтузиастами своего дела. А на это не всякий способен. Не всякий способен подняться с места в любое время суток, в любую погоду и отправиться туда, где так ждут его помощи.

Санитарная авиация вольно или невольно выявляет характер и способности врача. Достаточно бывает одного-двух вылетов на место, чтобы понять степень его квалификации.

Перед вылетом. Врач Г. Глазков (слева), командир вертолета В. Васильев, бортмеханик А. Никонов, реаниматолог П. Рылов

Созданная в декабре 1934 года как способ транспортировки раненых и больных в тыл, санавиация в последующие годы претерпела качественное изменение, разнообразны стали ее функции сегодня. Они включают в себя не только консультации или экстренные операции на месте, не только транспортировку больного в случае необходимости в центральную областную больницу, но и тесное взаимодействие с центральными больницами, где хирурги проводят показательные операции, где идет учеба молодых специалистов на месте. Нередко хирурги из районов приезжают в областной центр, где поначалу ассистируют на сложных операциях, а затем, «набив руку», меняются с наставником местами: ученик становится первым, а ведущий хирург вторым, его ассистентом. В Свердловской санавиации такая форма работы хорошо отлажена.

НАШ ВЕРТОЛЕТ пошел на посадку. Когда мы спустились по трапу, то в нескольких метрах от себя увидели машину «скорой помощи», поджидавшую нейрохирурга.

Идет операция

Нейрохирург Александр Коротков

А нам предстояло вскоре вылететь на маленьком вертолете Ми-2 в Туринскую Слободу, где у Глазкова была запланирована встреча с местными врачами.

Обратный путь на Свердловск мы проделали на самолете Ан-2, на котором под присмотром педиатра-реаниматолога областной детской больницы Владимира Александровича Шмакова переправляли в Свердловск совсем крошечного, четырехмесячного пациента с двухсторонней пневмонией.

Задул сильный боковой ветер. В обычных ситуациях Ан-2 не летает в такую погоду. Но здесь ситуация была нештатная. И самолет взял курс на Свердловск. Для легкой «Аннушки» болтанка была приличной, поэтому по приказу командира все пассажиры пристегнули ремни. Молодой маме, сопровождавшей ребенка, стало плохо, ей на помощь пришел Глазков. Отрегулировав давление в кислородном баллоне, он протянул трубку женщине. Педиатр-реаниматолог не сводил глаз с малыша, которого крепко держал на своих руках.

Чем ближе мы подлетали к Свердловску, тем хуже становились погодные условия. В иллюминаторах были видны отдаленные вспышки молний, небо затягивалось свинцовыми тучами.

Но вот шасси самолета коснулись земли, мотор замолк, но на землю

сплошной стеной обрушились водопады воды. Водитель «скорой» виртуозно подъехал к самолету. Образовался своеобразный коридор между дверцей самолета и машины. Руки в белом халате протянулись к малышу, и он исчез в кабине. Затем места в машине заняли врач-реаниматолог и мать ребенка. «Скорая» тронулась, и все мы мысленно пожелали ребенку доброго пути.

Сгущались сумерки, когда мы подъехали к Центральной областной больнице № 1, на базе которой находится отделение санитарно-авиационной службы. У подъезда больницы стояло несколько машин «скорой». К ним со специальными чемоданчиками в руках спешили врачи. Как мы узнали позже, в тот день было восемь экстренных вылетов. Почти все они были выполнены молодыми врачами. Геннадий Петрович с большой симпатией относится к молодежи, ему не все равно, кто приходит на смену старшему поколению. Вот почему нередко бывает так, что его можно увидеть в других городах страны, где он отбирает из выпускников медицинских вузов пополнение для своей службы. Забота о молодых специалистах должна быть более действенной, считает он. Особенно нужно обратить внимание на социально-бытовые нужды, если мы хотим иметь на местах опытных специалистов.

Сегодня немало сделано и делается для совершенствования работы санитарной авиации. В практику врачей отделений экстренной и планово-консультативной медицинской помощи (ЭПКМП) внедряются новейшие достижения медицинской науки, средства диагностики и лечения больных, совершенствуются организационные формы оказания экстренной и неотложной помощи.

Но проблем, требующих разрешения, еще немало. Одна из них — обеспечение надежной современной связью. И здесь большую роль должны сыграть местные Советы. Немаловажной задачей становится создание комплексных бригад, включающих в себя врача-эндоскописта, хирурга, анестезиолога. И конечно, мечта любого санврача — увидеть в ближайшем будущем специализированный, оснащенный по последнему слову техники самолет, способный летать в любых погодных условиях, на борту которого в случае необходимости можно будет осуществлять и сложные операции.

Таким самолетом станет «Морава» Л-410. И не исключена возможность, что первые самолеты этой серии станут осуществлять экстренные вылеты уже в следующем году.

И это будет большим подарком врачам санавиации, готовым всегда прийти на помощь человеку.

О. СЕМЕНОВА
Фото А. ЕГОРОВА

ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

СТАНЕТ ЛИ «ТИТАНИК» АЙСБЕРГОМ! После многолетних усилий с помощью ультразвукового эхолота корпус «Титаника», трагически затонувшего в 1912 году в Атлантике, найден. На снимках, сделанных глубоководной фотокамерой, он выглядит как бесформенная груда металла. Лишь передняя часть вырисовывается более или менее точно. Но за качество фотографий тут краснеть не приходится, ибо пассажирский лайнер лежит в темной пучине на глубине почти в пять тысяч метров.

В прошлом году специалистам удалось заглянуть в трюмы и каюты погибшего корабля. Для этого использовали научно-исследовательскую подлодку «Альвин» и робот-мини-подлодку «Робин» диаметром 50 сантиметров.

Автономный аппарат из титановой стали и проник внутрь. Информацию он передал на борт своей матки по гибкому кабелю с волоконной оптикой.

Обследование «Титаника» связано с проектом подъема этого корабля. Инженерная идея спасательных работ весьма оригинальна. Родилась она в Марселе. Предлагается заварить корпус, пробитый айсбергом, и накачать в трюмы и каюты жидкий азот. Тем самым десятипалубный «Титаник» превратится в искусственный айсберг, который будет нетрудно поднять на поверхность с помощью эластичных понтонов.

Однако тут есть особые трудности — стоимость всех работ определена более чем в 4 миллиарда долларов. Кроме того, корпус сильно проржавел, и его придется укреплять во многих местах.

ПОСОБИЕ ПО САМОЛЕЧЕНИЮ. Несмотря на многочисленные предупреждения специалистов об опасности самолечения, во Франции большинство людей предпочитает заходить в аптеки и самостоятельно выбирать себе лекарства, продающиеся без рецепта. Двум парижским врачам пришлось создать пособие, которое они назвали «Как лечиться самому без опасения заболеть».

Новая книга вызвала откровенное негодование фармацевтических фирм. Авторы разворошили осиное гнездо, и в их адрес посыпались недвусмысленные угрозы. Дело в том, что врачи дали объективную оценку всем патентованным лекарствам. Приведя их названия, они обозначили в своей книге их звездочками. Если три звездочки — препарат вполне надежен, если две — сомнителен, а вот одна — бесполезен.

Из 1500 видов лекарств, свободно продающихся в аптеках, лишь 123 получили три звездочки, 163 — две и 120 — одну. Остальные не имеют подобных обозначений. Это значит — они просто опасны для здоровья и их следует остерегаться.

ГАЛЕРЕИ НА ЭКРАНЕ. Первый видеомузей открыт в Риме. Для него выделено помещение, где установлены персональные компьютеры с блоками памяти на видеодисках и лазерными считывающими устройствами. На экраны мониторов можно последовательно вынести цветное изображение почти 5 тысяч картин из художественных галерей Италии. На дисках собраны выдающиеся произведения живописи от XV до XVII века. Понятно, что они сопровождаются записями кратких пояснений искусствоведов.

Устроители «электронного музея искусств» сулят своему заведению большое будущее и считают его «новым словом в педагогике культуры». По их мнению, доступный видеомузей сможет отвлечь молодежь от бездумного времяпрепровождения в дискотеках с изрядно всем надоевшей поп-музыкой. В дальнейшие планы входит серия видеодисков, отражающих как художественный, так и инженерный гений Леонардо да Винчи. Будут показываться изобретения Леонардо — прокатные станы, парашюты, вертолеты, водолазные костюмы, измерительные приборы.

КРАСЯТ ВОЛОСЫ ДАЖЕ МОЛОДЫЕ. От статистики не ускользает ни одна деталь. Вдруг выяснилось, что в Японии, где каждому природа запрограммировала темную шевелюру, резко возросло потребление черной краски для волос.

За расследование причин принялась пресса. Оказалось, что потребление этого вида косметики за последние семь лет увеличилось в два раза. Японцы стали тратить на краску десятки миллионов иен в год. Почему же это происходит! Неужели новая мода! Нет, не мода, а вынужденная мера. И прибегает к ней даже молодежь.

Как известно, в Стране восходящего солнца очень высокая степень

«КУЕМ МЫ СЧАСТИЯ КЛЮЧИ...»

ДЕВЯТЬСОТ пятый год. В Москве — восстание. И вместе с восставшими — Филипп Степанович Шкулев. Он тоже сооружал баррикады, перевязывал раненых, развозил прокламации, устраивал тайник с оружием... Среди пожаров, стрельбы, на обагренных кровью, загроможденных перевернутыми повозками и бревнами улицах, среди людей с горящими ненавистью и надеждой глазами, на рабочих митингах по строчкам складывалась эта песня.

Дружинники хорошо знали Филиппа Шкулева — такого же, как они сами, рабочего в прошлом. Он был искалечен в детстве: хозяин фабрики «Либиш» поставил десятилетнего ребенка к машине, которая раздавила мальчику правую руку. Он прошел сквозь каторгу поденщины у лавочников, награждавших подростка тумаками за чтение книг.

Рабочие знали уже и Шкулева-поэта. Сражаясь в девятьсот пятом, они пели его песню «Красное знамя»:

Красное знамя, заветное знамя,
Символ победы святой...

С этой песней Шкулев пришел в революцию, уже став «непримиримым врагом царизма, капитала и попов». Девятьсот пятый год в его творчестве переплавился в стихи «Кузнецы» (три варианта). Первое из этих трех стихотворений и стало знаменитой песней, музыку которой написал композитор-самоучка, участник Суриковского литературно-музыкального кружка И. А. Скворцов:

Мы — кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи!..

Как тысячи участников первой русской революции, как сам Шкулев (он сидел в одиночке Таганской тюрьмы, скрывался от ссылки в Архангельске), песня «Кузнецы» тоже не избежала репрессий царизма. Три первых четверостишия были напечатаны 27 мая 1912 года в «Невской звезде», за что номер газеты арестовали. Царский цензор в своем рапорте писал: «Вышеназванное стихотворение написано в сильных выражениях, проникнутых революционным настроением и направленных к тому, чтобы возбудить народ к бунту...»

Октябрьская революция, гражданская война — само время выплеснуло эту песню на бескрайнее поле непримиримой классовой борьбы, дало ей второе рождение, приравняло к винтовке красноармейца. Это о ней писал Фурманов в «Чапаеве»:

«По теплушкам книжная читка гудит, непокорная скрипит учеба, мечутся споры галочьей стаей, а то вдруг песня рванет по морозной чистоте — легкая, звонкая, красноперая:

Мы — кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!..

И на черепашьем скрипучем ходу вагонном, перемежая и побеждая ржавые песни колес, несутся над равнинами песни борьбы, победным гулом кроют пространства... Ах, песня, песня, что можешь ты сделать с сердцем человека!..»

Вот какой жар, какую страсть вкладывали бойцы Иваново-Вознесенского полка в эту песню. С не меньшим волнением пели ее потом молодые строители «Уралмаша» и Магнитки, Кузнецка и Днепростроя...

Тема кузнецов — сильных и умелых людей, кующих ли плуг крестьянину, деталь ли для какого-нибудь механизма, или оружие восстания — была любимой темой рабочего поэта Шкулева. В добром десятке его стихов, в оставшихся после его смерти рукописях этот образ возвышается над всеми другими как символ честного труда, беззаветного мужества в борьбе, как символ величия духа рабочего класса.

Лев СИДОРОВСКИЙ

эксплуатации. Молодые рабочие и служащие живут под ежедневным страхом увольнения. Стремительный темп жизни, напряжения на работе, различные переживания — все это приводит к стрессам и ранней седине. Вот и приходится казаться моложе, прибегать к краске.

ГОДИШЬСЯ ЛИ ТЫ В КАПИТАНЫ! Юноша мечтает стать капитаном. Педагоги экзаменуют его по географии и математике, врачи щупают пульс и признают годным. Но при первом же выходе в море на учебном судне выясняется, что мечтатель подвержен пагубной морской болезни...

Первый в мировой практике тестовый стенд сконструирован в Саутгемптонском университете. Будущий моряк садится в кресло, и экзаменаторы опутывают его проводами десятков датчиков, подключаемых к компьютеру. Включается мотор, и человек вместе с креслом начинает качаться из стороны в сторону, опускаться и резко падать вниз. При этом испытательный стенд еще кружится, вибрирует и жужжит, имитируя все неприятные перипетии качки корабля. Словом, испытания предельно объективны.

Первая страница обложки «Товарища»: Пилот Вячеслав Дериглазов. Репортаж «Вылет не задерживается» читайте на стр. 150. Фото. А. ЕГОРОВА.

Реаниматолог Павел Рылов

Репортаж о санитарной авиации читайте на стр. 150. Фото А. Егорова.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Товарищ

Юлиан СЕМЕНОВ

ЭКСПАНСИЯ-III

Роман

Продолжение. Начало на стр. 6

Женщина отворила сразу, словно чувствовала, что он вот-вот придет; откуда в ней это?!

— Эстилиц, — шепнула она, обнимая его. — Господи, какое же это счастье видеть тебя!

Волосы ее пахли лавандой и горькими духами, жженый миндаль, запах смерти, цианистый калий, зачем она покупает эти духи?

Губы женщины, сухие, любящие, осторожные, мягко касались его шеи, ушей, подбородка:

— Я не верю, что это ты, Эстилиц! Ты здесь стал таким молодым, прямо какой-то лесник! Что с тобой сделалось? Кто тебя тут лечил?

— Кывыбирахи, — ответил Штирлиц, обнимая Клаудиу, — колдунья Кывыбирахи... А может, Капксерихи, я путаю имя колдуньи с именем ее мужа, зеленая...

Когда женщина уснула на его груди, Штирлиц осторожно, страшась разбудить ее, достал из пачки сигарету, закурил, тяжело затянулся и подумал: «Ну и как же сказать ей, что я позвал ее для того, чтобы она мне помогла? А почему тебе совестно сказать об этом? Ты должен сказать ей правду, потому что она сразу же поймет фальшь; нет ничего страшнее фальши в человеческих отношениях. Что ждет тех, кто лежит, прижавшись друг к другу, и дыхание их едино, и тепло общее, и темнота

кажется лунным светом, в котором мечутся зеленые звезды, и звучит горькая музыка неизбежного расставания? Все рано или поздно расстаются, только любящим этот срок отпущен на мгновенье; тем, кто не знает одержимой увлеченности делом или высокой любви, время представляется иным, ползущим, медленным... Только после перевала, когда минуло пятьдесят, все начинают ощущать фатальную стремительность времени; остановись, мгновенье, ты прекрасно, плач человеческий, высказанная мечта, отмеченная изначальным тавром неосуществимости... А ведь все равно мечтают, несмотря на то, что слово изреченное есть ложь...

На рассвете я должен инструктировать эту прекрасную, нежную зеленоглазую женщину, думал он; какое ужасное слово инструктировать, особенно в приложении к той, которая любит.

Она должна, она обязана завтра же... нет, сегодня утром, совсем скоро уехать в Байрес, найти сенатора Оссорио, поговорить с ним так, как я научу ее, спросить о том, про что я ей скажу, и только после этого возвратиться ко мне, и в зависимости от того, с чем она вернется, решится наше будущее; можно ей будет остаться здесь или, наоборот, необходимо отправить ее отсюда с первым же самолетом...»

«И снова я останусь один»; он услышал эти слова явственно, так, словно произнес их вслух...

— Это случится, только если ты хочешь этого, Эстилиц, — шепнула Клаудиа. — Все будет так, как хочешь ты...

Сдаю, подумал он; я действительно говорил вслух; я размякаю, когда ощущаю нежность к женщине, так было с прекрасной и доброй Дагмар Фрайтаг, так случилось и сейчас; я собран, лишь когда один; видимо, тогда меня держит ожидание возвращения домой, а рядом с любящей женщиной я испытываю некий паллиатив счастья. А если это не паллиатив, спросил он себя, если это и есть то счастье, мимо которого ты проходишь? В этом году, если бог даст дожить, мне исполнится сорок семь, жизнь прошла, все кончено, чудес не бывает, остановить мгновенье нельзя, я остаюсь наедине с памятью, и если писатель может сделать из своей памяти чудо, то я лишен такой возможности, я обыкновенный человек, лишенный божьего дара...

Он погладил Клаудиу по лицу; какие у нее прекрасные щеки; словно у молоденькой девушки; два нежных персика, годы пощадили ее; если утром будет яркое солнце, они вернут меня в детство; я помню, как любовался прекрасным лицом милой Марты, когда мы жили с папой в Берне; девушке было семнадцать, она казалась мне взрослой барышней, я был влюблен в нее, именно в эти персиковые щеки и маленькие уши, их не закрывала высокая прическа, сейчас такие прически не носят, почему?

— Я очень хочу этого, зелененькая моя, — тихо сказал Штирлиц. — Честное слово... Как мне говорить — всю правду или чуть-чуть приукрашивая?

Клаудиа долго лежала, не двигаясь, потом прикоснувшись своими сухими, ищущими губами к его пальцам, ответила:

— Все-таки лучше чуть-чуть приукрашивай... Женщины — зверушки, с нами надо осторожно, хотя и приручать опасно, будем кричать и плакать, если придется расстаться...

— Ты понимаешь, что я живу в бегах?

— Понимаю. Я всегда это понимала, Эстилиц... Знаешь, когда я поняла это впервые?

— Нет.

— Помнишь, в тридцать седьмом, когда ты снимал у меня половину квартиры, к тебе пришел Базилио?

— Он приходил ко мне не раз.

— Нет, я говорю про тот день, это было в октябре, когда ты был очень грустный, а потом к тебе заглянул Базилио, и вы долго о чем-то говорили, а потом я пошла к Эстер, а дверь у тебя не была прикрыта так плотно, как обычно, и я услыхала, что ты говорил не по-немецки и не на кастильяно... Это был язык, очень похожий на русский, я слышала, как говорили русские футболисты, когда они приезжали к нам перед войной...

Тогда, вспомнил Штирлиц, был страшный день, потому что если трагедия случается с теми, кого не знал лично, — одно дело, но когда с тем, кто был тебе как брат, тогда — беда; нет, я не говорил по-русски, это Базилио произнес фразу из Фадеева: «Надо жить и продолжать выполнять свои обязанности»; он не сдержался, дорогой Васенька, милый мой Базилио, жив ли он?

— Может быть, — ответил Штирлиц. — Базилио — странный человек, я очень его люблю, он знает много языков и привык цитировать подлинники, может быть, он говорил по-русски, не помню...

— Ты позвал меня сюда, чтобы я сделала для тебя что-то?

Будет ужасно и бесчестно, если я отвечу ей: «Не для меня, а для всех, чтобы люди больше не знали горя и войн»; на ее месте я бы попросил меня уйти; то, что разрешено двоим, — а им разрешено все, если они любят друг друга и им хорошо вместе, — отторгает любую неправду.

— Да, зелененькая, — прошептал он, — да, ящерка, да, нежность, я позвал, чтобы ты помогла мне.

Она прижалась к нему, обняв своими тонкими руками за шею, долго целовала его, а после замерла и тихо-тихо шепнула:

— Спасибо...

— За что?

— Так... За тебя...

— И тебе спасибо.

— За меня? — Она улыбнулась в темноте, и он сразу же ощутил эту ее улыбку, озаренную грустью и нежностью.

— Да.

— Что нужно сделать?

— Потом. У нас еще есть время.

— Я должна уехать?

— Да.

— Но потом я к тебе вернусь?

— Да.

— И смогу остаться рядом?

— Не знаю. Это зависит от того, как ты съездишь.

— А как быть с катаньем на лыжах и поездкой на рыбалку в чилийский Пуэрто-Монт?

Он спросил:

— Ты сразу поняла, что туристский проспект пришел от меня?

— Нет.

— Почему?

— Женщины тугодумки. Я не могла представить, что ты переехал сюда и начал бизинес.

— А как же ты догадалась?

— Сказать правду? Или чуть-чуть приукрасить?

— Скажи правду.

— Только сначала ответь: у тебя была женщина после того, как ты уехал от меня?

— Нет.

— Почему ты не спрашиваешь, был ли кто-нибудь у меня?

— Я не имею права на такой вопрос.

— Почему? Я имею право, а ты нет?

— Просто... Это трудно объяснить... Словом, я считаю, что каждый человек должен жить по законам собственной совести... Сколько миллионов людей живут вместе, но принадлежат не тому, с кем обвенчаны, а мечте, тому, кто грезится! Когда на любовь проецируют закон собственности, рождается мразь... Прости, что я так выспренне говорил тебе... Просто я так думаю...

— Эстилиц, ты какой-то невероятный мужик... Я не знаю, как тебя принимать... Я принимаю тебя любым... Ко мне стал наведываться мужчина, он влюблен в меня, он инженер, реставрирует здания... Он-то и сказал: «В Аргентине такие же цвета, как на картинах вашего друга...» И тогда я поняла, что рекламный проспект пришел от тебя...

— Погоди, а разве там не было строчек про то, что я тебя жду?

Женщина на мгновение напряглась, быстро поднялась с кровати, быстро нашла дорожную сумку, открыла ее, достала конверт, вернулась к Штирлицу и включила настольную лампу:

— Вот, это то, что я получила...

Штирлиц ощутил, как напряглось тело; господи, неужели и этот Краймер не случаен здесь в Барилоче? Неужели мир сошел с ума от игр своих обитателей? Неужели верить нельзя никому, нигде, никогда и ни в чем?

Он сделал несколько глубоких затяжек, прежде чем раскрыл рекламный проспект; глянцевая бумага, фотографии Барилоче, вид озера, трасса, подъемники, стоимость тура; перевернул буклетик, увидел строчку: «Остановитесь в отеле «Анды», вас там ждут». Господи, слава богу, не шпион, тот бы запомнил, написал слово в слово, «он вас ждет»; дурашка, нежность, она решила, что это обычная приписка фирмы...

— Что тут написано? — спросил Штирлиц, взяв ее палец и ткнув им в рукописную строку.

— Здесь написано, что я буду размещена в отеле «Анды». Там ждут нашу группу, это понятно каждому...

— Кто тебе переводил английский текст?

— Я купила словарь.

— Дорогой?
— Нет, я нашла у букинистов, маленький, истрепанный, очень дешево.
— Когда ты купила словарь? После того, как твой друг...
— Он не мой друг, Эстилиц. Он влюблен в меня и хочет, чтобы я стала его женой... Смешно: все женщины мечтают стать женой, а я думаю лишь о том, чтобы ты разрешил мне оставаться твоей любовницей... Я не была с ним, Эстилиц, я не могу с ним быть, я не хочу быть ни с кем, кроме как с тобой... Скажи, тебе было бы очень больно, если бы я сказала, что он оставался у меня?
— Я дурной человек, зелененькая... Понимаешь, для меня самое главное, что человек ощущал свободу... Такой уж я, ничего не попишешь... И каждый волен распоряжаться своей свободой так, как ему вздумается... Нет, неверно, я сказал плохо... Каждый должен распоряжаться свободой так, чтобы жилось чисто и честно... Это зависит от того, как понимать свободу... Я понимаю ее как справедливость... Если я не хочу или не могу быть с тобой, ты вольна поступать так, как сочтешь нужным...
— Если не хочешь — да, но если не можешь — тогда я должна ждать, когда придет время... То время, когда ты сможешь.
— Зелененькая, ты мечтаешь о ребенке?
— Я уже пропустила это время, — ответила Клаудиа, и Штирлиц ощутил, как она снова замерла на какой-то миг. — Сначала человек принадлежит родителям, потом братьям и сестрам, после любимому, а уж затем детям... Особенно женщина... Ребенок вытесняет из ее жизни все, остается дитя... А ты для меня и отец, и любимый, и ребенок, ты для меня все, Эстилиц...
— Почему? Я же никогда не давал тебе повода, зелененькая...
— И не надо... Ты мужчина... Женщина сама дает себе повод, вам этого не понять, я и сама-то не очень это понимаю... Наверное, мы, испанцы, врожденные мистики, во мне это от мистики, правда... Я придумала тебя для себя... В тебе я видела доброту и нежность, хотя знала, какой ты сильный...
— Ты любишь стихи?
Клаудиа покачала головой; начинался рассвет, контуры ее лица угадывались в темно-серой гамме; в горах особый свет, хмурое утро таит в себе ожидание солнца; здесь каждая минута несет новое, в равнинах никогда не бывает такого ощущения, как среди гор; наверное, человек ощущает здесь свою малость, не выставляет себя, а прилаживается к затаенной мощи вершин; вообще-то, малость в людях — это плохо, лишь горные лыжи дают право равенства с природой, а сколько на свете таких, которые могут спуститься по склонам Анд? Единицы, ну сотни, от силы...

— Хочешь научиться кататься на горных лыжах, ящерка?
Она покачала головой:
— Я все время хочу любить тебя, Эстилиц. И смотреть, как ты мчишься со склонов... Я так представляю себе это, так горжусь тобой... Я все время представляла тебя на склоне, когда летела над океаном...
— Было страшно?
Она не поняла, поднялась на локте:
— Страшно? Чего же? Ведь я летела к тебе, любимый...
— Нежность моя... Я не умею сказать, сколько счастья ты принесла мне...
— Ты не знаешь, сколько счастья ты принес мне, Эстилиц... Поспи, моя любовь... Тебе же сегодня надо работать... Ты будешь учить этих сумасшедших кататься на лыжах?
— Обязательно.
— Тогда и меня поучи. Мне будет так приятно делать то, что ты хочешь...
— Зелененькая, часа через три ты должна улететь...
Он включил свет; стрелки часов показывали четыре; нет, у нас еще четыре часа, самолет в десять.
— Меньше, чем три? — спросила Клаудиа, прижимаясь к нему, словно увидала что-то ужасное, очень близко, протяни руку — дотронешься.
— Больше, — ответил он. — На целых шестьдесят минут больше...

Штирлиц спустился к портье, свояку Эронимо, попросил сварить две чашки кофе, но так, чтобы об этом никто не узнал.
— Я мертв, — ответил парень. — Меня вообще здесь не было, я не вижу, я не видел, я ничего не увижу, кабальеро.
— Когда кончается твоя смена?

— В восемь.
— Можешь вызвать машину на это время?
— Попробую, такси мало, а люди вошли во вкус, время дороже денег... Куда ехать?
— Недалеко. Обратный проезд тоже будет оплачен.
— Это меняет дело, найду... Кофе готовить с сахаром?
— Нет, горький. Дай несколько кусочков вприкуску, дама не любит сладкий кофе, я тоже...
— Дама очень красива.
— Спасибо.
— У меня есть бутылка бренди...
— Принеси, хотя дама не пьет, да и я должен днем работать на склоне...
— Так ведь еще есть время отдохнуть...
Штирлиц строго посмотрел на него и с невыразимой грустью спросил:
— Ты думаешь?

— Любовь моя, — шепнула Клаудиа, — усни... Повернись на правый бок, я буду гладить тебя, и ты уснешь... У тебя вдруг ужасно устало лицо... Ну повернись, Эстилиц... Вот так...
Клаудиа начала нежно, мягко вдавливая ладони в шею и плечи, гладить его; от рук женщины исходило спокойствие, нет ничего прекраснее рук любящей; мне уже нельзя спать, сказал он себе, светает, время; только разве пять минут, не больше, я умею просыпаться без будильника, пропади ты пропадом это изматывающее ощущение времени в себе самом! Нет, все же ты сейчас не имеешь права спать, сказал он себе, тебе так хорошо, спокойно, и — уснул.
...Ему виделось огромное ромашковое поле, нет, не поле, луг; но почему поют не по-русски, отчего слышна испанская гитара и голос женщины не плачет, тоскуя, как у нас, а жарко зазывает, требует, дразнит?!
Как интересно, ромашки, луг, необозримость русского простора и песня Андалузии, которую поет невидимая женщина, поет тревожно и прекрасно, но есть в этом что-то такое, что не совмещается; не только гений и злодейство несовместимы, но ромашковый луг и эта испанка. Отчего? Мы сами строим внутри себя барьеры, ненавидим их, когда они уже построены и сделались непреодолимыми, ах, как хорошо бы разрушить все эти барьеры,

разделяющие людей, они и так слабы — сами по себе, а тут эти страшные загородки, высокие, из плохо сложенных кирпичей, заляпанных цементом, разве можно так неопрятно строить, — даже барьеры?!
А потом он услышал голос отца; на этот раз он не увидел его самого, но явственно услышал; голос остается в памяти навечно, лицо — не то, что запечатлено фотообъективом, а живое, — исчезает очень скоро, память хранит абрис образа, то, что тебе хочется сохранить в себе навечно, но все равно чаще всего ты видишь лишь свое же представление о тех, кто тебя покинул. Отец читал стихи: «Каменщик, каменщик, в фартуке белом...»
Он ведь и пел эти стихи, вспомнил Штирлиц; слуховое воспоминание родило быстрое видение: отец и Мартов, маленькие, нахохленные, сидели на диване, а Якуб Ганецкий на подоконнике; как же прекрасно они пели это на два голоса; отец и Мартов вели свое, а Ганецкий, с легким акцентом, пел, словно женщина, и даже руки на груди стискивал по-женски...
— Любовь, — шепнула Клаудиа. — Любовь моя...
Штирлиц взметнулся с кровати и сразу же посмотрел на часы: было без десяти восемь; Клаудиа стояла над ним одетая, с дорожной сумкой на плече.
— Черт! — сказал Штирлиц. — Отчего ты не разбудила меня?!
— Ты весь дергался, тебе показывали какие-то сны, ты так тревожно спал, любимый, я просто не смела тебя разбудить... Ты же сказал, что я должна уехать в восемь, у нас было четыре часа...
Он стремительно оделся:
— Я не могу везти тебя на аэродром, зелененькая... Никто не должен видеть нас вместе... Слушай, ты знаешь такого писателя из Америки, Эрнесто Хемингуэя?
— Про него говорят, что он клевещет на Испанию... Его книги запрещены у нас, я не путаю?
— Ты не путаешь, зелененькая, ах, зачем ты меня убаюкала?! Слушай, ты должна найти в Байресе дона Оссорио... До сорок третьего года он был сенатором и занимался делами нацистов в Аргентине... Ты должна сказать ему, что человек, который будет предлагать ему отправиться в Барилоче, чтобы стать на горные лыжи в фирме Отто Вальтера, — его враг, желающий ему смерти. Скажи, что тебе сказали об этом два человека: Анто-

нио, друг Хемингуэя, он живет с ним на Кубе, дружит с американцем Диком Краймером, бузинесменом, занимается туризмом... И некий Макс Брунн... Тот, которого ему рекомендовали как тренера... Скажи, что за ним охотятся... Точнее, не за ним, а за документами комиссии по антиаргентинской деятельности... Не говори с ним ни о чем дома, только на улице; а лучше на лестнице, посмотрев, нет ли кого на следующем пролете... Скажи; что в течение ближайшего месяца я прилечу к нему, и опиши ему меня. Поняла?

— Да.

— Если его уже приглашали сюда, спроси, кто был этот человек, ладно?

— Хорошо, любимый.

— Если он поинтересуется, откуда ты знаешь Антонио, друга Хемингуэя, скажи, что вы дружили в Испании... Ты умеешь говорить так, что тебе верят, зелененькая, потому что ты очень чистый человек... Скажи ему так, чтобы он непременно тебе поверил, ладно?

— Ладно, любимый... Как странно, два эти слова не стыкуются, очень разные — «ладно» и «любимый».

Штирлиц погладил ее по щеке:

— Знаешь, что такое «не может быть»?

Клаудиа покачала головой.

— Это когда твоя подруга, твоя нежность с зелеными глазами не только красива, но и умна... Слушай, зелененькая, я должен тебе сказать еще вот что, — Штирлиц выглянул в окно так, чтобы его не заметили с улицы, такси уже стояло, возле машины прогуливался, поглядывая на часы, Мануэль, его в городе знали как лихача, но машину водит отменно. — Только не пугайся, ладно? За тобой могут — это один шанс из миллиона — топать дяди и тети, наблюдая за каждым твоим шагом...

— Я знаю, как отрываться, — сказала Клаудиа. — Не волнуйся.

— Откуда ты это знаешь?

— Франко стал показывать американские картины про гангстеров, он хочет дружить с янки, делает жесты... Мы же вроде русских: все норовим выразить жестом, а не простым словом, самые религиозные нации в Европе. Я видела, как надо отрываться, это очень интересно...

— В кино все легко, ящерка... Когда ты поедешь к сенатору, остановись за углом, приготовь заранее деньги и дай их шоферу без сдачи. В машину садись, только если увидишь несколько такси, целую очередь. Если заметишь, что из машины, что шла следом, выскочит человек, — скорее всего женщина, за тобою они поставят женщин, если заподозрят, хотя не должны, сволочи, — и бросится следом, и сядет в то такси, что стояло вторым, сделай такой фокус еще раз, но попроси шофера остановить тебя возле такого места, где будет только один автомобиль. Или — если это будет очень хороший шофер, и ты поверишь ему — попроси, чтобы он оторвался от преследования, скажи, что тебя догоняет соперница или ревнивец, если следит мужчина, придумай что-нибудь.

— Любимый, я все поняла, зачем ты так долго объясняешь, лучше поцелуй меня.

Он поцеловал ее:

— Зелененькая, тебе пора, иначе ты опоздаешь на самолет... Билет на твое имя зарезервирован и оплачен, так что с этим все в порядке.

— А потом?

— Что? — не понял Штирлиц. — О чем ты?

— Я могу вернуться к тебе?

— Ты вернешься в эту же комнату. И я приду к тебе.

— И я поеду на склон?

— Не надо.

— Почему?

— Потому что те люди, которые постоянно следят за мной, увидят твои глаза. И все поймут. А этого делать нельзя.

— Хорошо, я буду ждать тебя здесь, в «Андах», Эстилиц. Поцелуй меня.

— Я буду ждать тебя.

— Я сделаю так, как ты просил. Я сделаю все, как ты просил, любовь...

— Все будет хорошо, ящерка...

— Конечно, Эстилиц...

Клаудиа вышла из номера в пять минут девятого; свояк Эронимо уже сменился; на его месте восседал Пабло Отоньес, который получал десять долларов в месяц от одного из людей дона Рикардо Баума за информацию о тех, кто здесь поселился; дона Баума заинтересовало, что женщина, прилетевшая из Мадрида вместе с туристской группой, неожиданно вылетела в Буэнос-Айрес, не показавшись на склоне, но еще больше его заинтересовало то,

что из ее же комнаты, тремя минутами позже, вышел дон Максимо Брунн...

...Через два часа информация об этом ушла Гелену: операция, убыстряющая события, началась, все идет по плану!

Первое, что сделала Клаудиа, прилетев в аэропорт Байреса, опустила — еще до выхода в зал — письмо, адресованное некой Люси Фрэн, Голливуд, «Твэнти сенчури фокс»...

«Совершенно секретно.
В одном экземпляре.
По прочтении уничтожить.

Р. Гелену

Дорогой генерал!

То, что я прошу сжечь этот документ сразу после того, как он будет Вами прочитан, станет ясно из приводимых в нем соображений ведущих политиков дружественной вам страны, которая пока еще является одной из четырех держав, осуществляющих оккупационные функции в Германии.

Поскольку мой концерн сотрудничал и впредь намерен сотрудничать с немецкими промышленными фирмами, мне хочется, чтобы наши с Вами отношения были сугубо конфиденциальными, то есть по-настоящему дружескими.

Я не знаю, какой информацией Вы располагаете, но, думаю, то, что я открываю Вам, не могло стать известно Вашей «Организации».

Человек, который вручит Вам этот документ и уничтожит его затем в Вашем присутствии, мой старый и верный сотрудник доктор Грюн, можете ему верить, как себе. Постарайтесь верно понять мою просьбу сжечь это письмо, — жизнь, увы, диктует свои жесткие правила, и чем тщательнее мы их соблюдаем, тем надежнее дружба между людьми, посвятившими себя политике и бизнесу, что, впрочем, трудно разделимо.

Итак, еще в ноябре 1944 года генерал Донован вручил покойному Рузвельту меморандум, в котором высказал свои соображения по поводу кардинальной реорганизации ОСС. Президент передал этот секретный документ директору Бюджетного Бюро Смиту.

Смысл меморандума Донована заключался в том, что

разведка США должна стать единым органом, не разорванным между военным министерством, флотом, авиацией и государственным департаментом. Главный посыл Донована формулировался таким образом, дабы именно он, а не государственный департамент, планировал внешнеполитические акции в мирное время, и делать это он должен на основании материалов новой разведывательной организации США.

После смерти Рузвельта президент Трумэн поручил Председателю Объединенного комитета начальников штабов адмиралу Леги и государственному секретарю Бирнсу высказать свои соображения по поводу меморандума Донована.

Государственный секретарь Бирнс потребовал передачи всей разведывательной службы его организации, что, понятно, вызвало неудовольствие армии, флота и авиации. Тем не менее ОСС было распущено, дебаты продолжались, хаос становился угрожающим, пока 26 января 1946 года президент Трумэн не подписал указ о создании Центральной разведывательной группы (ЦРГ); из пятидесяти девяти миллионов долларов его личного фонда двенадцать он передал ЦРГ, помимо, конечно, суммы, ассигнованных Бюджетным Бюро.

В ЦРГ начало работать всего две тысячи человек; большинство материалов Белому дому поставляла английская секретная служба, по-прежнему претендовавшая на руководство стратегией разведывательной деятельности США.

Единственным кардинальным решением, связанным с созданием ЦРГ, было одно: Федеральное бюро расследований, занимавшееся ранее разведывательной работой в Южной Америке, было отстранено от региона, и вся полнота контроля над операциями перешла в руки профессионалов от политики.

Лишь только сейчас должно быть создано Центральное разведывательное управление в рамках «Закона о национальной безопасности», который обязан подписать президент Трумэн. Молю бога, чтобы он сделал это!

Вы должны отдать себе отчет в особом статусе будущего ЦРУ. Поскольку оно станет консультировать Совет национальной безопасности, а председателем СНБ является президент, в то время как члены правительства обладают лишь совещательным голосом, то именно ЦРУ получит прямой выход на президента и вместе с ним

будет конструировать наиболее важные аспекты мировой политики, где дипломатия бессильна сказать свое слово.

Вероятно, Вы удивитесь тому, что наш друг Аллен Даллес не будет коронован директором будущего ЦРУ. Хочу поэтому, чтобы Вы знали следующее: именно Даллесу президент поручил наблюдение за работой ЦРУ; более того, он попросил, чтобы Даллес внес свои предложения, — но уже не на основании проектов, схем и доктрин, — но после изучения практики каждодневной работы сообщества профессионалов, — как следует интенсифицировать дерзкую работу политической разведки.

Могу сказать Вам, что если президент хочет видеть новое Управление совещательным органом, неким исполнительным Бюро президента, то Даллес уже сейчас настаивает на придании ЦРУ самостоятельных функций планирования всех разведывательных и ряда иных мероприятий.

До тех пор, пока Даллес не убедит Белый дом в правильности своей концепции, он не сядет в кресло директора ЦРУ, всячески содействуя тому, чтобы на первых порах Управление возглавили военные; видимо, первым директором станет генерал Хиленкоттер; он обычно исполняет все, что ему приказывает Белый дом; пусть; нас это не страшит, а радует; чем спокойнее начало, тем неожиданнее конец.

Видимо, пройдет год, а то и два, пока наш друг возглавит будущее ЦРУ.

Однако мы не имеем права сидеть сложа руки, тем более, что ЦРУ получит исключительное право работы в Латинской Америке.

Именно поэтому, дорогой друг, я и надеюсь, что Вы с Грюном уже сейчас найдете возможность обговорить наше будущее сотрудничество на этом континенте, ибо Ваши возможности в Аргентине и Чили, Венесуэле и Колумбии позволяют верить, что скоординированная совместная деятельность ИТТ и «Организации» принесут серьезные плоды на ниве борьбы за прогресс и демократию.

В свою очередь, Грюн проинформирует Вас, как ИТТ может быть полезна в Вашей деятельности в странах Восточной Европы, оказывающих мужественное сопротивление московскому диктату.

Поскольку Аллен Даллес теперь будет занят исследовательской работой по созданию проекта будущего разведы-

вательного сообщества, он поручил мне поддерживать с Вами постоянный деловой контакт.

Искренне Ваш
полковник Сос. Бен,
президент ИТТ».

«Мадрид.
Генерал-лейтенанту
А. Виго-и-Торнадо.
Строго секретно!

Мой дорогой друг!

Думаю, Вы найдете возможность проинформировать каудильо, что создаваемое президентом Центральное разведывательное управление — информация получена из первых рук — совершенно не намерено всегда и во всем поддерживать линию государственного департамента, особенно ту, что навязана русскими в Организации Объединенных Наций по отношению к Движению Фаланги.

Более того, будущее ЦРУ готово сотрудничать (речь в настоящее время идет о неофициальных контактах через мою «Организацию») с секретной службой Испании в совместной борьбе против коммунистической активности; американских коллег особенно интересует возможность опосредованных контактов на Латиноамериканском континенте.

Я был бы глубоко признателен, сообщи Вы мне о том, как Вы и Ваши друзья относитесь к этой доверительной информации.

Искренне Ваш
Верен

Мюнхен».

«Хосе Росарио,
резиденту спецслужбы
в Аргентине.
Строго секретно!

Уважаемый Росарио!

Прошу Вас в ближайшие дни подготовить мне материалы об истории коммунистической активности в Аргентине и Парагвае, а также о связях этого движения с «братской» организацией в Чили.

Документ должен быть составлен таким образом, чтобы читающий его смог:

1. Уяснить себе истоки коммунистической активности на юге Латинской Америки;

2. Понять организационную структуру красных;

3. Сделать вывод, что лишь наша служба может оказать максимальную помощь в нанесении сокрушительного удара по опорным пунктам коминтерновских агентов, одержимых мечтой о превращении Америки в вотчину московских комиссаров.

При этом документ должен быть составлен совершенно анонимно — на случай, если кто-либо решит ознакомить с ним лидеров Аргентины, Парагвая или Чили; местные службы ни в коем случае не должны понять, что мы с кем бы то ни было делимся информацией, получаемой от них конфиденциально.

Просил бы Вас ускорить сбор информации обо всех немцах, которые когда-либо жили в Никарагуа, особенно тех, что были депортированы Сомосой в США в январе 1942 года.

Во время сбора этой информации постоянно исследуйте возможность связей (даже опосредованных) между указанными выше никарагуанскими немцами и объектом, известным Вам, как «Макс Брунн».

Арриба Испания!
Генерал-лейтенант Армандо
Виго-и-Торнадо
Мадрид».

«Совершенно секретно!
Генерал-лейтенанту
А. Виго-и-Торнадо.

Ваше превосходительство!

Я бы не рискнул отправить Вам это весьма доверительное письмо, если бы не обстоятельство совершенно чрезвычайное, связанное с сеньором доном Хосе Росарио, являющимся Вашим резидентом «под крышей» руководителя «домостроительной и дорожной компании».

Право же, не честолюбивые амбиции движут мною, но лишь соображения великого испанского патриотизма, осиянного гением нашего каудильо.

Поскольку Росарио живет совершенно сепаратно от посольства и отказывается от встреч с нами, хотя ему это, — судя по имеющейся у Е. В. посла Испании инструкции, — вменено в обязанность, его действия порою носят совершенно непредсказуемый характер. Так, например, двенадцатого июня сего года он привез в свой особняк (причем этот дом до сих пор не куплен нами, а лишь арендуется у человека, не являющегося другом нынешнего режима Аргентины, а, наоборот, явного симпатизанта бывшего президента Иригойена) одного из профсоюзных активистов, подозревавшихся в связях с коммунистической организацией.

Назавтра при вывозе из особняка тела этого активиста (в 1937 году принимал участие в путче на стороне «республиканцев» в составе бандитских соединений, именовавшихся «интернациональными бригадами») наряд полиции случайно остановил машину, в которой была обнаружена улика.

Поскольку Росарио не контактирует с местной секретной службой (или делает это лишь в крайних случаях), Е. В. посол Испании был вынужден трижды встречаться с помощником президента полковником Гутиересом, чтобы закрыть дело.

Поскольку ныне Вы соизволили поставить и перед нашими службами задачи, связанные с возможностью налаживания отношений с рядом государств, занимавших ранее недальновидную политику, навязанную русскими, по отношению к Испании, просил бы Вас дать соответствующие указания сеньору дону Росарио.

Арриба Испания!
Сердечно Ваш,
Пабло-Игнасио
Кастильяно,
Чрезвычайный и полномочный министр,
Посланник Испании в Аргентине».

«Х. Росарио.
Секретно!

Росарио!

С сегодняшнего дня Вам запрещается пользоваться транспортом посольства.

Я санкционирую аренду такси; все счета будут оплачены.

Контакты с посольством прервать.

Работать совершенно самостоятельно.

Всю ответственность за решения несете лично Вы.

Арриба Испания!
Виго-и-Торнадо».

«Мадрид.
Генерал-лейтенанту
А. Виго-и-Торнадо.
Строго секретно!

Ваше превосходительство!

Конечно же, все Ваши указания будут непременно мною выполнены, начиная с завтрашнего дня; прошу Вашей санкции на то, чтобы такси было не арендовано, а приобретено в нашу собственность, ибо аренда невыгодна для финансов управления, тогда как по прошествии времени такси можно продать, потеряв при этом совершенно незначительную сумму.

Поверьте, я пользовался машинами посольства лишь в самых редких случаях, вызванных оперативной необходимостью.

Именно во время той комбинации, когда посланник Кастильяно ополчился на меня и, как чувствую, отправил Вам письмо, в котором факты были умышленно сфальсифицированы, я смог получить крайне важную информацию о том, что Белый дом готовит проведение Конференции стран Латинской Америки, чтобы провозгласить эту зону бастионом антикоммунистической борьбы. Я продолжаю работу, чтобы выяснить, какая именно страна выбрана для этой цели и кто персонально будет готовить доклады для конференции. Полагаю, мы бы смогли подсказать ряду дружественных нам лидеров на континенте такие идеи, которые бы свели на нет ту отвратительную пропагандистскую шумиху, поднятую русскими в ООН против нашей страны и ее великого каудильо, генералиссимуса Франко. Думаю, такого рода комбинация понудит руководителей западных, так называемых «демократических» стран типа Франции, Канады и Голландии вернуть своих послов в Мадрид.

Думаю, эта конференция, активно антикоммунистическая по своей сути, докажет всему миру последовательную правоту Испании в ее мужественном сражении против мирового большевизма и интернационализма.

Именно в этом направлении я сейчас и веду работу, чтобы повестка дня предстоящей межамериканской конференции была открыто тенденциозной.

Просил бы Вас — если, конечно, Вы сочтете нужным — проинформировать об этом наших немецких друзей.

И, наконец, последнее. Мне совестно занимать Ваше

драгоценное время пустяками, но финансовое управление не разрешит сохранить оклад содержания моему помощнику по оперативной работе, которого я намерен оформить шофером такси. Человек, прошедший фронт, получивший образование в спецшколе гестапо, офицер службы безопасности, не может получать оклад шофера. Но, увы, в финансовом управлении еще встречаются малокомпетентные люди, — Ваше слово будет для них приказом.

Арриба Испания!
Сердечно Ваш Хосе Росарио».

«Х. Росарио.
Строго секретно!

Росарио!

Срочно включитесь в операцию по объекту «Брунн», запланированную в Буэнос-Айресе на сегодня; сообщение наших коллег из «Организации» по поводу этого дела пересылаю вместе с телеграммой.

Операция должна быть проведена крайне аккуратно, абсолютно конспиративно; человек «Брунна» должен быть перевербован, а сенатор Оссорио скомпрометирован контактом с посланцем «объекта».

Об исполнении доложить немедленно.

Аргентинские друзья об этом не должны знать.

В случае неожиданного подключения людей д-ра Блюма немедленно снеситесь со мной.

Виго-и-Торнадо».

КРИСТИНА, ОСЛО, 1947

Ощущение пустоты было теперь постоянным. Каждое утро — за мгновение перед тем, как проснуться, — Криста опускала руку на то место, где должно было быть сердце Роумэна, ощущала больничный холод крахмальной наволочки, вскидывалась с подушки и, не открывая еще глаз, кричала в пустую квартиру:

— Пол!

Только услыхав его имя, произнесенное ею, спящей еще, она открывала глаза, садилась на кровати и сразу же тянулась за сигаретой, хотя обещала Роумэну, что никогда не будет курить натощак.

Она всегда помнила их последний с Полом день; он

тогда вернулся совершенно раздавленный, поседевший — голова совсем белая, а не сивая, как раньше, какая сила была в этой его сивой шевелюре, в седине больше мудрости и отстранения, — пригласил ее поужинать, увез в маленький мотель, показав глазами в зеркальце старенького «фордика» на две фары, упершиеся в их номерной знак: она молча кивнула, положив руку на его ледяные пальцы, сжимавшие руль.

— Знаешь, все время полета я читал Библию, — говорил он тогда. — Там есть прекрасная фраза: «Бог есть любовь», кажется, у апостола Иоанна. Он выводит это из того, как Христос восходил на Голгофу, любовь чужда насилию, диктату, она тиха, полна ожидания, причем ожидания сострадающего... Тогда я впервые по-настоящему подумал, что любовь немыслима без свободы. Кстати, первым мне об этом сказал Брунн, тогда я не придал значения его словам, а в самолете начал тщательно просматривать Библию и открыл для себя, что о свободе, о праве личности на собственную мысль там ничего не написано... Наоборот, когда я заново читал главу про Адама, то не мог не прийти к выводу: он рискнул посчитать себя свободным, подчинился собственному желанию, не заставил себя соотносить чувство с суровыми канонами творения и за это был проклят и изгнан... Первый п а д ш и й мужчина, отринутый от бога за то, что посмел не таить свою любовь к женщине Еве...

Она тогда еще крепче сжала его пальцы, шепнула:

— Хочешь, я подую на каждый палец? Они у тебя как ледышки...

— Нет, не поможет. Это у меня должно случиться само, я согреюсь, когда чуть успокоюсь, — ответил Роумэн. — Не надо, конопушка... Меня не оставляет страшное чувство, что мир мстит счастливым. Правда... Как страшно: высший трагизм религии заключается в таинстве расстояния... Чем дальше мы от того, что было девятнадцать веков тому назад, тем неразгаданнее становится начало... Ведь то, что едино, нет смысла вязать морским узлом, правда же? А всякая связь есть желание преодолеть разрыв...

— Мне очень часто кажется, что все происходящее у нас с тобой уже было.

— И мне так кажется, любовь. Только я не помню, чем все кончилось в тот, первый раз, много веков назад, когда у нас с тобою только начиналось...

— Ну их всех к черту, родной, а? Давай поставим на всем точку?

И тогда он, обведя глазами приборный щиток машины, тихо, но так, чтобы его слова можно было записать, если в машину в о т к н у л и микрофон, ответил:

— Ее поставили за нас, конопушка. Нашей свободой распорядились по-своему. Остается принимать те правила, которые нам навязаны.

— Ты не мо...

Он сжал тогда ее пальцы, еще раз показал глазами на щиток и вздохнул:

— Я теперь не могу ничего. Ровным счетом ничего. Понимаешь? Ни-че-го...

Мотель находился на берегу океана, неподалеку от того места, куда Грегори привозил Элизабет с мальчишками купаться; кухня была отвратительная, кусок мяса и овощи, зато можно было сесть у самой кромки прибоя и, не опасаясь п о д с л у х а, говорить то, что нельзя ни в одном другом месте на земле; там Роумэн и предложил Кристе г л у б и н н у ю игру; я начну пить, изменять тебе, опускаться... «Изменять по-настоящему?» Она тогда не смогла удержаться от этого вопроса, кляла себя потом, как можно говорить ему такое, это же о н, Пол, ее любимый и единственный, неужели бабья ревнивая дурь столь неистребима в дочерях Евы?! «Ты сможешь вынести все это?» — спросил он тогда. «Смогу», — ответила она и теперь кляла себя за этот ответ.

...Криста поднялась с кровати, прошлепала босыми ногами по толстым, проолифенным доскам на кухню, — оформила ее точно так, как у Пола в Мадриде, — поставила воду на электрическую плитку, достала настоящий кофе (после того, как ей уплатили деньги за дом, можно было пользоваться рынком, там продавали все, какой-то пир во время чумы), сварила себе маленькую чашечку тягучей, темно-коричневой, вязнущей в зубах жидкости, сделала два глотка и сразу же почувствовала, как сердце начало биться; раньше она его вообще не ощущала.

Зачем я сказала ему тогда, что смогу? В любви необходимо быть точным. Я должна была представить себе весь этот ужас расставания, страх, постоянный страх, что с ним там случилось, он один, без меня, кто поможет ему, кто закроет его, если в лицо ему наведут револьвер?

Криста заплакала; она всегда плакала беззвучно, только спина тряслась и лились слезы, неутешные, как у ма-

ленькой девочки; она помнила свое детское впечатление (чем чище человек, утверждал Пол, тем больше он помнит свое детство), когда соседская Герда, ей было, кажется, четыре годика, каждое утро, просыпаясь, начинала плакать в голос, вой какой-то; папа тогда сказал Кристе: «Видишь, как это некрасиво голосить? Это она так привлекает к себе внимание, вырастет, боюсь, будет нехорошим человеком».

А вдруг это не игра, а у Пола настоящий инфаркт, подумала она. Телеграмма Элизабет такая тревожная, в ней столько отчаяния... А ты хочешь, возразила она себе, чтобы сестричка сделала приписку: «Игра развивается как надо, все хорошо, мы их дурачим»?!

Ох, боже мой, ну и катавасия, ну и путаница, за что нам все это?!

Я мечтаю только об одном: купить билет и вылететь первым же рейсом к нему, и быть подле, это такое счастье видеть его лицо, целовать его ледяные пальцы, указательный весь желтый от его «лаки страйк», как это элегантно, что он курит солдатские сигареты, даже в том, что они у него крошатся, есть какой-то затаенный, истинно мужской, очень достойный шик.

А что, если его отравят в этой чертовой больнице?!

Эта мысль была до того невыносима, что Криста сняла трубку телефона; сейчас закажу Голливуд, ну их всех к черту, прилечу к Элизабет и заберу Пола сюда, дальше такое невозможно...

Положи трубку, сказала она себе, если ты хочешь потерять мужчину, которого любишь больше жизни, который твоя гордость, поступай так, как подсказывает чувство; если же ты мечтаешь быть с ним столько, сколько определил господь, руководствуйся рассудком. Такие, как Пол, не любят истерики и бабства, потому что слишком высоко чтут женщину, которой преданы. Это слабым мужчинам нравится, когда женщина «ведет корабль», приняв на себя тяжкое бремя ответственных решений; какой ужас; нет ничего страшнее матриархата; мужчина для того и создан господом, чтобы мы имели право ощущать свою женственность...

...Кристина надела свой самый любимый толстый джемпер, спортивные брюки, башмаки на толстой подошве, сложила тетради в сумку, забросила ее за спину, спустилась вниз, выкатила из-под навеса, что стоял рядом с домом, велосипед и отправилась в университет...

Бедненький Пауль, подумала она о своем коллеге; докторант; влюблен; приглашает в кино; как это горько обманывать его, играя какое-то подобие чувства... Я объясню ему все позже, перед тем, как уеду, он должен понять, он чистый человек, такие добры сердцем.

В университете Кристина сразу же отправилась в библиотеку; Пол просил ее проработать — в свободное время — азы атомной физики, нам это пригодится: «Изо всех нас ты одна умная, конопушка, мы болтуны и шпионы, а ты магистр, который может посчитать уравнение, я же вспоминаю об этом с трепетом и ужасом, для меня нет ничего страшнее математики».

Криста снова увидела Пола, когда он говорил эти слова; поразительно, его лицо как-то совершенно особенно соответствовало тем именно словам, которые он произносил; когда он шутил, оно у него было серьезным, даже чуть скорбным; если говорил очень серьезные вещи, то обычно весело улыбался, сохраняя обычную снисходительность к самому себе; только когда гладил ее по щеке и по с ы п у ч и м волосам, скрывавшим лицо, его глаза были полны нежности и тревожного покоя...

Кристина улыбнулась, оттого что Пол сейчас был совсем рядом; господи, как же я хочу, чтобы он стоял у меня за спиной; я постоянно ощущаю его тепло; я сразу согревалась, как только он клал руку мне на лоб...

Кристина закурила сигарету, поклявшись, что третью, последнюю, выкурит лишь дома, перед сном, и начала записывать то, о чем просил Пол: «Каждый должен понять, что такое этот чертов атом, — говорил он, — каков к нему путь, какие ученые могут быть экспертами и какие специалисты должны быть компетентны в его производстве. Это пригодится, конопушка, это может сыграть при самых невероятных обстоятельствах»...

«Что такое вещество?» — Криста начала работу с этой простой фразы, он же просил сделать так, чтобы понимали даже свинопасы, впрочем, простота угодна и гениям, слишком красиво пишут те, кому нечего сказать.

Криста снова увидела лицо Пола; склонившись над ней, он улыбался, и от него пахло его «лаки страйк» и сухим лосьоном, которым он протирал щеки и подбородок после бритья; похоже на сушеные яблоки, прекрасный запах.

«А что такое «изолированная система», конопушка? Разведка? Банк? Наша демократия?»

Криста вздохнула и продолжила выводить своим быстрым, очень четким почерком: «изолированная система» есть совокупность предметов, которые никак не взаимодействуют с другими предметами, не входящими в эту совокупность...

Кристина взглянула на часы — пора давать телеграмму, время, — если всерьез говорить о тайне атома, о том, кто втянут в увлекательнейший поиск его глубинного, еще не понятого секрета, то, видимо, надо назвать химиков-теоретиков, физиков самого широкого профиля, а в промышленности — фирмы, связанные в первую очередь с жаропрочностью, энергетикой, радиологией, медициной (рентгенология).

Кристина закрыла тетрадку, подумав: «А если ты, моя любовь, хочешь подойти к этому узлу самым близким путем, тогда мы займемся фирмами, которые поставляют пленку для ваших паршивых ковбойских фильмов! Вот как ловко я тебя раскусила, какой же ты хитренький, Пол, оберегаешь меня от твоего знания! Ты прав, связь необходима лишь после того, как был разрыв».

На центральном телеграфе она заполнила бланк очень быстро, текст был выучен наизусть. «Дорогая Элизабет зпт очень сожалею болезни Пола зпт чем я могу помочь вопр если нужны деньги назови сумму зпт Криста».

Около подъезда ее ждал Пауль, он обещал пригласить ее сегодня на «Девушку моей мечты», последний фильм третьего рейха, — комедию снимали в те дни, когда союзники крушили немецкие города, а на экране девочки дрыгают ножками; говорят, актрисам давали дополнительную порцию маргарина, чтобы не выглядели тощими — пиршество во время пожарищ и смертей...

— Выпьем кофе? — спросила Кристина. — Или надо бежать, опаздываем?

— Я бы не отказался от чашечки кофе, магистр, — ответил Пауль.

— Что ж, выпьем кофе.

Однако выпить кофе им не пришлось: под дверь была подсунута телеграмма в траурном ободке.

Увидав этот жирный, черный ободок, Кристина медленно осела на пол, потеряв сознание.

РОУМЭН, ГОЛЛИВУД, 1947

Клиника доктора Рабиновича была маленькой, всего два этажа; внизу лежали выздоравливающие, на втором этаже операционная и две палаты реанимации; Роумэн лежал в той, что была ближе к операционной.

— Честно говоря, я не знал, что ваш друг такая важная персона, — сказал Рабинович раздраженно, отодвинул от себя большой, старомодный телефонный аппарат. — Вы-то знали это, Спарк? Звонили из трех газет, все как один интересуются его здоровьем.

Спарк и Элизабет переглянулись:

— Он начал работать с режиссером Гриссаром, — задумчиво сказала Элизабет, — они затеяли какое-то суперкино, может быть, тот рассказал им о трагедии?

— Роумэн не сможет делать никакого кино... Я не знал, что отвечать прессе, пока вы не приехали... Пошли к нему, я позволяю навещать пациента в любом состоянии, допинг радости — лучшая фармакология...

В большой палате возле Роумэна сидела толстая негритянка в зеленом халате; увидев доктора, сразу же поднялась.

— Вы свободны, миссис Диббс, — сказал Рабинович. — Это друзья больного.

Когда сестра вышла, Рабинович вытащил из носа Роумэна тоненькие кислородные датчики, отключил капельницу, из которой в вену шел физиологический раствор, и тихонько рассмеялся:

— Все, люди. Здесь-то вас никто не услышит, к делу Пола я подшил кардиограмму Лависа, у того третий инфаркт, так что с этим все в порядке, камуфляж абсолютен.

Пол сел на кровати, кивнул на дверь:

— Сюда ненароком кто-нибудь не ворвется?

— Нет, — ответил Рабинович, — у меня штат вышколен.

— А если начнет помирать этот ваш Лавис?

Доктор смешливо почесал кончик носа:

— В вопросе есть резон, Пол. Я продумаю это дело, надо будет вмонтировать кнопку в дверь, поставлю пневматику, пройдет полминуты, пока створки распахнутся, так что лучше, ляг, и я воткну тебе в нос кислород, Лавис действительно может помереть с минуты на минуту.

— Пусть живет. А я пока полежу, — усмехнулся

Пол, — хотя эти игры стоят мне поперек горла. Ты совершенно убежден, что здесь ничего не всунули мальчики Макайра?

Рабинович развел руками:

— Погляди сам: куда они могли что воткнуть? Я даже штепсели отсюда перенес в операционную, когда Грегори сказал, что инфаркт ты будешь играть у меня... И потом, в клинику никто из посторонних не входит... Нет, Пол, это уже психоз, нельзя постоянно оглядываться на собственную тень.

— Умница, — сказал Пол, сунул в нос тоненькие резиновые шланги, — щекотно, черт возьми. А вообще кислородом дышать приятно, ощущаешь легкое опьянение, но по-хорошему... Ты иди, Эд, пускай возле тела побудут близкие, нам надо побыть вместе минут пятнадцать...

— Заговорщики, — Рабинович усмехнулся, — шепчитесь, черти... Я зайду через двадцать минут, пока займусь твоей дверью.

— Моей не надо, — заметил Роумэн. — Займись дверями в операционной, это в порядке вещей, не будет бросаться в глаза... журналистам, которые так интересуются моей персоной... Они-то как раз и могут войти сюда без стука, так что подключай эту чертову капельницу.

Рабинович покачал головой:

— У тебя вместо головы счетчик, тебе не холодно жить на свете, зная заранее, что произойдет?

— Наоборот, жарко: знание предполагает избыточность движений, вот в чем вся штука.

Рабинович снова пустил капельницу, заметив:

— Тебе, кстати, это не помешает, ты *играл* всерьез, надо промыть кровь, алкоголь бьет по сосудам в первую очередь. Значит, сначала я закажу пневматику в операционной, а потом уже у тебя, я верно понял?

— Ты гений, — ответил Спарк. — Понимаешь все с полуслова.

Рабинович снял очки, лицо его сделалось совершенно беззащитным, диоптрия минус восемь, глаза пепельные, в опушке длинных, девичьих ресниц.

Остановившись возле двери, он обернулся к Роумэну:

— Ты помнишь, что тебе надо играть оптимистический истеризм и хамство?

— Мне это и играть-то не надо, — вздохнул Роумэн. — Это моя сущность... Пошел вон, чертов эскулап...

Элизабет вздохнула:

— Дорогие мои, я никогда не могла предположить, что вы способны на такие длительные игрища! Как не стыдно! Отчего вы меня не посвятили в дело с самого начала?!

— Ты бы все провалила, — ответил Спарк.

— Не сердись, сестричка, — сказал Роумэн. — Мы с Грегори старые волки, нам не впервой, а тебя такая игра могла поломать. Слава богу, что Спарк встретил Рабиновича, это лучший выход, и прекрасно, что макайры вчера успели оборудовать в «Президенте» вчерашний стол — понятны звонки *журналистов*... Они скоро явятся сюда, вот увидишь... И это будет очередная ошибка Макайра... Теперь по делу, люди. Из Барилоче я получил очень важную информацию, это — раз. Джек Эр — в случае чего знает, что ему делать. Это — два. Все, люди, идите. И навещайте меня по очереди. И пусть Элизабет не забывает приносить соки... Позвони двум-трем подругам, расскажи, что мины рвутся рядом, умирает одногодок Грегори, вот они, незарубцевавшиеся раны войны... Письмо Кристе тебе поможет написать Грегори... И всегда помни, сестра, твой дом нашпигован *подслушниками*... Только когда Макайр... Нет, не так, — Роумэн потер лицо пятерней, — только *если* Макайр поверит, что мне каюк, он оставит вас в покое... И пилий Грегори, все время говори ему, как надо беречь здоровье: «Смотри, что стало с бедным Полом, у нас все есть, мы обеспечены на пять лет вперед, не надрывайся на своей паршивой студии, экономь время, ты нужен детям, что я буду делать одна?..»

— Фу, как противно! — сказала Элизабет. — Я никогда не смогу так говорить.

— Придумай, как можешь, — усмехнулся Спарк. — Ты порою бываешь невыносима, вот и зуди, вечером поедем купаться, все продумаем на пляже, срежиссируем, чтобы не было ляпов...

— Да уж, — попросил Роумэн, — не подкачайте, ребята...

Когда Спарки ушли, он откинулся на подушку, увидел перед собою веснушки Кристы и сладко уснул.

...Океан был тугим и ревущим, хотя ветер стих еще утром; зеленая мощь воды медленно вываливала самое себя

на песок; пронзительно кричали чайки; тихо шелестела листва высоких пальм — блаженство.

Спарк разделся первым, взял Питера и Пола, мальчишки обвили его шею цепкими ручонками, и они вошли в воду.

— Осторожно, Спарк! — крикнула Элизабет. — Что-то чайки слишком громко кричат...

— А ты слышала, чтоб они кричали тихо? — Спарк раздраженно пожал плечами, потому что рядом с ними пристроилась парочка; вышли из машины, припарковавшись через три минуты после того, как Грегори притормозил; появились как из-под земли; п а с у т.

— Не сердись, милый, — ответила Элизабет, направляясь следом за ним. — Я понимаю, каково тебе, но и я не нахожу себе места...

— А Пол умрет? — спросил младший, названный в честь Роумэна Полом.

— Не говори ерунды, — рассердился Спарк, хотя понял, что его слова соседям не слышны.

Прижав к себе мальчиков еще теснее, — после того, как их вернули домой, когда Роумэн сдался, — постоянное ощущение тревоги за детей жило в нем каждую минуту; днем, когда он сидел на студии и разбирал с режиссером и актерами мизансцену, ему виделись страшные картины; бросив коллег, Спарк мчался к телефону, набирал номер негнущимся пальцем, ощущая, как внутри все ухает, и кровь тяжело молотит в висках, слышал ровный голос Элизабет, визг Пола, моментально успокаивался, возвращался работать; однако по прошествии часа, а то и меньше его снова начинало мучить кошмарное видение: пустой дом, тишина, могила какая-то, зачем жить, если мальчиков нет рядом?! По ночам его терзали кошмары, он страшно кричал, не в силах разорвать душный обод сна, Элизабет трясла его за плечо, он бежал в ванную комнату, пускал воду; с м ы в а л дурной сон с кончиков пальцев сильной струей воды, свято верил, что это помогает, — то, что привиделось, ни в коем случае не сбудется, если только вовремя смыть ужас, — уснуть больше не мог, пил самый крепкий кофе, какой только можно заварить, чтобы на студии не клевать носом; деньги платят тем, кто активен, сонных увольняют и, в общем-то, правильно делают, прогресс двигают моторные люди, им и карты в руки. Иногда, возвращаясь домой, он боялся открыть дверь, если не слышал голосов; однажды приехал не в семь, как обычно, а в пять, оттого что разламывалась голова; ни Элизабет, ни мальчиков дома не было; полчаса он метался по комнатам, стараясь найти следы насилия, записку, какой-нибудь знак беды; не выдержал, позвонил в полицию; через шесть минут приехали п а р н и; через десять минут вернулась Элизабет с мальчиками — уезжала в магазин, пятница, надо сделать закупки на уик-энд.

После этого случая Спарк впервые подумал о враче, так дальше нельзя, постоянное ожидание ужаса, можно сойти с ума, или порвется сердце, как тогда жить Элизабет, что она может, кроме как растить мальчиков и любить меня?!

Спарк понимал, что к любому врачу идти нельзя, только к другу, которому веришь; начал листать старые записные книжки, натолкнулся на фамилию Рабиновича, сразу же вспомнил человека с беззащитными, детскими глазами; правда, в очках он был другим, лицо становилось надменным и даже чуточку жестоким; на фронте, под Арденнами, потеряв очки, чуть не угодил в плен к немцам, расстреляли б в одночасье, слишком типичное лицо, — с карикатур гитлеровского «Штюрмера». «Все-таки я убежал, — веселился Рабинович, — а меня за это наградили «Медалью за храбрость», смешно, отличают тех, кто лихо бегает; про то, как он оперировал под бомбами, не рассказывал, об этом написали в «Лос-Анджелес тайм», с тех пор его практика стала широкой, ветераны лечились только у него, даже те, которые не очень-то жаловали евреев.

К нему-то и пошел Спарк; напомнил, как до войны они, еще учась в колледжах, принимали участие в соревнованиях по бегу, рассказал о тех, кто вернулся, кто погиб, поинтересовался, не помнит ли доктор Роумэна; «А, это такой здоровый, он еще ломался пополам, когда смеялся, да?» — «Точно, у вас хорошая память, он сейчас в «Юниверсал», совершенно сдало сердце, а вот я потихоньку схожу с ума».

Рабинович пригласил своего психиатра, во время беседы Спарка с врачом ни разу не перебил, молча наблюдал за тем, как коллега выписывал успокаивающие средства, а потом, когда они остались одни, заметил:

— Не вздумай принимать эту муру, Спарк. У тебя шок, понимаешь? И пилюлями тут не поможешь. Только ты сам можешь себя вылечить. Ты рассказал мне все,

кроме того изначалия, которое родило в тебе страх за детей. Объясни все, тогда я дам тебе разумный совет. Кардиолог обязан быть психиатром, потому что многие сердечники после инфаркта становятся тюфяками, чашкой пореджа, дребезжащими трусами... А до того, как стукнуло, были орлами, от моих советов отмахивались: «Бросьте пугать, доктор, жизнь дана, чтобы гудеть», и все такое прочее... А как прижало, так сразу прижимают уши... А другие — таких, правда, меньшинство, — наоборот, пускаются во все тяжкие, все равно, мол, помирать... И к первому и ко второму типу нужны свои ключи... У тебя была какая-то трагедия с детьми?

Спарк внимательно оглядел кабинет Рабиновича, его лицо, руки — он был убежден, что в руках человека сокрыт характер не меньше, чем в глазах и мочках ушей, — вспомнил слова Роумэна, что о похищении никому нельзя говорить; надо лечь на грунт; полная пассивность; игра со всеми; только это гарантирует нас от горя; бить можно лишь в том случае, когда на руках полный покер; силе противопоставима только сила, закон баланса, ничего не попишешь...

— Мальчиков похищали, Эд, — тихо сказал Спарк.

— Кто? Маньяки?

— Нет, вполне нормальные люди. Деловые, воспитанные, весьма корректные... Если бы мой друг не сделал то, чего от меня требовали, эти корректные люди пообещали убить ребят — сначала Питера, а потом Пола, так у них принято.

— Мафия, — понял Рабинович. — «Коза ностра»... С тех пор ты и маешься?

— Да.

— Твой друг выполнил их условия?

— Да.

— Они были удовлетворены этим?

— Иначе они вряд ли бы вернули мальчишек.

— Это все?

И после долгой паузы Спарк ответил:

— Да.

Он не мог, у него просто язык не поворачивался рассказывать Рабиновичу, хоть он и славный парень, таким можно верить, о той беседе с Роумэном, когда он прилетел в Голливуд, раздавленный и смятый Макайром.

«Они всё знают об эпизоде в Лиссабоне, — сказал он, — всё, Грегори. И я согласился на капитуляцию, не только из-за мафиози, но и потому, что Макайр прижал меня: «Будешь рыпаться, Спарк загремит под суд вместе с твоей любимой». Так что все зависит от тебя: либо я буду продолжать схватку, либо действительно на всем надо ставить крест». — «Что твой Штирлиц?» — спросил тогда Спарк. «Он продолжает свое дело». — «Веришь в то, что может что-то получиться?» — «Да». — «В каком направлении он пошел?» — «Намерен войти в бизнес, оттуда начать осматриваться, я жду от него известия, связь оговорена, через «Твэнти сенчури фокс», твоя Люси Фрэн, «заявки» от «Экспериманта синема». — «Что может опрокинуть Макайра? Если, — Спарк горько усмехнулся, — его вообще может хоть что-то опрокинуть...» — «Информация и доказательства. Такие, которых нет ни у кого. Для этого использовать работу Штирлица, мои выходы на мафию, ну, конечно, твою помощь... Ты волен решать — останешься или отходишь, любой твой ответ не повлияет на наши отношения, брат». — «Я стал дико, по-животному бояться за мальчиков, Пол». — «Я понимаю. Значит, мы будем работать вдвоем с Кристой. Давай продумаем достойную мотивировку для нашей ссоры, я не в обиде, я согласен с твоим доводом, это по-мужски». — «Я не смогу так, Пол. Я просто сказал тебе, как мне худо. Но я не отойду. Нет, не отойду. Только расскажи мне про свой план: весь, с самого начала и до конца. Планировать надо вместе». — «Грегори, подумай. Посоветуйся с сестричкой. Я не тороплю тебя. Но во всех случаях мой план начинается с того, что я пускаюсь во все тяжкие, — я сломан, я начал пить, путаться с женщинами, мне необходим мотивированный разрыв с Кристой, я должен буду показать, что дошел до предела падения... Это первая фаза. Если я буду убедителен, Макайр снимет с меня наблюдение. С тебя, понятно, тоже. Криста и Джек Эр занимаются нашим делом в Европе, Штирлиц на юге, а я — здесь, через мафию... Если, конечно, удастся. Я кладу на все про все год. Если в течение года я не получу такую информацию, которая заинтересует сенатскую оппозицию и ту прессу, которая хочет повалить Трумэна, я кончаю предприятие. Раз и навсегда. Надежда останется только одна: на время, в нем реализуются и разумные эволюции и темные бунты».

— Скажи мне, — спросил Рабинович, — а когда тебе

особенно худо? В солнечные дни или же если моросит дождь и небо обложено тучами?

— Почему тебя это интересует?! — удивился Спарк, отчетливо вспомнив, что самые дурные предчувствия, когда он не находит себе места, случаются с ним именно в сумрачные дни или же накануне резкой перемены погоды.

— Мой вопрос целесообразен, судя по твоей па него реакции, — заметил Рабинович.

— Вообще-то, действительно, когда погода у нас хорошая, я в полном порядке.

— Значит, давай уговоримся о главном: психически ты абсолютно здоров. Ты б у г а й, понимаешь? Ты здоров, как бугай... У тебя есть симптомы неадекватной реакции, но это пустяки, я дам тебе ряд советов, и все войдет в норму.

Продолжение следует

ПОЭТИЧЕСКИЙ ГЛОБУС

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

ПЕСНЬ О РЕВОЛЮЦИИ

Любомир ЛЕВЧЕВ

ПЕРВЫЙ

И ранний луч, и голос первой
птицы
рассвету и поре весенней нужен,
вот так и первая любовь ветвится
в твоей душе,
как сладостные узы.
Первопроходец
важен в каждом
деле —
подвижнически
первый
человек!
Неторенные тропы он проверит,
оплатит кровью истину навек,
сквозь бурю мчится он.
Сквозь ураган Эпохи!
Бывает, что, не ведая о том.
Велик, бесспорен,
как пример высокий,

для всех...

когда почиет
вечным сном.
А он живой нам нужен

в дней
потоке.
Как звезды путеводные,
лучист!
Ищи его на улице Тревоги.
В себе
при слове чести — коммунист.

ВРЕМЯ — ЭТО НАДЕЖДА

Время — это надежда!
Время,
в котором дышится нам так привольно.
Строители волнорезов,
вы-то меня поймете.

В нокдауне жестком боксеры,
вы-то меня поймете.

И партизаны в болотах тропических, в джунглях.
И все
мужчины,
мобилизованные великой нашей идеей...
Отлично меня понимают.
Нещадно мучила меня потребность
в немногом времени
(как в точке надежды).
Ста лет хватило б.
Иль, по крайней мере,
семи,
но богоравных дней.
Был должен сотворить я мир
невиданный, неповторимый —
багряный
и желанный мир,
где только б истина гласила.

...Тогда и уловил я сходство
своей судьбы — с календарем!
Сосредоточась,
присмотрелся —
календарем вишу
в бараке бригадирском,
как бы раскрыт себе навстречу.
Перелистал себя.
Обычен я во всем.
И, как у вас, —
чернеют даты будней,
алеют праздничные дни.
И каждый лист — по дням —
удобно перфорирован:
мол, «как пройду, то отрываем
легко,
чтоб кануть...» —
как у вас.
...И вот почувствовал я остро,
что изготовлен до числа
с пометкой о величье человеческом:

12 июля
Погиб Эмил Марков...
13 июля
Родился Джордано Бруно...
14 июля
День строителя.
Разрушена Бастилия...
15 июля
Родился Харменс ван Рейн Рембрандт.
Основана компартия
Японии...
Да!
Сущность наша тут — как на ладони.
Здесь отпечатан жизни смысл.
Не правда ль?

Но я не в шутку сердцем ощутил,
что там, на отрывных листках
летящих дней,
еще другое запечатлено —
с нажимом слабым
означенная

шариковой ручкой
либо огрызочком карандаша
символика житейской прозы:
Июль, 12-е
Хлеб.
Июль, 13-е
Взнос за детский сад.
Копирка.
Попросить взаймы.
Билет...
Июль, 14-е
Оставлю ключ под ковриком у двери!
Июль, 15-е
. . . .

Обычностью значительные дни.
Как нашего частицы бытия.
В них наши судьбы...
и — История в движенье!
К чему я вдруг представился календарем?
Зачем растрачиваюсь посекундно?
Не потому ль,
что время суть надежда!
Поэтому во время превращаюсь.
И, временем становясь, утверждаюсь
в своей исключительной необходимости.
Для того чтоб заводы строить.
Для того чтоб каналы прокладывать.
И везде довести до конца дело правды.
И протянуть вам вот эти стихи,
как руку
в мозолях, но верную руку.
Я,
чернорабочий
завода всеобщей надежды.

Борислав ГЕРОНТИЕВ

ПЕСНЬ О РЕВОЛЮЦИИ

В былом — революции яркое пламя.
Но песнь не покинула нас.

Ты, песня, —
родник ее вечный и знамя, —
и голос трудящихся масс.

Степь не оглушает ни красных, ни белых
атаки — взрывною волной.
Но эхо вскипающих кровью расстрелов
не молкнет порою ночной.

И вновь раздается, все проникновенней,
средь песен о славе побед:
«Не хочется думать о смерти, поверь мне,
в шестнадцать мальчишеских лет!»

А ветер гуляет, ковыль пригибает
в бескрайнем просторе степей.
Шестнадцатилетний боец погибает
в битве за счастье людей.

Давно миновали те грозные годы,
но песня — как сердце в груди:
и в хоре победном,
и в марше походном
мальчишеский голос звучи!

Сегодня,
в эпоху великих свершений,
как память, вперед нас веди:
«Мы — мирные люди, но наш бронепоезд
стоит на запасном пути».

Богомил РАЙНОВ

ОКТЯБРЬ

Октябрь любим влюбленными: они
бредут по парку в тихой полумгле,
в унынье от сердечного страданья
и думают о том, как быстры дни,
о золоте осеннем на земле,
о милой, не пришедшей на свиданье.

Октябрьская пора чарует гимназисток,
которые, цветы в альбомчик собирая,
ждут, что вот-вот появится герой:
«Конец экзаменам! — провозгласит, неистов. —
В чернилах руку дай мне, дорогая,
пойдем по жизни рядом, ангел мой!»

Октябрь,
в любви к тебе я неизменен
но ты мне дорог не листвой осенней
и не луною, вмерзшей в небосклон...
Я знаю:
за тобой повсюду Ленин
в дыханье пламенеющих знамен.

Мне представляются Москва
и Петроград тех дней рабочей воли,
и подвиг совершающий матрос,
и площадь под обстрелом пулемета,
и в Смольном неустанная работа,
стрельба в ночи и полыханье звезд.

Льет дождь.
И пар клубится над бушлатами.
Под ветром проводов рокочут струны.
Широкая Нева мутнеет и бурлит.
А Ленин,
в стареньком пальто залатанном,
о новой жизни говорит с трибуны,
и в полной тишине лишь дождь шумит.

Тогда,
в ту осень,
отменялись займы,
расчеты царской власти, —
словно с веток,
прогнивших разом, обрубался груз.
И горизонты открывались заново,
и видно было дали пятилеток,
Советский возвеличивших Союз.

Обозначались достижений вехи,
когда все социальные заботы
народ как дело общее поймет,

и тружеников армия навеки
с боями обретет поля, заводы,
и новой жизни форму отольет.

Ваня ПЕТКОВА

* * *

Крестьяне, —
щетинясь штыками,
в стремлении
властном, —
волнами с Волги и Оби!
Красные птицы,
в полете бесстрашном —
к солнцу и смерти по воле судьбы.
Головы русые,
русские,
Дона сыны — казаки,
из таежной Сибири
будущие чекисты,
и южане-кавказцы —
как сабля, тонки, —
точно ливнем промытое жито —
по-детски чистые
шли к Октябрю,
в необъятную рыжую осень,
шли к Октябрю,
Октябрю, Октябрю!
Дети песен березовых, голодны, босы,
каждый —
под стать был богатырю!
Звезды подняли, как факелы,
возле Кремля,
мир весь держали в могучих шершавых руках.
Хватит в лачугах скорбеть, жизнь такую кляня,
Хватит скитаться
в зимних бесплодных степях!
К черту балы!
И романсов фальшивость — долой!
Пусть царь-царевич —
царит только в сказочке детской!

В будущем нужен
частушек распев удалой.
Нужен и марш,
но
СОВЕТСКИЙ.
И, подобно вулканам,
с гвоздикою алой
нашей истории каждый из нас
песенно вторил!
Головы русые, русские,
вам не страшна опала,
слава впередсмотрящим
с палубы, с мачт «Авроры»!
Крестьяне, — щетинясь штыками,
в стремлении
властном, —
волнами с Волги, Оби!
Красные птицы
в полете бесстрашном!
Жертвой богов — Прометею
отныне не быть!

Йордан МИЛЕВ

БУДЕННЫЙ ДАРИТ СВОЮ САБЛЮ

В Москве,
в огромном зале Дворца съездов,
нынче днем,
под звездами на маршальских погонах,
под небом сотен взоров,
полыхнув огнем
из ножен, зазвенела шашка
о ратной славе, о былых походах.
Зал ликовал. Но вдруг заплакал кто-то.
Вскачь пустились кони.

На перепутьях времени
раздался безудержный галоп.

И с песнею помчались,
полетели комсомольцев эскадроны

от Нарвы и Кронштадта к Волге,
в степь — на Перекоп.

Их где-то в поле, под Смоленском,
на марше я едва догнал,
и тут в моей душе
нашлись неведомые силы
и крикнул я:
— Товарищ командарм,
вот если б мне
вы шашку гэдарили
свою!
Ведь прежде чем смениться караулу
на всех постах, мы знать должны,
что не пластмасса — наша мера,
что нам нужна стальная вера —
как шашка, кованная в Туле, —
и сила нашей конницы
краснознаменной.

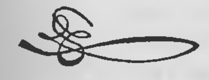
Николай КЫНЧЕВ

БОЛГАРИЯ

Порою, после ливня, даже солнца круг
раздваивается на удивленье небу:
лишь образ твой всегда единствен, страна,
и никогда не быть тебе другою...

При всем богатстве изначальных слов могу ль
я точно выразить, что значишь ты для сердца:
но как и ангел — не крылатый человек,
и ты — не просто обитаемая местность!

Перевел с болгарского Сергей БОБКОВ



ПОЭЗИЯ

Валентин СОЛОУХИН

ОДНО ДОБРО НА ВСЕХ

ЛЕТОМ

У сирени синий цвет,
а у розы — розовый.
Скоро вспыхнет липов цвет,
белизной березовой.

Чу, от рос звенит июнь,
и в лугах за ивами
одиноко вскрикнет лунь,
кони вскинут гривами.

Я цветы давно не рву,
ни в саду, ни во поле,
колокольчики во рву,
васильки за тополем.

Полюбили их шмели,
гуд стоит — работают,
над цветами у земли
кружат самолетами.

В СТЕПИ ЗА СТАРЫМ ТЕРРИКОНОМ

Отец любил реку и лес,
случилось, от реки уехал.
Он пчел любил,
но интерес
не стал в судьбе заветной вехой
Земные пульсы под рукой
в пластах забойных бушевали,
и приковал его забой,
судьбу украсили медали:
«За труд», «За доблесть»,
«За отличие»...
Он не ушел от сей черты.
— Ты, Алексей, до неприличия
правдив. Ты жертва доброты.

Он отвечал, что доброта
не так наивна и проста,
и с кондачка придет едва ли...
Чтоб в этом толк вы понимали:
попробуйте творить добро...

В степи за старым терриконом,
могила тихая отца,
над ней, с положенным наклоном,
застыла тень от деревца.

* * *

Грустит природа слезно день и ночь,
туманы скрыли светлые опушки,
ракиты вдоль дороги и избушки,
колодец под беседкою — обочь.
В колодце тускло светится вода,
бадья на совесть — тоже расписная...
Подходит девушка, с ней дама молодая.
Они, как я — «съезжают в города».
Стоим, молчим, автобус не идет,
туман садится, небеса светлеют.
— А вот и кружка! Мам, смотри, желтеют

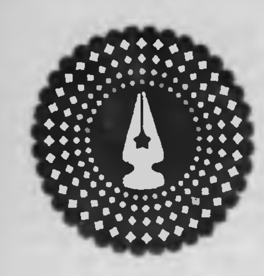
на кружке капли, будто в сотах мед...
Всплеск радости, глоток воды и смех.
Я тоже пью и тоже улыбаюсь.
«Ах, смелый мастер!...» — смастерил на зависть
одно добро, а разделил на всех.

СЕЛЕЗНЕВО

В Селезневе солнце караваем
из тумана пышно выплывает
и румянится на голубом поду,
в Селезневе селезни в пруду
в радуги рассветные ныряют.
Здесь на зорьке ранней, на заре
синева такая на дворе,
что звезда, как первая снежинка,
тает на подлунном серебре
среди трав на гибкой камышинке.
Как тут быть, как душу не забыть?
Песню соловья не потревожить?..
Я иду к прудам по бездорожью
золотую рыбку изловить —
повезет, она навек поможет
Селезнево в сердце сохранить...

* * *

Светлая березовая рощица
на ветру сиреневом полощется.
И луга, и розовые дали
отсветом багряным полыхали.
Что за осень, чародейка-осень!
На опушках затрубили лоси.
Докатилось эхо до поселка,
грибники, рюкзак наперевес,
подались через луга проселком
на порубки за грибами в лес.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» НА ШЕФСКОЙ ВАХТЕ

Игорь **ТЕТЕРИН**

ПЕЙЗАЖ ВОЗЛЕ СТРОЙКИ

Продолжаем начатый в статье А. Потехина «Обратный билет» («Молодая гвардия», 1986, № 5) разговор о проблемах социально-бытового обустройстаа и экологического равноаесия в регионе Всесоюзной ударной комсомольской стройки КАТЭК.

Товарищ привел меня на обед в новую рабочую столовую. На стене красовалась роспись. Художник изобразил на ней мечту о будущем строящегося города: утопающие в зелени деревьев кварталы, гладь искусственного озера, влюбленную пару на фоне радуги. Я долго любовался картиной и думал, что еще не так давно индустриальное наше могущество символизировали совсем иные виды. Живописцы, работая по заказам юных городов, предпочитали изображать мощные заводы с дымящимися трубами. А уж здесь, в центре КАТЭКа, дымящих труб будет предостаточно. Но на картине я их попросту не нашел.

Это отрадный факт: меняются времена — меняются и символы в изображении нашего индустриального будущего. Ныне природа в почете. Но как природу сбе-

речь, чтобы пейзаж возле стройки сохранил свою первозданную прелесть? Над этим стали задумываться чаще. Особенно, когда речь идет о больших проектах, о долгосрочных экономических программах.

КАТЭК — программа поистине уникальная. Когда я мысленно пытаюсь окинуть ее перспективы, то прихожу в растерянность от ее размаха. Почему? Да потому, что экономисты определили перспективную возможность строительства в бассейне пятидесяти двух угольных разрезов. Намечается сооружение четырех ГРЭС, каждая из которых по мощности равна знаменитой Саяно-Шушенской ГЭС. А общую добычу угля планируется довести до миллиарда тонн ежегодно. Иными словами, пока перспективы КАТЭКа сравнивать попросту не с чем. Подобных топливно-энергетических комплексов в мире не существует.

Конечно, тем, кто приехал на КАТЭК поработать несколько лет, нынче вполне хватает и дел, и резервов природы. Но я знаю на стройке немало людей, которые убеждены, что поселились здесь навсегда. И им предстоит учиться работать так, чтобы картина на стене рабочей столовой, куда мы с товарищем пришли пообедать, из символа превратилась в реальность.

Станислав Бурый в работе толк знает. Всю неделю в кабине экскаватора. Котлован или траншея понадобятся — немногие быстрее Бурого с делом справятся. Несколько лет назад он создал на КАТЭКе первый механизированный комплекс. Сумел связать общим интересом экскаваторщиков и шоферов, тысячи и тысячи кубов грунта переместили ребята с тех пор. Считай, горы своротили. Бывало, плановые задания перекрывали в два-три раза. А по работе и зарплату получали, и уважение людей заслужили.

Но надо признать, что и в отдыхе Станислав Бурый тоже не промах. Подойдут выходные — сядут с женой Людой, сыновьями Виталькой и Димкой в машину и махнут всем семейством на природу. Новенькую «Волгу» они на свои катэковские заработки приобрели. Эх, до чего хорошо после рабочей недели посидеть на берегу прозрачного озера, набрать грибов-ягод, напечь в костре картошки. Воздух, настоянный на таежной хвое, пьянит, радует душу. Да, если хотите знать, прелесть окрестных мест была одним из веских аргументов, ради чего пустил корни Станислав Бурый на этой земле. Вот только порой тревожит его одна беспокойная дума. Удастся ли сберечь природу в зоне интенсивного строительства КАТЭКа? Не нанесет ли ей ущерба энергетический комплекс с мощными угольными разрезами и дымящими трубами электростанций? А поводов для беспокойства у Станислава предостаточно.

Сотни мощных машин сегодня врубаются в катэковские земли. А землица здесь, о какой в иных краях и мечтать не приходится. Богатейшие черноземы, способные давать высокие урожаи. Дед Василий из села Кадат, разминая в руках ком земли, однажды сказал Бурому: «Да разве где сыщешь такой чернозем. Мил человек, мои предки ради этой землицы тысячи верст отмахали». И Станиславу вдруг стало неловко. Почему? Да потому, что село Кадат вместе с прилегающими полями вскоре окажется на дне искусственного водохранилища. А что станет с озерами, с полями, с вековыми кедрами, со свежим таежным воздухом, когда КАТЭК наберет свою мощь? Уже поднимается ввысь мощная труба первой Березовской ГРЭС. И хоть еще не выпустила она шлейф дыма, зато

пыльные облака уже вьются над угольными разрезами «Бородинский» и «Березовский».

Да, стране нужен уголь, нужна электрическая энергия. Но стране, равно как Станиславу Бурому и многим другим новоселам КАТЭКа, вовсе ни к чему экологические нарушения в зоне энергетического комплекса. Как их избежать, как предотвратить? Вот один из самых серьезных вопросов в жизни стройки.

Однажды на закате зимнего дня я встретил на улице Станислава.

— Стас, куда торопишься? — спрашиваю его.

— На встречу опаздываю, — скороговоркой произнес он. — Ученые приехали, с рабочими хотят поговорить об экологии. Пойдем вместе, не пожалеешь...

Мы зашагали к Дому культуры. В то время Бурого, как передовика производства и маяка в своем деле, часто звали на всякого рода встречи и заседания. Я знал, что приглашения он обычно принимает без особого восторга. А тут сам торопится. В зал мы попали как раз к открытию. Стас сел в президиум, я в зале. Рядом переговаривались:

— А Долбня случайно не приехал?

— Нет? Вот жаль. Хотелось бы этого Долбню повидать...

Начальника лаборатории очистки дымовых газов и золоудаления из Всесоюзного научно-исследовательского теплотехнического института Ю. Долбню народ хотел повидать не случайно. Это он в самом начале сооружения КАТЭКа высказал в печати мысль уникальную. Рассуждая об экологических проблемах КАТЭКа, ученый договорился до того, что тепловые электростанции, планируемые здесь, «обладают большим преимуществом, так как имеют возможность организации отвода мощного, направленного вверх дымового факела через высокие дымовые трубы, где газы перемешиваются с воздухом в верхних слоях атмосферы». Но ведь речь идет не о том, какой высоты должны быть трубы, поскольку загрязнение окружающей среды будет продолжаться, а насколько высокоэффективные необходимо установить на них фильтры-очистители. Об этом в предложении ученого — ни полслова.

К слову сказать, тогда, десять лет назад, вздорных и нелепых прогнозов о будущем КАТЭКа вообще появлялось немало. Видимо, некоторым ученым, особенно из ведомственных институтов, интересы своих министерств оказались ближе и понятней, чем элементарная научная порядочность и гражданская честность. Они рисовали будущее комплекса в розовых тонах, как бы боясь расстроить тех, кто приедет его возводить, суровой правдой жизни. А правда оказалась таковой — поспешность, экологическая необдуманность многих решений никак не радовала рабочих, что сидели сейчас в тесном зале городского ДК.

И они об этом говорили резко, прямо, нелицеприятно на встрече с учеными. Приведу лишь несколько примеров, которые в тот день записал в свой блокнот.

Между городом Черненко и поселком Дубинино строится плотина водохранилища Березовской ГРЭС. Стройка как стройка — шум машин, рабочая суета, вагончики, бытовки. Но когда плотина будет готова, водохранилище затопит село Кадат, торфяные почвы. Дальнейшее представить нетрудно — от торфяных почв вода станет мутной, водоем заболоченным. Знаменитого озерного карпа здесь не разведешь. Но ведь можно было перенести плотину

дальше, чтобы избежать неприятных последствий. Но об этом вовремя не подумали.

Другой пример: при добыче угля в разрезах появляется много дренажных вод. Уже сегодня миллионы кубометров этих загрязненных вод практически без всякой очистки сбрасываются в реки. А между прочим, подземных вод в районе КАТЭКа мало, их надо тщательно беречь. Но угольщики не построили даже элементарной системы механической и биологической очистки дренажного стока. Грязный поток наносит вред окружающей среде. Хотя его после очистки вполне можно использовать для технического водоснабжения...

Когда встреча закончилась, мы опять сошлись на улице со Стасом.

— Ну как? — спросил я его.

— Радоваться нечему, — угрюмо ответил Бурый. — Если бы это была первая встреча... А то спорим, спорим до хрипоты, но подход к делу не меняется. Ну, ладно, счастливо — мне с утра на работу...

Я пожал жилистую рабочую руку и проводил взглядом крепыша Бурого, которому завтра вставать на заре, чтобы с парнями из механизированного комплекса превращать милый взгляду пейзаж в индустриальный. Даже мне, человеку приезжему, стало неловко от одной мысли: а ведь люди, которые приехали жить на КАТЭКе и с увлечением здесь работают, очень часто вынуждены быть исполнителями экологически безграмотных постановлений. Отчего же они, хозяева молодых поселков и городов, проявляют легкомысленную бесхозяйственность по отношению к природе?

Часто бывая на КАТЭКе по газетным делам, я наблюдал, как работают здесь люди, подобные бригадиру Бурому. Работают они увлеченно, как говорится, с огоньком. Сплошь и рядом увидишь призывы: «Сдадим объект досрочно!», «Повысим темпы работ, увеличим производительность труда!» И это радовало бы и радовало, если бы в глаза не бросалось другое — поспешность, экологическая необдуманность некоторых решений. Я понимал, что бригадир на стройке может быть и другом, и врагом природы. От чего это зависит? В первую очередь от того, как спланируют его работу. Ведь бригадир — всего лишь производитель работ, исполнитель готовых решений. И поэтому нелишне задуматься о самих проектах, об их экологической надежности.

Канско-ачинские угли залегают неглубоко. Их будут добывать открытым способом. А значит, ландшафт прорежут котлованы глубиной до ста метров. И для природы в этом кроется огромная опасность. Разрезы рассекут примерно двадцать пять тысяч гектаров первоклассной пашни. Правда, уже составлены и утверждены планы рекультивации перемещенного чернозема. Но пока эти планы выполняются весьма медленно. Например, на Березовской ГРЭС-1 за первые пять лет стройки выполнили восемь процентов, на разрезе Березовском всего шесть процентов от общего плана. Но даже эти земли не дают пока полновесных урожаев. Хотя должны, непременно должны давать. И вот почему.

Программа КАТЭКа очень быстро произведет перелом в структуре населения ближайших районов. Подсчитано, что к концу века на двадцать работников промышленной сферы здесь будет всего один сельский труженик. И чтобы обеспечить бурно растущие города продуктами питания, надо интенсивно использовать каждый гектар черноземного поля. Трудно будет наверстывать упущенное, если не изменится отношение к делу.

Предвижу недоумение читателя — но при чем здесь бригадир Бурый или любой другой строитель? С него-то какой спрос? Что ж, до главных людей на стройке дело действительно пока не дошло, если Минэнерго СССР не может спросить даже с руководителей Березовской ГРЭС-1 за серьезное отставание в возведении природозащитных сооружений. А Минуглепром СССР словно не замечает, что на карьерах КАТЭКа нет пылеподавления, предусмотренного проектами. Но люди-то видят, что это ненормально, если строительство основных сооружений — дело первостепенное, ударное, а заботы о земле, на которой жить, отходят на дальний план. На кого им надеяться, кому доверять свои тревоги и беспокойства?

Помню свой давний разговор со строителем Березовской ГРЭС Виктором Чепиковым. Вырос он недалеко от Черненко, в маленьком сибирском городке. Родители Виктора — Александр Филиппович и Любовь Пантелеевна — ценили и уважали землю, на которой вырастили и воспитали пятерых детей.

А Виктор Чепиков стал строителем. По свету колесил, за границей крупную ТЭЦ возводил. Вернулся домой — КАТЭК разворачивается. Какой уж тут выбор. Тем более что опытного специалиста приняли, как говорится, с распростертыми объятиями. Поначалу поручили ответственное дело — поднимать дымовую трубу Березовской ГРЭС-1.

— Работа что надо, — пояснял мне в тот день с законной гордостью Чепиков, — на 370 метров трубу поднимем. Представляешь? Облака цепляться будут.

Но я задал ему каверзный вопрос:

— А сколько дыма и сажи из трубы вылетит?

Вот тут Виктор смутился. Что там ни говорите, а родные края от выбросов милее не станут. Наконец нашел аргумент:

— Оно понятно — дымок будет. Но только я как считаю? Наше дело строить. А другие люди должны всерьез решить, как очистить выбросы. У нас же все для этого есть — наука, инженеры, конструкторы!..

Я не стал портить настроение Чепикову. Умолчал, что даже у конструкторов и ученых пока нет единого мнения относительно последствий выбросов в атмосферу через гигантские трубы электростанций. Для очистки дыма ГРЭС планируют использовать электрофильтры. Но работают они ненадежно, часто выходят из строя.

Ну а как же все-таки наука, инженеры, конструкторы, на которых не без оснований возлагают надежды Виктор Чепиков и многие его коллеги? Не все же исследователи, подобно Ю. Долбне, предпринимают любые усилия, чтобы протолкнуть в жизнь сомнительные в экологическом плане проекты?

Лично я вынес мнение из эпизодических встреч на КАТЭКе с представителями самых различных институтов и научных центров, что люди науки слишком долго топтались на месте, соизмеряя свои возможности с предстоящей работой. И поэтому единой научно обоснованной стратегии охраны природы в зоне КАТЭКа сразу не появилось. Зато появился легкомысленный подход к проблеме. У Ю. Долбни быстро нашлись последователи. Один маститый ученый с академическим именем настаивал даже на ускорении со-

оружения КАТЭКа исключительно потому, что в Сибири, дескать, низкая плотность населения и отходы энергетического производства не нанесут людям особого ущерба. Сей ученый муж не удосужился даже заглянуть в статистический справочник о результатах последней переписи населения, чтобы для себя уяснить: по плотности населения близлежащие с КАТЭКом районы уже обогнали многие европейские области.

Даже при большом желании я не мог бы перечислить все экологические заботы в зоне КАТЭКа. Их много уже сегодня. Завтра станет и того больше. Кто и когда начнет их решать? Бывая на КАТЭКе, я часто беседовал и с различными хозяйственными руководителями. И вот что удивительно. Если речь заходила о выполнении планов и производственных заданий, можно было услышать немало идей и дельных предложений по ускорению темпов работ. Но стоило перевести разговор на тему охраны окружающей среды, и я чувствовал — на меня смотрят, как на человека наивного, склонного к излишним фантазиям. Почему?

— Так за охрану среды с руководителя никто не спрашивает, — пояснил мне работавший в то время начальником комсомольского штаба стройки, а ныне партийный работник Сергей Михайленко. — До сих пор нет даже сводного документа, который определил бы задачи наших предприятий и общественных организаций по защите природы. Как-то само собой считается — это удел энтузиастов, общественных организаций.

Энтузиастов собирал Сергей Ищенко, первый секретарь Черненковского горкома комсомола:

— Ребята, завтра субботник. Приходите — деревья сажать будем...

Ребята пришли охотно. Тонкие и хрупкие саженцы, что привезли в грузовике из далекого питомника, в руки брали бережно. Нет работы милее этой: сегодня посадишь дерево, а лет через двадцать, глядишь, пустырь превратится в рощу. Город без зелени — это все равно что парадный костюм без рукавов. А молодой город Черненко в летние дни буквально задыхается в пыли, особенно если недели две стоит ясная жаркая погода, без осадков. Впрочем, зелень здесь нужна еще и потому, что лучшего фильтра для атмосферы самой природой не придумано.

Тот субботник был уже не первым — дело у ребят спорилось. Но под конец работы, когда саженцев в кузове почти не осталось, случилось непредвиденное. На пустырь, урча мотором и чихая выхлопной трубой, въехал экскаватор и начал копать траншею. Ребята опешили, бросились к экскаваторщику:

— Да ты что делаешь? Мы здесь деревья посадили. Отгоняй машину...

Экскаваторщик глушить мотор не стал, лениво высунулся из кабины и, окинув взглядом толпу, выразительно покрутил указательным пальцем возле виска:

— Сумасшедшие. У меня наряд — вот, смотрите! Коммуникация здесь будет. Понимаете — ком-му-ни-ка-ция!

Ребята пытались уговорить экскаваторщика, чтобы тот бросил работу, а они пойдут к начальству, все объяснят и потребуют отменить земляные работы. Но хозяин экскаватора-исполина только посмеивался:

— Да кто вас слушать станет?.. У нас сдельная оплата от кубов. Неужто не знаете? Освобождайте фронт работ...

Вскоре стальной ковш выпростал из земли добрую дюжину саженцев...

— Трудно искать новых энтузиастов, — прокомментировал тот случай Сергей Ищенко, — когда с таким отношением сталкиваешься. А сталкиваешься с ним нередко...

Впрочем, Сергей Ищенко главные трудности для общественности видит даже не в этом. Энтузиасты, конечно, народ увлеченный, но не безрассудный. Люди сейчас всюду грамотные, сообразительные. Не надо обладать способностями провидца, чтобы понять: деревья растут медленней, чем юные города и даже целые промышленные районы. К концу века саженцы, что на субботниках высаживали ребята, только-только укрепятся корнями, распустят крону. И поэтому вряд ли справятся с очисткой атмосферы от выбросов топок катэковских электростанций. Нужны и другие меры — организационные, технические, экономические. А здесь к мнению общественности и комсомола не особенно прислушиваются.

— Но мы должны, непременно должны, — убежденно говорил мне Сергей Ищенко, — научиться решать сообща экологические проблемы.

Этот разговор произошел примерно за год до события, которое впоследствии не осталось незамеченным. По инициативе комсомольцев КАТЭКа здесь состоялось выездное заседание Бюро совета молодых специалистов при ЦК ВЛКСМ, специально посвященное проблемам экологии зоны энергетического комплекса. Молодые доктора и кандидаты наук побывали на стройплощадках и действующих предприятиях, во все вникали добросовестно, много спорили. А потом подвели итог своей работы в конкретных обобщениях и предложениях.

Подчеркну главный вывод участников той встречи: наука сегодня должна непременно лидировать в постановке вопроса государственной важности — вопроса о сохранении природных богатств рядом с энергетическим комплексом. Почему? Слишком дорого нам может обойтись повторение старых ошибок. Раньше бывало как? Сначала мы брались за строительство предприятий и промышленных узлов, а когда видели результаты своего вмешательства — осушенные земли, загрязненные воды или загазованный воздух, — начинали природу защищать. А может, пора научиться заранее предвидеть, к каким результатам приведет наша деятельность? Об этом озабоченно говорил участник заседания, доктор физико-математических наук Н. Абросов из Института биофизики Красноярского филиала СО АН СССР:

— Я убежден, прежде чем планировать мероприятия по охране среды, надо создать точную математическую модель развития в регионе природных процессов. Если мы не возьмемся за это дело сейчас, через несколько лет будет поздно. Мы просто не сможем предугадать, к каким последствиям приведет строительство тех или иных объектов.

А опыт моделирования природных процессов в крупных промышленных районах у нас уже есть. Например, создана точная математическая модель региона Азовского моря. На эту работу ушло около десяти лет. Почему же ученые до сих пор не взялись за прогнозирование природных процессов на КАТЭКе? «Нет генерального заказчика по теме», — кратко пояснил Н. Абросов.

Во время работы совета выяснилось, что уже около тридцати организаций и научных учреждений страны занимаются вопроса-

ми экологической защиты зоны КАТЭКа. Направление поисков — самые главные, узловые проблемы комплекса. Так, молодые ученые Сибирского филиала Всесоюзного теплотехнического института разрабатывают фильтры для ГРЭС. А их коллеги из Красноярского университета совместно с политехническим институтом и академическим вычислительным центром — безотходную технологию переработки угля. Рациональное размещение промышленных объектов КАТЭКа стало темой исследования молодых ученых Института экономики и организации производства СО АН СССР. А методику биологической очистки сточных вод разрабатывают в академическом Институте биофизики. Этот список можно продолжить, но нет особого смысла это делать, потому что пока сами по себе усилия молодых ученых говорят не столько о единстве, сколько о разрозненности поисков. Это прекрасно поняли участники заседания. Когда красноярские ученые узнали, что их коллеги из Иркутского института географии Сибири и Дальнего Востока серьезно занимаются вопросом сохранения в районе стройки богатейших черноземов, они испытали не только радость, но и досаду. Знали бы раньше — так уже нашли бы темы совместных разработок.

Главный вывод, сделанный молодыми учеными, сводился к краткой формуле: только полная координация научных сил позволит разрабатывать экологические проблемы комплексно. Кто же возьмет на себя роль координатора? По всей видимости, им должен стать один из солидных институтов. Это предложение молодые ученые адресовали Академии наук и Государственному комитету по науке и технике СССР. Для расширения исследовательских работ они потребовали увеличить им финансирование. Согласитесь, вкладывая сотни миллионов рублей в стройку, грешно экономить на науке. И уж тем более, призвали ведомства — Минуглепром и Минэнерго — относиться к экологическим мероприятиям так же серьезно, как к выполнению производственных планов.

Конечно, было бы излишним преувеличивать значение той встречи молодых ученых и комсомольских работников. Но если уж вода камень точит, то честное и открытое слово о нерешенных проблемах всегда требовало действий. И оно особенно требует действия сейчас, в период крутого перелома в методах хозяйствования, ломки стереотипов экономического и государственного мышления.

С чего начать? Как изменить отношение многих людей к экологическим проблемам КАТЭКа? От кого это в первую очередь зависит?..

— Да что там мудрить, — сказал мне недавно Станислав Бурый, — от нас же самих и зависит. Вот мои сыновья вырастут. Кого они будут упрекать, если природу в округе погубим. Думаешь, министров и прочее начальство? Как бы не так! Меня упрекнут — своего папашу...

Сергей Ищенко внимательно читал газету, подчеркивая отдельные строки и даже целые абзацы. А эти слова выделил особо: «...съезд считает необходимым расширить круг вопросов, которые государственные органы могут решать только при участии или с предварительного согласия соответствующих общественных организаций, предоставить им право в ряде случаев приостанавливать осуществление управленческих решений». Это четкое требование из резолюции XXVII съезда КПСС прямо касалось комсомола, поэтому оно задело Сергея за живое. Но, разумеется, еще в большей

степени оно касалось министерских «стратегов». Да, это так — управленческое решение, наносящее вред природе, теперь может быть даже отменено, если оно не устроит общественность.

— Ты понимаешь, что за этим стоит! — возбужденно говорил Сергей. — Когда-то мы экскаваторщика не могли остановить перед хрупкими саженцами. А теперь, если надо, можем потребовать пересмотра приказа министра.

Радость Сергея мне была понятной. Еще не так давно общественности было очень трудно влиять на позиции некоторых министерств. Я сам неоднократно убеждался в этом. В свое время по проблемам охраны природы КАТЭКа мне доводилось выступать в печати. А печать — это все же голос общественности. Но, видимо, бывшие руководители министерств считали иначе. Потому что из Минэнерго на материал об острых экологических проблемах КАТЭКа ответили: «Для соблюдения требований природоохранительного законодательства в проект Березовской ГРЭС заложены наиболее прогрессивные технические решения». Как будто никаких поводов для беспокойства нет. Подписал письмо заместитель начальника управления по охране природы министерства В. И. Гуща. А Минуглепром СССР просто отмолчался.

По какому ведомству находится природа КАТЭКа? Уже давно задавали этот вопрос рабочие и инженеры, ученые и даже некоторые хозяйственники. Было ясно — нужен строгий контроль, человеческое участие, а порой элементарная экологическая грамотность, чтобы не нанести природе вреда. Но после XXVII съезда партии этот вопрос зазвучал с новой силой. Сергей Ищенко, читая партийные документы, понимал, что КАТЭКу давно нужна специальная, обязательно вневедомственная служба контроля за состоянием окружающей среды.

Слишком долго здесь дискутировался и вопрос о создании общественного совета по охране природы. Да такого, в который вошли бы партийные и хозяйственные работники, комсомольские вожаки, ученые, научные пропагандисты. Сколько проблем он смог бы решать на месте: от экспертной оценки влияния на среду проектов различных сооружений до элементарной экологической пропаганды.

— Пришла пора работать, — оторвавшись от чтения, сказал Сергей, взглянув на небо. — Пришла хорошая, долгожданная пора...

Низко над нами летели на север косяки перелетных птиц. Одна усталая стая опустилась на гладь озера. Подумалось — сделает ли она здесь остановку лет через десять?

Личңо я не знаю ни одного человека на КАТЭКе, который пожелал бы, чтобы этого не произошло.

●

КОГДА ТЫ ХОЗЯИН НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ...

Жена моя Лариса как-то принесла в дом июньскую книжку журнала «Молодая гвардия» за 1986 год и говорит:

— Прочитай, Валера. Тут и про нас с тобой написано.

— Как это «про нас»? — не поверил я.

А она показывает очерк Александра Лыскова «На острове», где под заголовком — черным по белому — «Семейный подряд Николая Сивкова».

Верно, думаю, раз про семейный подряд, то, значит, это нас с женой непосредственно касается. Мы ведь как-никак уже десятый год на своей ферме работаем по семейному подряду. Залпом прочел я этот материал, и он, как говорится, затронул меня за живое. Да только ли меня? В одном лишь нашем колхозе имени Максима Горького на сегодняшний день существует четыре таких фермы, а по Ярославской области их не один десяток. Кто-то, как мы в Пентелеве, обслуживает молочное стадо, а другие, подобно Сивковым, откармливают молодняк.

Признаюсь, познакомившись с очерком, мы с женой и тещей моей Капитолиной Ивановной удивились: это же сколько сил потратил Николай Семенович Сивков, чтобы «пробить и узаконить» полезное для общества начинание! Каких только собак на него не навешали! А за что? За то, что человек хочет быть не лишним едоком, а хозяином на земле, стремится давать государству прямую выгоду, а людям продукты первой необходимости, ничего лишнего не требуя взамен.

Узнав про мытарства Сивкова, я подумал: сильна еще в иных хозяйственных руководителях психология «кабы чего не вышло», которая на поверку оборачивается не чем иным, как иждивенчеством. Дескать, если план не выполним — только пожурят, а за новации, которые могут показаться кое-кому «наверху» финансовыми и прочими нарушениями, неровен час и из кресла попросят. По старинке оно спокойнее...

Не скажу, что у нас обстояло все гладко, но таких ситуаций, чтобы тебя «кулаком» кто-то выставил, не было.

Начну с того, что в конце семидесятых годов деревню нашу чьим-то «волевым» решением приписали к категории неперспективных. Сейчас трудно вообразить, как сложилась бы жизнь нашей семьи да и самого Пентелева, если бы в один из дней девятилетней давности я не повздорил со своей тещей Капитолиной Ивановной. Конечно, значение этого распространенного житейского факта нельзя преувеличивать, но и умолчать о нем было бы, для объективности картины, по крайней мере, несправедливо.

Весь наш сыр-бор разгорелся как раз после отъезда Никашиных, заколотивших окна своего дома и отбывших в богатый пригородный совхоз.

— Вот и Никашины уехали, Громовы корову продали, Петрухины на чемоданах сидят... А ты куда смотришь? — тяжело вздыхая, спросила меня теща, а сама тем временем, вроде как жалеючи, на Ларису поглядела.— Скоро из нашего Пентелева все сбегут. А что тут остается делать? Бригаду расформировали, магазин закрыли... Придет время, Танюшку нужно будет в школу определять, а где она, школа? Опять же на центральной усадьбе, в Бурмакине.

— Ничего, как-нибудь проживем,— отвечаю.— Пусть другие бегут, а у меня здесь дом, хозяйство. Светка еще совсем маленькая. И опять же, как мать одну оставлю? Да и вас Лариса не бросит на старости лет...

— Да вы о себе подумайте,— не унималась Капитолина Ивановна.— Лариса с пятнадцати лет на ферме ломит без выходных и проходных. Ей ведь тоже хочется по-людски пожить — чтоб к городу, культуре поближе да при чистой работе... Свои полторы сотни вы везде заработаете. А здесь кому вы нужны? Колхоз о нас не больно заботится — кормами в последнюю очередь обеспечивают, племенное дело запустили. Словом, давайте отсюда перебираться, а то, право дело, жалко на вас глядеть. Ведь молодые совсем, так чего ж себя в Пентелеве хоронить? Если о себе не думаете, то хоть дочек пожалейте. Они-то почему через вас должны страдать?

Тут вступилась жена Лариса:

— Спасибо за добрый совет, мама, но мы никуда не поедем. Мы тут с Валерой поразмыслили и решили: трактор он свой оставит и перейдет к нам на ферму.

— Неужто за подойник возьмется? — недоверчиво усмехнулась теща.— Разве мужское это дело?

— И еще дела найдутся,— многозначительно заметила Лариса и стала объяснять: — Понимаешь, мы предложили главному зоотех-

нику самим всю ферму взять на обслугу. Никашина уехала, ее заменит Валера. Пьяницу-кормача рассчитаем — все равно от него никакого толку нет. Валера у нас всю технику и плотницкую часть на себя возьмет, корма — тоже. А я за осеменатора буду работать. Ну а доить все вместе...

Капитолина Ивановна удивленно посмотрела на нас обоих: для нее это была неожиданная новость.

— А куда ж вы меня пристроите? — спросила она.— Или тоже заодно с кормачом рассчитаете?

— Ну что ты, мамочка! — улыбнулась жена.— Нам без тебя не обойтись. Посильно тоже в звене будешь работать.

— Ох, все равно вы не дело затеяли!

Не один еще день ворчала на нас Капитолина Ивановна, жаловалась на «неразумность молодых» соседям. А тем временем Лариса обговаривала нашу идею уже в правлении колхоза.

Особых споров с руководством не было — Пентелевскую ферму подумывали закрывать из-за нехватки кадров. А тут нежданно-негаданно мы сами предложили целиком взять на себя обслуживание МТФ, так почему бы не поддержать разумную инициативу? Тем более, рассуждали в правлении, мы оба молодые-здоровые, рядом с нами будет такая опытнейшая доярка, как Капитолина Иванова Ключева. Да и Лариса, поступившая на ферму сразу после окончания восьмилетки, успела себя показать умелой работницей, не раз награждалась грамотами и денежными премиями. А я? Я прямо сказал председателю:

— Не бойтесь, с такими наставницами я быстро дело освою.

— Ну что ж, как говорится, в добрый путь,— улыбнулся председатель колхоза.— Если что надо будет — поможем. Вы у нас, как говорится, «первые ласточки»...

Конечно, легко писать задним числом о том, что было и минуло, о том, что пережили, когда изменилось само отношение к маленьким семейным фермам, о развитии и поддержке которых было прямо сказано на XXVII съезде партии. Переменилось отношение и к небольшим, подобных Пентелеву, деревенькам, ранее попавшим в разряд «неперспективных». Некоторые из них устояли, хотя и порастеряли немало рабочей силы из-за чьей-то хозяйской недальновидности. Более того, они со своими подлатанными коровниками и телятниками приносят сейчас снова весомую пользу государству. Это там, обычно, где животноводы, как и мы, перешли на работу по семейному подряду... И будто возродились, ожили деревеньки в нашей Ярославской глубинке, которые еще семь-восемь лет назад собирались сносить, что было бы не только серьезной экономической ошибкой, но и обернулось бы для совхозов и колхозов потерей кадров, человеческим убытком.

...Минувшим летом надои на нашей ферме были, как никогда, высокие. Каждый день сдавали по тонне молока с лишним. Если раньше суточную продукцию из Пентелева вывозили на лошади, то в последние годы за ней приезжает молоковоз.

Работать стараемся на совесть. Капитолина Ивановна с Ларисой уже перестали вспоминать, как трудно им приходилось до той поры, пока мы не приняли ферму на семейный подряд. Стадо тут всегда было примерно таким, как сейчас,— 85—90 коров. Но раньше работало четверо доярок и одна подменная. Нагрузка была почти вдвое меньше нынешней, а работать Капитолине Ивановне и жене приходилось больше и тяжелее. Среди доярок

постоянно возникали споры да раздоры. Сколько их переменилось, сказать трудно. Люди уходили и приходили, а теща с Ларисой были «коренные», на них вся ответственность ложилась. Одна доярка вовремя своих коров не напоит, другая «забудет» подоить... Что делать? Приходилось Капитолине Ивановне обихаживать чужие группы. И о надоях при таком отношении к делу говорить не приходилось — даже в лучшие годы на ферме получали меньше двух тысяч килограммов мо ка от коровы.

Естественно, что фермы, подобные Пен левской, ходили у колхоза в «падчерицах». Ни кормами, ни особым вниманием их не баловали. Поломается, положим, транспортер или доильная установка — на ферме день-два ждут, пока с центральной усадьбы пришлют слесаря. О себестоимости молока, фондоотдаче в то время мало кто задумывался: «Пока есть корма, давай, сколько съедят, а нет — пусть мерзлую солому гложут, а мы винца попьем». А что другим дояркам? Пусть, мол, Капитолина с дочерью «упираются», все одно больше нашего не заработают.

Вся беда была в том, что не было у Пентелевской фермы заинтересованного хозяина, чтобы все в своих руках держал, чтобы каждый килограмм кормов, каждый потраченный рубль подсчитывал...

Теперь как? Все обязанности в нашем маленьком коллективе, как производственные, так и бытовые, давно и четко распределены. Нам между собой считаться нечего — семья есть семья. Однако мы решили за каждым оставить группу коров — животные, как известно, любят одни руки. Впрочем, в работе всякое бывает... Не так давно случилась неприятность — Лариса целый месяц провела в больнице. И что же? Хоть и несладко было, но мы с Капитолиной Ивановной сами управились со всем стадом, не снизив надои.

Конечно, надо отдать должное опыту и умению Капитолины Ивановны, но фактическим руководителем нашей МТФ все-таки является Лариса. Помимо обязанностей доярки, на ней учет надоев и кормов, искусственное осеменение животных, которому она обучилась на специальных курсах, организованных при РАПО. Теперь у нас и племенная работа пошла на лад — ежегодно получаем на 12 телят больше, чем в среднем по хозяйству.

Вслед за женой мне и самому пришлось сесть за учебники по зоотехнии. Одних сельскохозяйственных журналов мы на сорок рублей выписали. И читаем их, между прочим, не по «диагонали», не для общего кругозора, а чтобы применить в своей работе.

Стараемся быть в курсе, как идут дела в соседних хозяйствах. Я, например, у соседей вызнал прием, который помог нам получить почти 30-процентную прибавку валового надоя молока за лактацию.

А ведь все очень просто. Перед тем, как снять с вымени доильный стакан, я кладу ладонь на соединительный тройник, оттягиваю его вниз, пока не сбегут самые жирные струйки молока... Вот и вся премудрость. Однако на других фермах большинство доярок этого не делают — им, видите ли, некогда.

Я не хочу, чтобы люди подумали, что все у нас распрекрасно, сплошная идиллия Всякое бывает, и всего хватает и в нашей работе — и проблем, и нервотрепки... Это нам только нынче хорошего пастуха выделили. А в былые годы пришлют такую пьянь или городского штрафника, что нам самим приходилось за них коров допасывать... Да и с выпасами мы до крайности стеснены

то дорогу провели через луг, то часть выгона заняла усадьба мелиоративной ПМК. Мелиораторы пообещали, что на новых полях будут собирать двойные, а то и тройные урожаи многолетних трав. Да где там! Землю до того «улучшили», что она и прежнего сена не дает.

Хорошо, что меня природа силой не обделила. А если бы послабее был? Как бы тогда таскал со двора на ферму двухпудовые «чемоданы» прессованной соломы? Тут я, как и Сивков, считаю, что семейным фермам надо выделять технику, хотя бы один трактор на две-три МТФ.

И все-таки в последнее время, не буду душой кривить, к нам стали внимательнее относиться — и правление, и комсомольский комитет колхоза. А как же иначе? Только в нашем хозяйстве на 640 голов дойного стада на семейном подряде обслуживается почти 240 коров. Это не считая четырех семей, работающих на откорме молодняка.

Кстати сказать, и показатели у нас выше, чем на Бурмакинском молочном комплексе, построенном на центральной усадьбе. Там надои за прошлый год до двух тысяч не дотянули, а мы в Пентелеве взяли почти по 2600 килограммов молока от коровы. Да и себестоимость центнера молока у нас в полтора раза ниже, чем на обычных фермах, при том сдаем его исключительно первым сортом.

Со временем все больше убеждаюсь, какое это большое дело, когда семейные интересы тесно связаны с производственными, экономическими. А нас ведь практической экономике никто не обучал. Сама жизнь и работа заставили думать и считать не только свою зарплату, но и колхозный рубль.

Как это любит говорить моя Лариса? «Мы сами себе и главный зоотехник, и ветврач с экономистом...»

Должен сказать, что и нам, лично нам, работать по семейному подряду очень выгодно. Например, за прошлый год мы получили на семью более 13 500 рублей. Солидно, не так ли? Средний заработок у нас выше, чем на обычной ферме. Потому как работаем лучше, добросовестнее, хотя и обзывают бирюками. Скажу так: побольше бы таких бирюков, как тот же Сивков, и насколько богаче стали бы наши гастрономы.

И вот что хочу еще раз подчеркнуть: благодаря семейным фермам только в нашей Ярославской области сохранились, подобно Пентелеву, десятки деревень. В них снова стали раздаваться детские голоса. Сейчас у нас с Ларисой растут три помощницы — Таня, Света и Ирочка. Старшая уже заняла третье место на районном конкурсе юных животноводов. Лауреат! Значит, будет кому и нам в свое время передать кровное наше дело — семейную ферму, а главное — будущее родного Пентелева, которое давно пора уже вычеркнуть из разряда неперспективных. Если люди живут, растят детей и плодотворно работают, если чувствуют себя нужными обществу,— значит, есть перспектива. Так что мы не унываем и того же самого желаем Николаю Сивкову, другим животноводам, которые стремятся работать по-новому, как требует время, перестройка.

Валерий УВАРОВ,
дояр Пентелевской молочной фермы
колхоза имени Максима Горького
Ярославской области

В ОТВЕТЕ ЗА ВРЕМЯ

В № 7 за нынешний год мы опубликовали статью Вяч. Горбачева «Перестройка и подстройка», в которой автор, исследуя литературные, социально-нравственные, идеологические процессы, происходящие в стране в связи с революционным курсом партии на перестройку и демократизацию всех форм нашей жизни, отметил, что процессы эти усложнились, стали более противоречивыми, что на общем благотворном фоне перемен явственно стали проявляться некоторые нежелательные, а иногда просто нетерпимые явления, и покритиковал в связи с этим отдельные публикации в газете «Советская культура», журнале «Огонек» и в некоторых других изданиях.

В ответ на эту нашу публикацию появились редакционные статьи «В поисках утраченного времени» («Огонек», № 30), «Когда «пульсируют ритмы чувств» («Советская культура» за 25 июля), «Спасибо, друг» («Литературная газета» от 29 июля).

Мы не будем вступать в полемику с этими изданиями, ибо принципиальную партийную оценку выступлениям «Огонька», «Советской культуры» и «Литературной газеты», использовавших недопустимые в практике советской печати приемы ответа на критику, вплоть до навешивания политических ярлыков и прямых угроз расправиться с инакомыслящими, дала газета «Правда» от 3 августа в статье В. Петрова «Культура дискуссий». Отправляя наших читателей к этой статье, мы одновременно информируем их, что полностью согласны с выступлением «Правды», в том числе и с критическими замечаниями, что «...и в выступлении «Молодой гвардии» есть и передержки и субъективизм, есть и неуважительное отношение к собратьям по перу».

Мы обсудили на редколлегии статью «Правды», а также вышеупомянутые публикации в «Советской культуре», «Огоньке» и «Литературной газете» и приняли по ним соответствующее решение, направленное на улучшение нашей работы.

В статье «Культура дискуссий» справедливо говорилось, что однозначного ответа на многие вопросы, поставленные сегодня жизнью, быть не может, и поэтому сама обстановка в обществе вызывает желание высказывать мысли вслух, слушать мнения других, сопоставлять их, спорить в поисках истины, памятуя, что даже в самой крайней точке зрения есть что-то ценное, но при условии, если эту точку зрения отстаивать честно.

Наряду со всеми активно определяют свое отношение и свое место в перестройке и молодые писатели, молодые деятели культуры. Молодая советская интеллигенция и вся советская молодежь все отчетливее сознают, что и им реализовывать те ответственнейшие задачи, которые партия поставила перед народом, что и они в ответе за время.

Предлагаем читателям материалы дискуссии ряда молодых авторов о современных проблемах нашей общественной и культурной жизни. Конечно, не все их суждения бесспорны, но редакция намерена продолжить разговор об ответственности молодой интеллигенции, всей советской молодежи за судьбы перестройки, за судьбы страны с тем, чтобы объединить усилия в поисках истины.

Ждем ваших откликов, дорогие читатели.

Сергей АЛЕКСЕЕВ, прозаик.
Автор романов «Слово», «Рой».

ТОРМОЗА ПЕРЕСТРОЙКИ

Пожалуй, кому не надо перестраиваться, так это молодому автору, конечно, при условии, что он пришел в литературу уже в процессе перестройки и пришел потому, что не мог уже спать по ночам от мучительных вопросов. Ведь, по сути, вся литература, исключая спекулятивную, во все времена работала на перестройку человеческого духа. Я участвовал в VII совещании молодых писателей. Совещание позволило сверить свои взгляды, определиться в пространстве, разобраться в сложных путях развития литературы. Так что совещание сыграло роль штурмана. А это очень много, поскольку плыл наугад, в утлой лодчонке по бурному морю. Не чаял и живым выбраться. В дальнейшем следовало бы подбирать участников совещания более ровных в творческом смысле. А то было неудобно и жалко, когда после хорошей рукописи и сильного автора руководители семинара вдруг обрушивали весь гнев критики на слабую рукопись, создатель которой еще молод, неопытен, даже испуган своим «нахальством», что стал писать, однако в нем чувствовалась скрытая сила и большие возможности. И побольше бы надо искать участников в недрах глубокой периферии, ибо для приехавших оттуда ребят совещание — событие и великий стимул к творчеству. Не говоря уже о школе. Например, в нашем семинаре был один молодой, который подходил к маститым, на мой взгляд, хлопал по плечу, говорил: старик. Для него это просто очередная заседаловка, эдакая потеха в литературно-критическом оформлении.

Мы вступили в эпоху гласности. Наша печать стала публиковать правдивые материалы о самых разных сторонах общественной жизни.

Деятельность творческих союзов демократична в своей основе, поскольку происходит на добровольных началах. Однако известный длительный период это обстоятельство почти вытравил из сознания членов творческих союзов. И члены эти приходили к секретарям, как к большим начальникам. Некоторые секретари от этого постепенно обретали чиновничий вид и хватку. Демократизировать, к примеру, Союз писателей не нужно. Нужно лишь соблюдать его Устав, где все давным-давно написано черным по белому.

Мешает к тому же равнодушие критики, ее приверженность к «своим», давно определенным авторам. Мешает то, что большинство редакторов — пишущие люди. И не потому, что пишут; просто у них остается мало времени на твою рукопись. Мешают бесконечные многослойные распри в писательских организациях. Приходишь к писателям за помощью и советом, а в тебе видят еще один штык и любыми путями стараются затащить на свою сторону баррикады. Мешает довольно толстый пласт конъюнктурной литературы, написанный в угоду и не дающий духовной пищи читателю. После такой литературы хоть заново целину подымай. Приученные к вранью читатели трудно верят правде.

Тормозом в развитии является инерция мышления. В печати она особенно заметна. Редактор обязан иметь четко выраженную позицию, а с этим тоже не все благополучно. И начинаются обычные для такого случая реверансы — влево, вправо, вперед, назад. Тормозит и то, что некоторые редакторы, пользуясь гласностью, начали усиленно гоняться за сенсациями. Время идти вперед, вскрывать новые проблемы, а ты читаешь — опять о наркоманах и проститутках. Так что получается уже не обличение безнравственности и гнили в обществе, а ее пропаганда. Иногда еще стоп-кран срывают группы экстремистского толка, из тщеславных либо корыстных побуждений пишущие кляузы на редакторов в высокие инстанции.

Гласность мне представляется вечевым колоколом в славном древнем Новгороде, тем самым колоколом, ударить в который имел право и мог любой гражданин, если видел ложь. В будущем, мне думается, постепенно исчезнет само понятие «гласность», ибо термин отмирает, когда исчерпана его суть либо накрепко вживлена в сознание общества. Конечно, это возможно лишь при условии, что гласность не переродится в безобразные формы вседозволенности.

Групповщина, случающаяся порой, — это кучка довольно серых в творческом плане людей, но весьма по-боевому настроенных, крепко спаянных и желающих получить блага не мытьем, так катаньем. Если образно, то это мясники-лавочники, которые, объединившись, идут к городской управе требовать, чтобы разрешили торговать червивым мясом. Иногда, если в городе шум и неразбериха, им это удается самим. Но чаще всего они пользуются услугами какого-нибудь именитого городского покровителя, конечно, не за здорово живешь. Поскольку у покровителя своего мяса навалом, да и не только мяса, то он берет с мясников валютой собачьей преданности. Например, случится покровителю избираться на пост городского головы — только свистни: тут же обработают избирателей.

Уверен, что сейчас на столах некоторых пишущих уже лежат почти готовые романы о перестройке. Не совсем давно из-под их же перьев выходили романы о том, каких высоких рубежей мы достигли, живя при развитом социализме и в лоне высочайшей демократии. О царице полей писали они же. Спекулянтов в литературе порождает спекуляция высшими идеями. Однако сами спекулянты делятся на две категории. Первая, грубая форма — когда поют с чужого голоса и не своим голосом. Вторая — изощренная, когда поют своим голосом по своей партитуре, но всегда знают, до какой ноты, в какой тональности и скорости петь. Этот вид спекулянтов особенно опасен, так как умеет создавать иллюзию правды. И многие любители оперы ощущали на себе их гипноз. Сейчас они поют о перестройке и демократии, и как поют! Заслушаешься!

Партийность, народность и гражданственность можно объединить одним словом — духовность. И как бы себя ни тешили модернисты, как бы ни тешили нас парадоксами образов, словотворчеством и смутными чувствами, и как бы ни усиливали пропаганду всего этого, у них ничего не получится до тех пор, пока модернизм не обретет духовности. Возможен какой-то сиюминутный успех, когда модернистам удается оглушить и заморочить голову. Но на все это течение объявится, к примеру, Н. Рубцов или другой настоящий поэт и все поставит на свои места.

Появление модернистского течения в искусстве схоже с рождением неблагополучного младенца. Обычно он рождается ногами вперед, с пуповиной, обмотанной вокруг шеи да вдобавок еще полумертвым. И нужны огромные усилия повитухи, чтобы очистить его, оживить и поправить головку. Хлопот потом с ним будет достаточно, однако если он выживет, возмужает, то, возможно, станет гением. Но уж никак не модернистом.

Лариса БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО, критик.
Автор книги «За всех и ради всех»,
ряда публикаций в журналах
«Октябрь», «Москва», «Литературная учеба».

ВО БЛАГО

По-моему, перестройка некоторых литераторов застала врасплох. Время застоя для многих превратило мнимые умения и ценности в истинные. Один научился говорить эзоповским языком и теперь никак не может легализироваться — и растерян. Другой пересмешничал вволю, ухлопав на это лучшие годы молодости, а нынче — перестройка, гласность. Но смешное перестало быть смешным и обернулось своей трагической стороной. Третий шипел и злобствовал, но шипение и злоба перестали быть актуальными в связи с гласностью — у него свои сложности.

Перестройка требует серьезной позитивной программы. К ней незачем бежать со старыми личными обидами, с чемоданом своих в уединенной или кулуарной злобе нашлепанных страниц. Если персонифицировать Гласность, то это героиня или богиня, которая широтою жеста, всей щедростью мудрого разума произносит на театре жизни волшебное слово: «Исполать!» Но для тех, кто не потерял способности к созиданию, не умертвил творческую силу эгоистическим чувством.

Перестройка и гласность — для тех, кто стоически сохранил себя, кто в условиях мертвого десятилетия по мере сил разряжал атмосферу зарядом честного слова, кто терпеливо и с достоинством сносил забвение, несправедливость публичных порицаний. Кто жил, действовал, верил. Таких много. Их больше в литературе, чем н е т а к и х. И пора назвать их имена. Воздать должное.

Помню чувство глубокого недоумения, оставшееся от VIII Всесоюзного совещания молодых литераторов, участницей которого я была. В семинаре критиков, кроме Ал. Михайлова, по сути, не было ни одного активно действующего авторитетного критика. Где Кожинов, Лобанов, Ланщиков, Золотусский, Глушкова? — спрашивали мы друг у друга. — Почему не пригласили хотя бы для встречи с «семинаристами» Палиевского? Ведь все они были и остаются нашими духовными учителями, литературными авторитетами, наконец, личностями, которых мы любили и уважали!

А как приглушенно произносилось имя покойного Юрия Селезнева! Но никакое застойное десятилетие, откровенно говоря, не могло бы умалить значение гражданского поступка Ю. Селезнева, который страстно отстаивал в своих статьях лучшие традиции отечественной культуры.

О художнике судят по написанному. Сотворенному. Это верно. Но Блок гениально уточнил в начале века характер творческого действия именно русского литератора, сказав, что литература в России никогда не носила сугубо литературного характера. Она всегда была связана с общественной деятельностью, с публицистикой. И потому на суждение о творческом поведении художника тоже нужно иметь моральное право. Сейчас благодаря щедрому содействию одного журнала нам явлен пример, на мой взгляд, аморального суждения такого рода. Я имею в виду статью А. Еременко.

Сапожник должен тачать сапоги, а писатель должен писать, утверждает Еременко, а не заниматься проблемой поворота рек. Пусть реки текут вспять! Пусть гниет земля, всплывает мертвая рыба, падает на лету птица, уходит в небытие Соловецкий монастырь! Прощайте, кедровые великаны и таинственной силы фрески! Разлука будет без печали! Мы будем делать с в о е дело — писать. «В густых металлургических лесах» — так наше слово отзовется на происходящую трагедию, которая связана не с неизбежностью стихийного бедствия, а с преступлением потребителей, которых еще можно и должно урезонить. Но для этого нужно заняться н е с в о и м делом!

Так, не только писательскими «молитвами», а непрерывной и большей частью неблагодарной конкретной деятельностью В. Распутина живы остатки чистых вод Байкала. Распутину бы в ноги поклониться за это! А незадачливый судия с у д и т. А судьи кто? Стало быть, пока Распутин, Залыгин, Бондарев, Белов, Астафьев, Айтматов, Крупин будут, отложив любимое д е л о, заниматься «не своим» делом — проблемой поворота рек и сохранением Байкала, пока будут кричать, как в пустыне, о том, что грех затопления солдатских захоронений подо Ржевом не простится ныне живущим, пока будут отказываться от своих изданий в пользу Карамзина, судия, поэт-пересмешник в строгом соответствии со своим предназначением напишет всего лишь: «Я — добрый, красивый, хороший. Я — мудрый как будто змея. Я женщину в небо подбросил, и женщина стала моя». Вот и вся его лепта в культурную копилку! Зато с каким азартом, с каким чувством востребованного наконец права написана статья Еременко. Жаль, что читатель может и впрямь вообразить: пока наши писатели занимались «пустяками» вроде поворота рек, поэт, возможно, сочинил нечто «сильнее «Фауста» Гёте».

Рядом с рубрикой «Если бы я был директором», которую предлагает нам наша пресса, я бы ввела еще рубрику: «Если бы я был министром культуры». А почему бы и нет?! Так вот, если бы я была министром культуры, то непременно обязала бы издательство «Плакат» выпустить многомиллионными тиражами плакаты, выполненные лучшими художниками, такого содержания:

1. Ясная Поляна — проблема чести поколения!
2. Щелыково — в опасности!

3. Где музей-усадьба Аксакова?! —
и так далее. Вот какие «Окна РОСТА» нам нужны сейчас.

Участников встречи с В. Карповым, молодых (условно молодых, оговоримся, чтобы за руки не хватали) литераторов В. Розов назвал «бородатыми плакальщиками» на страницах одной газеты. Что касается ношения бород, то они, насколько мне известно, давно реабилитированы. Что же до «плакания», то отчего же и не заплакать при виде наших разрушенных, ветшающих и, по сути, посрамленных культурных святынь? Интересно узнать, как В. Розов понимает на данном этапе «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»? Может быть, ему больше по душе пришлись бы не очищающие слезы, а гомерический смех, которым полна, к примеру, наша «авангардная» поэзия? Смеется Еременко, смеется Иртенев, посмеивается Парщиков, хохочет Гандлевский, Арабов на турнире молодых поэтов бросает аудитории упрек за ее привязанность к «отечественной словесности». Право, как весело! Смеются, очевидно, над всеми теми, кто «не своим» делом занимается?

Вот и В. Лазарев сколько уж лет все «не в свои» дела «лезет»! Ему бы, Лазареву, писать свои песни да гонорары по почте получать, как все почтенные песенники. Нет, неймется! Все-то ему нужно больше других: мемориальную доску повесить на доме В. А. Жуковского, в судьбу Ясной Поляны вмешаться. Мимо него, Лазарева, и пройти-то спокойно нельзя в Доме литераторов — он вечно что-нибудь подписывает. Да не о дачном кооперативе печется, а о каких-нибудь очередных Щербаковских палатах да усадьбах. Вот до чего дожили — так по Еременко и Розову получается? Сидели бы все по домам, каждый за своим делом да пописывали бы, да посмеивались. Если все научимся смеяться — с горы веселее падать будет!

А дома, как известно, телевизор. Телевидение. Оно у нас тоже перестраивается. Да не поймешь толком: то ли перестраивается, то ли подстраивается. В стране за 280 миллионов человек. Детей, подростков, юношей, девушек, женщин и мужчин среднего и пожилого возраста. Продолжим дальше: участников Великой Отечественной войны, ветеранов Афганистана и так далее, и так далее... Каков среди них процент поклонников «рок-поп-металла»? Посчитайте. Но телевидение наше будто вину какую-то искупает перед этой горсткой. Им и «поп», и «рок», и «металл» подаются каждый день в виде культурного десерта.

Школьник, сын моей подруги, бесстрастно глядя на экран цветного телевизора, где в это время красуется известный западный мужской дуэт, объясняет матери: «А вот этот слева, мама, — его муж». Хорошая школа для современного «Багрова-внука», не правда ли?

И чем это, хочется спросить, общество так провинилось перед новым поколением? Лишило отцов? Хлеба недодало? Не предоставило библиотеки, театры юного зрителя, «Артеки», «Орленки» и прочие удовольствия?

Впрочем, известно, что кое-что и недодало. Недосказало Правды. Подлинной истории. Хорошо бы нашим юношам историю начинать изучать по Карамзину — да негде взять было. Вот теперь бы и вложить средства в издание «Истории государства Российского» и советской истории, — полного, популярного, занимательного, иллюстрированного и т. д., а не бегать за океан в поисках очередной модной музыкальной группы.

Но у нас зачастую и отечественные таланты незаслуженно прозябают в безвестности. Угасает удивительной красоты голос Николая Тюрина! Мелькнула благодаря Свердловскому телевидению и угасла, как падающая звезда, уникальная исполнительница русских народных песен Валентина Сапогова. Что-то не слышно, чтобы концертные залы приглашали гитариста с мировым именем Сергея Орехова. А композитор и балалаечник Юрий Клепалов и вовсе занят в своей Тюмени проблемой приобретения приличного инструмента... Телевидению не известны эти имена??? В них нуждается, без них задыхается, может быть, огромная страна. Тут и пресса не прочь проявить ряд небезобидных инициатив. Гласность дает возможность разобраться в явлении, но отнюдь не следует употреблять ее с целью тиражирования и рекламы явления негативного. Вот ошибка нашей прессы сегодня. Рокеры и панки есть, рассуждает корреспондент одной газеты Ю. Щекочихин, значит, имеют право на существование: никого не трогают, никому не мешают, катаются себе по полу, колют наркотики, но не убивают же и не воруют — и пусть себе... А в это время огромная страна, терзаемая мыслью, как сделать жизнь лучше, а общество — здоровее, за них подумает, поработает, пострадает.

В городе Калинине, скажем, для этого и сидит писатель и публицист редкого таланта и совести Михаил Петров. Изучает исторические архивы, краеведение, досконально овладевает сельскохозяйственными знаниями — земля, почва, вода... Знаний накоплено столько, что М. Петров мог бы читать уникальные лекции в сельскохозяйственной академии. Она напрасно не держит тесных связей с нашими писателями. Они давно уже занимаются, как говорит Еременко, не своим делом и знают его отменно. Такова специфика времени и общества. Если общество на время утрачивает совесть, то единственной ее заповедной зоной остается — Писатель. И в данном случае писательская совесть отреагировала на ситуацию безукоризненно честно.

Слово в прессе сегодня нужно давать не только тем, кто публикует в «Книжном обозрении» эпитафии, демонстрируя запоздалую смелость, но и тем, кому всерьез есть что сказать о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне страны, ее хозяйстве, ее духовных основах и возможностях. Мы еще поклонимся подвижнической деятельности лучшей части русских советских писателей и кристальной честности ученых, подобно Ф. Я. Шипунову, употребивших науку во благо.

И все-таки самое большое, объединяющее нас богатство сегодня — это «чувства добрые». Ими живы. И поэтому в заключение мне хочется назвать имя поэта и человека, который многие годы был для меня образцом чести. Это Станислав Куняев. Я видела его в разные периоды жизни — в дни успеха и неудач, в административном кресле и на сцене, где звучит его всегда горячая, страстная речь в защиту русской поэзии! Я видела его уверенным и растерянным, окруженным друзьями и оставленным ими в трудную минуту. Но непременно мужественным. Общение с ним было настоящей школой трудной любви к больше-

му делу. И я благодарю его сегодня за эту школу, за те высокие, страдательные душевные порывы, которые он, невзирая на трудные времена, на ложную административную этику, на непонимание, посвящает будущему нашей литературы.

Надежда ВЕСЕЛОВСКАЯ, поэт.

Автор книги «Красное диво», поэтических публикаций и журналах.

АВТОР И РЕДАКТОР

Негативные процессы, мешающие молодому автору творчески развиваться, зависят, на мой взгляд, от внутренних качеств работников редакций и издательств, с которыми автор встречается. В силу своего отношения к работе, да и вообще жизненной позиции, некоторые из них очень доброжелательны и внимательны, некоторые — равнодушны или враждебны. Трудно это как-нибудь обобщить. Пожалуй, можно сказать о редактировании как о сложном в некоторых случаях процессе. Если автор искренен, он всегда переживает за свое произведение, за то, в каком виде оно предстанет перед читателями. Порой редактор помогает автору найти и исправить какие-либо недостатки. Но не в столь редких, на мой взгляд, случаях автор остается неубежденным в своей неправоте. Подчас редактор заменяет те слова, которые автору кажутся единственно точными. Доказать, переубедить? Но не все в литературе строится на четких доказательствах, не всякий автор обладает даром устного красноречия и, наконец, не всякий редактор сознает в данном случае свою ответственность. Дискутирующие стороны оказываются в неравном положении: последнее слово — за редактором. Твердо убеждена, что нельзя вносить редакторских правок без ведома автора.

Анатолий ДОРОНИН.

Автор книги «Художник Константин Васильев», многих публикаций в журналах.

КУЛЬТУРА И КОНТРКУЛЬТУРА

Слово «гласность» сейчас вдруг стало международным, почти так же как в свое время «спутник» — с русской транскрипцией оно вошло в словари многих стран мира. Однако слово «спутник»

имело определенное содержание и означало не только техническую новинку. «Гласность» же пока остается недостаточно определенным понятием, несмотря на то, что мы повторяем его на все лады.

В самом деле, что это: общедоступность информации — явление, о котором мечтал И. Ефремов как об общечеловеческом праве наподобие других «священных» прав человека? Или это возможность представлять на суд людской собственные суждения, давать трибуну гласу народному.

Во всяком случае, нельзя низводить гласность к одному лишь изобличению жуликов на страницах печати. И уж совсем плохо, когда, прикрываясь ширмой гласности, отдельные творческие работники, а порой и уважаемые издании сводят с кем-то личные счеты, формируют у читателей одностороннее, предвзятое, а порой и ложное мнение.

Вот несколько характерных примеров. В прошлом году на страницах «Нашего современника» увидел свет новый роман В. Белова «Все впереди». И тут же лавиной обрушилась на него раздраженная критика. Особенно поусердствовал Лакшин, весьма нетактично определяя круг тем и вопросов, которые имеет или не имеет права освещать известный писатель. В своем неудержимом запале критик бестактно намекает, что из окна, мол, деревенского дома в Тимонихе видно многое, но далеко не все. А между тем Василий Иванович Белов обозначил нам болевые точки людей, проживающих в современном индустриальном городе, обозначил для того, чтобы мы лечили, врачевали свои недуги. Заинтересованный взгляд талантливого художника подметил со стороны то, мимо чего мы, горожане, привычно проходили или чаще по привычке просто боялись называть своими именами.

Не менее вопиющим фактом представляется и кампания, развязанная в связи с появлением художественного фильма «Лермонтов». Еще за полгода до выхода его на широкий экран опубликовано более тридцати (!) разгромных, бичующих статей. Непредвзятое мнение зрителей, отдавших дань операторским и режиссерским достоинствам фильма, смелому и правдивому освещению исторических фактов, просто игнорировалось.

Причем пресса сплотилась единым фронтом с кинопрокатом, и людям, желавшим посмотреть фильм, сделать это было очень непросто: все сеансы в кинотеатрах Москвы назначались только в рабочее время, по одному-два в день, не более. Подобная ситуация складывалась в Новосибирске и других городах страны. Мне лично пришлось отпрашиваться с работы, чтобы попасть на картину.

Единственные рецензии, проливающие свет на явление фильма «Лермонтов», вышли в газете «Водный транспорт» и в вологодской областной газете. В них фильм оценен по-другому.

За что же «Лермонтов» подвергнут незаслуженной обструкции? Причина одна, автор-постановщик Николай Бурляев высветил одну из мрачных страниц нашей истории: раскрыл людей, причастных к гибели поэта Лермонтова, и показал, что они же свели в могилу и Пушкина. Но разве можно говорить о гласности и при этом строго регламентировать границы, в пределах которых допустимо освещать события и исторические факты? Не значит ли это — подменять правду субъективной оценкой событий?

В то же время, используя возможности, открытые сегодня гласностью, телевидение, радио, печать, особенно в передачах и печатных материалах для молодежи, ничтоже сумняшеся насаждают образчики массовой буржуазной культуры — рок-музыку, вызывая в сознании людей тревогу за судьбу нашей молодежи, а значит, и судьбу страны.

Тридцатилетний опыт Запада и уже накопленный отечественный свидетельствует о том, что рок не просто музыка — это религия зла, обладающая огромной разрушительной силой. Это наркотик и дорога к наркомании. Металлисты и панк-рокеры — еще и опыт коллективного насилия, организации насилия, питомник для взращивания будущих «новых левых» и террористов.

Не могу без душевной боли вспоминать телевизионную передачу «Мир и молодежь» от 12 апреля, где мне, к несчастью, пришлось принимать участие. По замыслу передачи, мы с редактором Т. Гобзевой хотели противопоставить фанатичным поклонникам «металло-рока» действительно творческое увлечение молодых людей. Подготовили интересный сюжет в кафе «Ярославский посад», что на проспекте Мира.

Там энтузиасты, люди самых разных профессий, объединились, чтобы создать радующий глаз интерьер кафе и потом в этом помещении устраивать встречи с различными фольклорными группами. В старинной технике алтарной резьбы они сделали из дерева лавки, шкафы, несколько сюжетных панно, люстры и прочее. Освоили изготовление изразцов и украсили ими стены. Получилось удивительно красивое, уютное помещение.

На встречу с телевидением ребята, авторы этого интерьера, пригласили лучшую в нашей стране исполнительницу русских народных песен Татьяну Синицыну, ту самую, что в фильме «Поющая Россия» исполняла песни за Плевицкую. Встреча состоялась, интересным, поучительным вышел разговор о традициях народного творчества и проблемах приятия его современной молодежью. Синицына с блеском исполнила три народные песни.

И как же распорядилось телевидение богатейшим материалом? Очень просто. От сюжета практически ничего не осталось. Голос Синицыной вообще не прозвучал в передаче. Последнее обстоятельство меня особенно возмутило, я позвонил в Главную редакцию программ для молодежи и попросил объяснений. Заместитель редактора тов. В. Осколков спокойно ответил: «Синицына не вписывалась в передачу...»

И действительно, где уж было ей вписаться, если на экране безраздельно царствовали металлисты? Звучали их ансамбли, давали интервью их фанатичные поклонники, которых показывали крупным планом во всей красе: с цепями, в кожаном тряпье, с непрестанно работающими со жвачкой челюстями. Один из фанатов поучал непонятливую журналистку: «Мы приветствуем друг друга: «Хэллоу!» — и вот таким жестом. — При этом он сложил руку в виде этакого чертика. Потом добавил: — На русском нет таких хороших слов. Русский язык бедный. Не будешь же выкрикивать: «Привет!»

Этот эпизод прошел по системе «Орбита». При последующих повторах у кого-то хватило ума все-таки вырезать его. Но слово — не воробей... На телевидение посыпались письма. Учащиеся ПТУ

из Грузии с возмущением обращаются в письме к авторам передачи: «...как вы можете показывать каких-то идиотов, не помнящих, кто они, откуда родом, и почему позволяете издеваться над своим родным языком?»

Непонятным остается только, какие чувства довлели над руководством молодежной редакции, не пожелавшим показать зрителю высокие и добрые устремления нашей молодежи, а вместо этого отдавшим телеэкран низменным образчикам массовой культуры.

Украинские капеллы, каунасские колокола, грузинское многоголосье — всего этого в молодежных передачах почти нет. Молодежное телевидение то и дело демонстрирует надрывные голоса и сомнительного качества рассуждения лидеров рок-групп. Вместо воспитания чувств любви и дружбы каждого народа СССР к любому другому народу нашей страны некоторые средства массовой информации с помощью американизированной массовой культуры пытаются привить нашей молодежи космополитизм. Модернистские тенденции, которые усиленно навязываются, — это лишь один из способов создать нечто такое, что в основе своей не имеет собственно народных корней. Если мы фактически уже забыли многое из собственной истории, то нынешние усилия модернистов объективно требуют, чтобы мы забыли еще и свое культурное наследие.

Да и где, каким образом мы можем припасть к целебному роднику народного творчества? Современная же музыка, по терминологии телевидения, — это почему-то только рок и брейк. А как быть с Георгием Свиридовым, Арамом Хачатуряном, хором Минина, исполнительницей народных песен Татьяной Синицыной, балалаечником Юрием Клепаловым?.. Никто из них не появляется на экране молодежного телевидения. Все заполнили Градские и Гребенщиковы. Но почему?? Какую гражданскую позицию исповедуют люди, формирующие молодежные программы? Помнят ли они о том, что истинная гражданственность бойца идеологического фронта — это синоним партийности в ее высшем проявлении?

К сожалению, проблемы нашего общества в молодежных передачах обсуждаются значительно реже, чем специфически молодежный круг проблем: организация досуга, рок, ранняя любовь.

Поражает то, что в многочисленных передачах о рок-группах, об их притеснениях в прошлом и правах на будущее ни разу не прозвучало ни одно слово о финансовой мощи московских и ленинградских рок-магнатов, о подпольной рок-индустрии, подпольном рынке кассет, главным образом с записями американской рок-музыки.

В то же время в музыкальных и молодежных передачах не упоминаются, например, проблемы и нужды фольклорных молодежных коллективов, которые в отличие от рок-групп порой не имеют ни клубов, ни залов для выступлений, ни денег. Все на энтузиазме, за счет сил и времени, остающихся от учебы и работы.

Павел ГОРЕЛОВ, критик.
Автор публикаций в журнале «Наш современник»,
в «Альманахе библиофила», альманахе «Слово»,
автор статьи в сборнике
«Гоголь... История и современность».

УВАЖАТЬ ПРАВДУ

Видимо, самое опасное сейчас — угроза неприметной, нечувствительной подмены подлинной правды спешно плодящимися на ее месте п о д о б и я м и, которые, как правило, предпочитают выступать под гордым знаменем «усложнившейся жизненной реальности». Происходит подчас подмена правды чем-то, что мобилизовано всего-навсего «исполнять обязанности» ее и что поэтому только рядом, вместе, почти совпадает с нею, а между тем совсем другое. Например, нам сейчас настойчиво предлагают поискать «точные слова» для выражения ими «современной сложности». Что-де означают теперь все эти «основы», «опоры» и «крепи»? Что понимается под духовностью и добром? Что стоит за словами «корневые начала», «устои», «дух», «душа» с веской прибавкой «народные»? А прекрасное слово «совесть»? Почему в ней спасение от наших бед? По мнению одного из критиков, все это, применительно к нашей сегодняшней действительности, «несовпадающее, мелкое, искусственное», не более, чем «риторические упражнения», «слова», ничего реально уже не обозначающие. Для кого, — хотелось бы мне спросить, — слова «совесть» и «душа», например, недостаточно точны, ничего уже не значат и не обозначают?.. Или кое-кому кажется, что «мужественная, страстная, благородная работа художественного разума по добыванию истины», работа, «исходящая из действительности», которую он обнаруживает у Ч. Айтматова («Плаха»), А. Твардовского («По праву памяти») и Д. Гранина («Зубр»), могла совершаться и совершалась без участия совести и души?.. Стоило бы сообразить, по крайней мере, что подобное самовыражение равняется подчас просто саморазоблачению. Но, видимо, слишком уж велико желание этого критика «не солгать». Так велико, что он совершенно забывает при этом: «не лгать» еще не значит уже «говорить правду». Личная искренность, даже столь беспощадная, еще очень далека от общей правды и сама по себе не заслуга. Без внутреннего права на искренность все подобные «откровенности» грозят обернуться в результате не только само-«заголением» и «обнажением», но и соблазнительным призывом читателя к такому же совместному радению. Помните?

«Я предлагаю ничего не стыдиться!.. Я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное... Заголимся и обнажимся!

— Обнажимся! Обнажимся! — закричали во все голоса». (Ф. М. Д о с т о е в с к и й. Бобок).

Но «бесстыдная правда» — это просто ложь. «Покаяние» без личного стыда, без «уважения к святости правды» (И. Киреевский) способно привести и приводит лишь к тому, что собирался осуществить еще былой рекордсмен кладбищенского «духа» и нравственного тления души у Ф. М. Достоевского: «Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться». Кстати, Ф. М. Достоевский сумел, кажется, найти и нужные «точные слова»...

Теперь как воздух нам необходимо не парение, а трезвение, не дерзость, а дерзновение, не прислуживание, а служение, не бесчисленные групповые знамена идейной гражданской войны, а единое общенародное знамя, не пустопорожнее красноречие и бесстыдное заголение, а полнота исторической правды. Справедливо замечено, что не только обман может быть возвышающим, что куда серьезнее теперь потребность в возвышающей правде. Противиться же ей могут сейчас лишь те, кто, по старинному выражению, «в суете ума их, помрачены смыслом». Помрачение смыслом, частным, оторванным от общенародных целей и потому разъединяющим — м е л к и м с м ы с л о м — распространенная болезнь современных лже-интеллектуалов, безоглядно верящих в «свою» или «групповую» правоту. Для «масс» же и вовсе припасена у них идея оценочного хаоса: «О вкусах не спорят, есть тысяча мнений». Своеволие «я» выступает тут как неоспоримая инстанция истины. Но подлинная правда, в отличие от произвола личного и группового хотения, может быть только всеобщей и объединяющей.

Например, так называемые «неформальные объединения» молодежи — это пора признать — есть настоящее р а з ъ е д и н е н и е молодежи в целом. И чем таких самоцветущих объединений будет больше и чем они будут сплоченнее, тем сильнее и глубже будет их общее грозное разъединение, распадение целого. Мало того, сама так называемая «проблема молодежи» никогда не будет решена, будучи вычленена как отдельная — «молодежная» — проблема. Молодежь может найти свое подлинное место только в том, что уже не-молодежь, и ее проблемы разрешимы лишь в направлении нашего общего движения к целостному общественному идеалу. Если же это будет не так, то любое «неформальное объединение» окажется просто стружкой, снятой с цельного дерева и свившейся вокруг своей собственной внутренней пустоты. Во всяком случае, думать, будто коктейль-бары, диско-клубы или акробатический рок-н-ролл (англ. rock-and-roll — «катай-валяй», «бей-валяй») и т. п. способны нам в чем-то главном помочь — это из эстрадного рецептурника тех, кто всегда только «вокруг молодежи» и от самой молодежи так же далек, как, например, телепередачи «Вокруг смеха» от настоящего смеха.

И еще: когда от великого чуда человеческой жизни не хотят

ничего, кроме того или иного «корыта» (в его самых разных воплощениях: от «печатного пряника» до «молочных рек с кисельными берегами»), стоит помнить, чем все это довольно скоро кончается. В финале такого отношения к жизни, по прозрению пушкинского гения, предостерегающе маячит бессмертный образ разбитого корыта...

Принимать ли нам слова за дела? Но сколько, например, слов потрачено на прения вокруг школьной программы по литературе? А вот многие из нас читали прогностическое интервью с членом-корреспондентом АПН СССР В. Болтянским. На вопрос журналиста: «Надо ли вводить компьютер в преподавание литературы?» — В. Г. Болтянский безапелляционно ответил: «Обязательно». И даже откровенно уточнил, что цель такой компьютеризации — «овеществить педагогическое творчество учителя». Это сказано при полном осознании, что конкретно, на деле такое овеществление будет означать окончательную дегуманизацию (без человека) общения учителя и ученика. Им предстоит в будущем общаться через компьютер, снабженный предусмотрительно сформированным «банком литературных мнений», отобранных на основе стандартных типовых программ централизованного распространения. Можно поручиться, кстати, что «банк» этот в свое время будет сформирован куда оперативнее, чем столь долго ожидаемая и до сих пор еще не выработанная приемлемая программа по литературе. В искусстве человеческого общения стать — учителю и ученику — никчемными придатками «банка литературных мнений», «ячейками» в камерах хранения информации — это ли не курам на смех? Это ли тот достойный результат, которого мы вправе были ожидать от широкого и гласного обсуждения общенародной гуманитарной проблемы?!

Самое обнадеживающее — это все же крепнущее постепенно понимание, что напрасны надежды пересоздать что-то одним административным велением, силою одной власти, без опоры на народное и общественное сознание, без доверия к органическим силам жизни. «Демократия» и «демократизм» должны подразумевать «народ» и «народность», чтобы не способствовать возбуждению демагогических инстинктов, чтобы избежать нежелательных крайностей необузданной демократии, с одной стороны, и косности мундирного демократизма, с другой. Народность для народа то же, что личность в отдельном человеке. Вне народности и личности нет и не может быть ничего реального и жизненного. Обезнародившийся народ, как и обезличившийся человек — вещи, надо признать, невеселые. В народности заключается все наше историческое призвание, весь смысл и причина нашего исторического бытия, а потому стоит особенно позаботиться о том, чтобы расхожие идеи демагогического безнародного сектантства, незаметно просочившись, не оказались для нас выше и важнее насущных народных интересов. И потому так важно всегда уметь своевременно расслышать голос конечного народного осознания.

Живой естественный голос человеческого общества в наше время — это печать. И особенно опасна поэтому в ней монополия на гласность. Должен твердо существовать общественный запрос на свободное мнение, свободный голос, который, как известно, тем слышнее, чем более голосов он слышит сам. «Голоса», правда, бывают разные. И такие, например, весь ум, вся духовная пища которых только в глумлении и отрицании и состоит («Московские новости», 1987, № 13, 22 марта — «Пусть Горбачев представит нам доказательства»), так что они сразу же становятся в совершенный тупик, как только иссякают поводы к их грошовому либерализму.

Ф. М. Достоевский справедливо насмехался над теми, кто благополучно сумел упростить свой взгляд на Россию «до последних пределов ясности». И впрямь, как легко иногда даются разрешения, если только сперва устранить вопросы! Одно сельскохозяйственное общество предложило на конкурс следующую задачу: какие принять меры для предохранения зерновых складов от мышей? Очень просто, отвечал один агроном, никаких мер не нужно, если мыши откажутся от дурной привычки поедать зерна. Действительно, просто. Нельзя не припомнить здесь И. С. Аксакова, писавшего, что семена зла плодовиты: доброе семя всходит не на всякой почве, на которую падает; семя зла растится и множится всюду, без особого труда и незаметно. Мы с таким тщанием принялись теперь у себя сеять и возделывать добрую пшеницу на старых нивах, но мы и сами не знаем, или, лучше сказать, мы забыли, как много растительной силы терний и плевел заключается в этой почве, как много семян дурной травы рассеяно по ней нами самими; мы забыли, что эти семена, не выполотые, взойдут непременно вместе с посеянною нами вновь пшеницей, и дивимся простодушно теперь: отчего же глохнет эта наша пшеница... Иначе говоря, семена всходят только тогда, когда падают глубоко в народную, а не в безнародную почву. Ибо без народного, без национального нет и общечеловеческого.

А. Пушкин по справедливости не ценил дорого «громкие права». Громких прав теперь у литературы достаточно, недостаточно подлинной правдивости.

Николай ДОРОШЕНКО, прозаик.
Автор книг «Тысячу километров до Москвы», «Хозяин неизвестного музея», ряда публикаций в журналах «Москва», «Литературная учеба».

ВО ИМЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Никогда художнику не отводилась роль самовластного творца культуры — под его рукой приобретало жизнь лишь то, что было предопределено духовным опытом и исторической судьбой его народа.

Исполнись волею моей, —

так было велено пушкинскому Пророку.

И только в новое время у художника появилась возможность «искать свою правду», «выражать свое я». Поскольку не только собственной причастностью к высшим, к вечным духовным ценностям, к жизни и к памяти своего народа вооружен сегодня художник, но еще и хорошо отлаженным механизмом информации — механизмом, который, подобно новым орудиям смерти, делает бессмысленной коллективную волю, ставит большинство в духовную зависимость от меньшинства. Надо, например, быть Некрасовым, чтобы твои «Коробейники» пел весь народ, а сегодняшний стихоплет может сочинить любую бессмыслицу, но с помощью радио и телевидения ему нетрудно вдолбить ее публике.

В утрате условий для демократического развития культуры повинен, однако, не прогресс, а те люди, которые пытаются использовать результаты прогресса в своих корыстных интересах.

Ну а нам, в общем-то, можно утешиться: наши средства массовой информации находятся под контролем у государства. Следовательно, если мы очень сильно захотим, то наши радио, телевидение, газеты, журналы могут стать для народа настоящими лицеями. Другое дело, мы, как мне кажется, пока еще слишком невнятно сформулировали свою духовную задачу. И не только во времена «Пролеткульта», когда пошлость, маскируясь революционными лозунгами, вела настоящую войну с нашей культурой, но и сегодня мы еще не сумели до конца избавиться от левачества, от вульгарного представления о новаторстве, об историзме. Не случайно в боли за свой народ, обычной для настоящего интеллигента, у нас многие готовы усмотреть нечто крамольное (разве не так случилось с В. Беловым?). Не случайно в комментариях к письму выпестованных «свободными голосами» литераторов газета «Московские новости» не постыдилась утверждать, что именно Аксенов, Любимов и им подобные готовили нынешнюю перестройку (а Василий Белов, оказывается, как был, так и остался «человеконенавистником»!). Не случайно один журнал заявил, что «выступления против массовой культуры не следует приветствовать», что Аввакум был... первым русским авангардистом, а Кандинский что-то искал в... народном лубке.

Можно привести много других примеров, свидетельствующих об активизации тех, кто хочет перестроить нашу культуру на западный образец.

Однако в связи с этим я хочу лишь напомнить о том, что поскольку у нас социалистическое общество, то под словом демократизация должны подразумевать не вседозволенность, не анархию, а предоставление нашим гражданам одинаковой возможности в приобщении к культуре «для высоколобых» (так, кажется, на Западе именуют настоящую культуру в отличие от «массовой», которая «для твердолобых»).

Пенять на молодежь, твердить, что она рождается с неутолимой жаждой к массовой культуре, я не стану, потому что знаю, как трудно сегодня юношам и девушкам быть «высоколобыми». Встретились мне как-то молодые люди, которые в свободное от работы время под руководством Андрея Лазарева, имеющего специальное музыкальное образование, устраивали концерты старинной русской музыки. И захотелось мне помочь

им найти постоянное помещение для репетиций. Но в горкоме комсомола мне ответили, что «это нашей молодежи не нужно». Вот так — молодежь хочет быть независимой от влияния западной моды и идеологии, а горком «знает», что выше «тяжелого рока» молодежи нашей не подняться. И конечно, А. Лазарева не пригласят выступить за океан. И «по голосам» о нем не расскажут. Хотя иностранцы приезжают к нам, чтобы послушать в Знаменском соборе «валютные» концерты вот таких коллективов. Когда я работал в Знаменском соборе хранителем, то сгорал от стыда при виде толп своих соотечественников — молодых и пожилых, — тщетно желающих приобщиться к настоящей культуре.

Хотим мы того или не хотим, но молодежь будет всегда в конфликте с текущей жизнью. Потому что молодежь не умеет терпеливо ждать. И те мальчики да девочки, которые объединяются защищать исторические памятники родного города, протестуют против откровенного попрания истории со стороны наших современных градостроителей. Есть и те, кто идет на конфликт с губителями родной природы. Мне доводилось видеть их одухотворенные лица. Однажды ребята эти в Центральном Доме литераторов умудрились развесить свои самодельные плакатики. Но печать наша о них помалкивает, а телевидение если и показывает, то наряду с металлистами. Вот бы выделили им помещения, как для многочисленных рок-ансамблей! Пусть бы проходили ребята школу гражданского мужества, пусть бы учились отстаивать перед чиновниками свою продиктованную патриотическим чувством позицию!

Однако для того чтобы кипящая энергия наших молодых людей была направлена на пользу, надо не отдавать их на откуп тем, кто хочет видеть их «твердолобыми». Нужно, чтобы к молодежи мы пробивались с таким же умением, с такой же настойчивостью, как наши идеологические противники. А у них на поводу идет даже наша печать... Вспомним недавнюю «звездную» болезнь «Московского комсомольца», который рекламировал молодежи товар западной эстрадной индустрии.

Когда искусствовед Кристиан Зервос решил показать Пикассо свои заметки о нем, тот ответил: «Вам нет необходимости показывать их мне. В наше убогое время важнее создавать энтузиазм. Многие ли читали Гомера? Но весь мир говорит о нем. Так было создано гомеровское суеверие. И подобные суеверия вызывают возбуждение. Энтузиазм — вот что прежде всего необходимо нам и молодежи».

Рецепт этот оказался верным. Многие ли видели формалистические работы Пикассо? Но почти все — благодаря нашей печати! — автоматически ответят, что он-де гениальный художник. И при этом не стыдно нам не знать Сороку, не стыдно нам, что знаем только одну картину Саврасова или Чюрлёниса...

Я не понимаю, почему наши театры обязательно должны превращать нашу классику в поделки, соответствующие убогой фантазии убогих режиссеров. Конечно, трудно подняться на цыпочки и дотянуться до Чехова, до Шевченко, до Гоголя. Но — не можешь, не берись...

Может быть, боимся мы, что Запад сманит наших «новаторов»? Или боимся, что на Западе нас не одобрят?

Но ведь должны не одобрить!

«Не понимаю, почему в революционных странах больше предрассудков на счет искусства, чем в странах упадочных!» — вот так не одобрял нас Пикассо. И далее он пояснял: «Нужна тотальная диктатура... диктатура художников... диктатура одного-единственного художника... чтобы уничтожить тех, кто обманывал нас, уничтожить шарлатанство, уничтожить привычки, уничтожить очарование, уничтожить историю и всю остальную кучу хлама. Но здравый смысл всегда побеждает. И нужно прежде всего совершить революцию против него!» Сказано это было в 1935 году, когда в Германии к власти пришел один из неудавшихся мазил. И хотя в 1945 году здравый смысл одержал победу, «революция» против него потихоньку совершается. Редко кто из современных молодых художников умеет делать элементарное — рисунок. А шум вокруг их выставок стоит небывалый! И Высоцкого один неизвестный мне член Союза композиторов сравнил с самим Шаляпиным. Экая честь Шаляпину... А я однажды прочел, что Достоевскому не делает чести его любовь к своим соотечественникам, к Родине, а если кто из нас все-таки смеет быть патриотом, то «все это ползет от непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века, не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей множеством приятнейших, душегрейных рассуждений: от гениального Достоевского до Шевцова...».

Кого же могут обольстить эти цитаты?

Тех, кому не хочется верить в горьковские слова о том, что народ создал Зевса, а Фидий лишь воплотил его в мрамор, кто хочет надеяться, что можно без обыкновенного профессионального умения, без глубокой культуры, без таланта и без любви к людям, к родной земле стать художником, кто хочет убедить нас, что литература и искусство — это лишь товар, что массовая культура, на которую соответственным образом реагируют даже коровы, которая адресуется к физиологии нашей, не унижает человеческого достоинства молодых людей.

Много надежд возлагаем мы на нынешнюю перестройку. Но пока еще быть оптимистом рано. Вот шум поднялся вокруг ленты «Легко ли быть молодым?», но о действительно серьезном фильме «Земля в беде» — старательно умалчиваем.

С детства не могу забыть одну страшную картину. Моя мать работала на ферме дояркой. Всегда приходила ночевать домой, а однажды ей для этого не хватило сил, передала она через фуражиров, что останется на ферме. И тогда я, собрав узелок с едой, помчался к ней. Мать, конечно, восхитилась этой моей заботой. Но домой не отпустила среди ночи, побоялась. Уложила спать рядом с собой. И — это была самая страшная в моей жизни ночь, потому что вскоре проснулся я от диких, похожих на жалобный детский плач, стонов спящих доярок. Все до единой они стонали! А руки их, надорванные работой, судорожно дергались, хватали пальцами воздух. Иногда кто-то вскакивал и смотрел прямо перед собой ничего не видящими глазами...

Что у нас было в то время? Хрущевский волюнтаризм? Но ведь даже в так называемый период застоя женщины эти работали как ломовые лошади. А кто-то в это время убивался за дачу в Переделкине, кто-то кому-то протежировал, усаживал в глубокое мягкое кресло. Горло мое начинает гореть от обиды, когда вижу я, как сегодня под сладкую, усыпляющую речь о перестройке кто-то благополучно продолжает не стыдиться своего равнодушия к жизни простых людей, наших кормильцев.

Александр КАЗИНЦЕВ, критик.
Автор многих публикаций в журналах «Москва», «Наш современник», «Вопросы литературы», «Литературная газета».

ТРУДНОСТИ ЖАНРА

Изменения, преображающие сегодня жизнь страны, доходят до литературы как до отдаленной провинции — слабым отзвуком могучего гула. Да, сегодня уже легче, чем несколько лет назад, «пробить» острую публикацию. Но вот два случая из моей практики, которые заставляют меня, молодого критика, всерьез задаться вопросом: как быть критиком?

В конце минувшего года я высказал несколько замечаний в адрес журнала «Юность». Журнал ответил двумя статьями (1987, № 1, 2). Однако в них не нашлось места для рассмотрения затронутых мной вопросов. Внимание авторов сосредоточилось на моей личности. Создавался портрет — с помощью вольно интерпретируемых цитат и откровенных домыслов. Наряду с этим использовались и сведения, не имеющие вообще никакого отношения к предмету разговора. Сотрудники «Юности» раскопали даже опубликованные несколько лет назад мои стихи, «трогательно посвященные жене», как саркастически отмечалось.

Примерно такой же была реакция на статьи, в которых я не согласился с завышенными, на мой взгляд, оценками стихов поэтов «новой волны», в частности, В. Коркия и А. Парщикова. Ответил мне В. Коркия — погромной статьей в «Литературной газете» (1987, № 14). «Болезненная процентомания», неумение понять трагедию В. Маяковского и «предсмертную тоску Мандельштама», обслуживание «непоэтов» — вот лишь часть обвинений. Как-то даже неловко напоминать — вся эта лавина вызвана замечанием, что поэзия «новой волны» не пользуется, по данным опросов на вечерах поэзии в ЦДЛ, особой популярностью (за А. Парщикова высказалось всего двенадцать опрошенных).

Статья В. Коркия, высокопарно озаглавленная «Несокрушима власть таланта» (текст не оставляет сомнений в том, кто зачисляется в таланты), содержит и ряд неприемлемых утверждений общего характера. К примеру, тезис об «ответственности перед читателем» рассматривается автором как родовое клеймо графомана. Отличительный признак графомана, по мнению В. Коркия, и в том, что он «кричит о любви к Отчизне». Не стану,

однако, рассматривать сейчас эти утверждения — они требуют особого разговора. Меня в данном случае волнует вопрос, как реализовать себя молодому критику в условиях, когда ответом на аргументы является откровенное шельмование?

Нет, я не прошу ограждать критика от риска, неизбежно связанного с резким выступлением. Он должен быть готов ответить за каждое слово статьи. Но, думаю, трудно признать нормальным положение, когда молодой критик, осмелившийся высказать замечания в адрес печатного органа или литератора, оказывается объектом расчетливой компрометации, становится мишенью для абсурдных обвинений. Разве не абсурдно утверждение, будто бы я «стесняюсь произнести слова «советская, многонациональная, интернациональная»? Сотрудникам журнала, проявившим интерес к моей биографии, должно быть известно, что я неоднократно писал о латышской, литовской, грузинской литературе, причем — это мне особенно дорого — часть материалов была впоследствии переведена и опубликована в республиках.

Сталкиваясь со столь недобросовестной полемикой, приходится говорить даже не о групповой борьбе, а о сведении счетов, стремлении пресечь работу молодого критика. Хотя и групповая борьба очень мешает литературе, литераторам, особенно молодым. На первый взгляд она как будто помогает им выдвинуться — будь верным группе, и она тебя поддержит. Но это поверхностный взгляд. Я убежден, что групповщина для критика губительна. Ведь его основное достоинство — способность четко и честно высказаться о явлениях литературы и жизни. Как только публика скажет: он хвалит писателя не потому, что он хорош, а потому, что он принадлежит к той же группе, — критик утратит доверие. Потом он может высказывать серьезные мысли, но кого он убедит, если читатели будут сомневаться в его объективности?

Разумеется, отказ от групповщины не означает отказа от убеждений. И тут камень преткновения для молодых! Одни считают, что дело критика — провести демаркационную линию, поставить заграждения и взрыхлить землю, чтобы никакой «чужак» на твою территорию не проник. Способность воздать должное талантливому «чужаку» для таких «неистовых ревнителей» — признак недостойного малодушия, отсутствия позиции и убеждений. Пытаясь сохранить объективность, неизбежно оказываешься «ненадежным» в их глазах. Но и по другую сторону линии, само существование которой для тебя отнюдь не безусловно, за тобой наблюдают пристрастным взглядом. Для них именно твои убеждения (ну, скажем, вера в то, что художник все-таки ответствен перед читателем, что понятия «писатель» и «народ» были для русских писателей едины) делают тебя чужим. А это значит, что ты, по определению, не можешь быть объективным. Что бы ни написал, все рассматривается как враждебная декларация.

Молодую критику подстерегает и другая опасность. Я с тревогой замечаю, что многие способные критики все свое время и азарт растрачивают на совещаниях, советах, конференциях. Их фамилии все реже появляются под статьями, зато все чаще мелькают в отчетах об оргмероприятиях. Между тем критик — это прежде всего статьи (не книги даже, а именно статьи). Он призван использовать свой талант (если ему дан талант) для разговора с многотысячной аудиторией, а не для келейных собеседований с литературным начальством. Трудно представить, скажем, Виссариона Белинского только в качестве непременного участника заседаний комиссий и советов. К сожалению, немалому числу моих сверстников такая роль представляется весьма престижной.

Эти и другие опасности являются, на мой взгляд, симптомами серьезного недуга. До недавнего времени застойные явления были сильны и в искусстве. Безвременье в поэзии, пышный расцвет «бытовой» прозы с ее «антигероем», цинично вопрошавшим: «Какая нравственность, какая мораль?», пошлость на сцене, катастрофическое падение песенной культуры, в которой народ извечно выражал свое отношение к жизни. Детектив стал основным чтением миллионов, занял место «учителя жизни». В таких условиях критерии художественности неизбежно мельчали, извращались. Само ощущение высокой общественной миссии критики, чувство ответственности стало утрачиваться.

Надежды на возрождение критики связываю с подъемом литературы. Время благоприятствует появлению талантливых произведений. Такие произведения — «неудобный» материал для литературных спекуляций. Они обладают тем внутренним достоинством, которое если не исключает недобросовестных толкований, то по крайней мере позволяет легко обнаружить недобросовестность. Да и самих критиков, если только они окончательно не утратили профессионализма, не может не увлечь перспектива серьезного исследования значительных литературных явлений.

Разумеется, коллегам по цеху следует вполне осознать ответственность перед литературой. Пока этого не произошло. Не могу не вспомнить сюжет, который кажется равно забавным и грустным. Один довольно известный критик, встречаясь со мной, неизменно советовал отказаться от «разносов», как он именовал мои статьи, и обратиться к «позитиву». И вдруг недавно он заявил мне: ну разве это у тебя критика, ты бы разнес такого-то (была названа одна из громких литературных фамилий)?.. На мой взгляд, такое представление о задачах критики, трактовка демократизации, гласности как свободы «разносить» кого угодно и как угодно глубоко ошибочна. Наоборот, сейчас критика получила завидную возможность говорить о «позитиве», не прибегая к натяжкам и подтасовкам. Упрочить успех талантливого произведения, открыть новое имя — ведь это заветная мечта каждого критика. Именно сейчас, в условиях общественного подъема в литературе, открылась возможность в полной мере осуществить эту благородную задачу.

Конечно, все это не означает, что критиков ожидает легкая жизнь. Трудности будут, но другого рода — творческие, трудности глубокого осмысления литературы и жизни, проникновения в сокровенные глубины текста. Художественная правда не дается без усилий.

Предсказать пути литературы, запрограммировать художественные поиски невозможно. Скажу лишь, что мне представляются неоправданными самонадеянные декларации поэтов «новой волны», стремящихся представить себя выразителями пафо-

са времени. Глубокие перемены в общественной жизни осуществляются уже два года, но ничего, кроме иронии и бесконечных жалоб на несовершенство мира, эти стихотворцы не предложили читателям. Обширнейшая коллективная подборка в «Юности» (1987, № 4) продемонстрировала это с убедительной наглядностью.

Скорее всего, как не раз бывало, литература, ориентируемая на классическую традицию, окажется наиболее восприимчивой к общественным новациям. Не случайно и сегодня наиболее яркие произведения как в поэзии, так и в прозе, создаются в русле традиции реалистического искусства. И в то же время любое новшество, если оно не чуждо его здоровой основе, легко прививается, дает свежие ростки на этом могучем дереве.

Но какой бы плодотворной ни была художественная система, в которой работают молодые литераторы, им надо помогать. Как? Прежде всего предоставляя возможности больше и быстрее печататься. Творческому становлению молодых помогло бы и издание молодежного литературного еженедельника. В Болгарии, например, такой еженедельник есть. Он имеет формат «Литературной России», выходит на 12 страницах. Издание удачно названо «Пульс». И действительно, еженедельник, оперативно публикующий стихи и рассказы, обзоры литературной, театральной, художественной, музыкальной жизни, способен передать биение пульса искусства молодых. Задумаемся — у нас и пишущих больше, и читательская аудитория несравненно шире. Так почему же у нас нет подобного издания, почему «Собеседник», еженедельник, предназначенный для юношества, уделяет внимание разве что эстрадной музыке? Неужели мы согласились, что молодежь способна проявлять интерес только к той разновидности искусства, с которой ее знакомят рок-группы и Алла Пугачева?

Конечно, еженедельник всех проблем не решит. Нужно и кооперативное издательство, о котором давно пишут, и такие формы работы, как клубы молодых писателей, литературные кафе (хотелось бы только, чтобы Союз писателей СССР более ответственно относился к подобным клубам, не допуская превращения их в рассадник групповщины самого вульгарного толка). Надо надеяться, что и существующие молодежные издания, обладающие мощным потенциалом, шире откроют свои двери дебютантам. Да и регулярно проводящиеся у нас совещания молодых писателей могли бы активнее пропагандировать творчество своих участников. Сейчас они дают рекомендации издательствам, часто келейно, уже после завершения самого совещания. И рекомендации эти нередко оказываются просто благими пожеланиями. Почему бы не взять на вооружение опыт устроителей пушкинского праздника поэзии? Ежегодно к этому празднику на базе «Литературной газеты» и «Литературной России» издается многополосник «Пушкинский праздник». Как оживило бы работу всесоюзных совещаний молодых писателей издание (в последний день) многополосной газеты не только с отчетными докладами руководителей семинаров, но и со стихами, рассказами их участников. Словом, форм конкретной деятельности множество. Было бы желание.

Владимир КАРПЕЦ, историк.
Автор книг «Федор Глинка», «Муж отечестволюбивый».

ПОВОРОТ К НРАВСТВЕННОСТИ

Что являлось существенным тормозом общественного развития в первые годы Советской власти?

Я бы определил это так: противоречие между созидательными задачами социалистического государства и позицией некоторых литераторов, стоявших в 20-е годы на троцкистской платформе и нигилистически отрицавших культуру собственной страны. Это противоречие связано с появлением значительного слоя людей, оторванных от земли, от труда в любых его проявлениях, особенно от труда земледельческого. Один современный западный философ, возлагая именно на этих людей надежды на спасение человечества, назвал их «свободно парящей интеллигенцией». Объединенная общей идеей — «идеей активности» (См.: Келдыш Вс. Русский реализм XX века. М., «Наука», 1975, с. 37), — эта международная сила стремится любой ценой навязать остальному человечеству свои представления о жизни, всегда от нее оторванные и умозрительные. Под «активностью» только не следует понимать деятельность в области науки, техники, медицины и т. д. — все это вполне совместимо с древнейшей обязанностью человека возделывать з е м л ю. Относясь к людям как к «человеческому материалу», «массам», «свободно парящая интеллигенция» прямо восприняла заветы одного из «титанов Возрождения» Макиавелли о цели и средствах. Известно высказывание И. Эренбурга от 1925 года: «Нужны были снаряды Круппа... голод, блокада... чтобы в темной героической Москве родилась поэзия вещи».

Эстетическое воплощение подобное отношение к жизни находит в модернизме. Сущность этого явления очень хорошо показал молодой литературовед Сергей Небольсин в своей недавно вышедшей книге «Прошлое и настоящее», где он вскрывает любые его проявления — от вульгарного абстракционизма до всевозможных «религиозно-философских», софиологических построений.

Общим при всей разнице форм модернизма остается одно — стремление к господству и миф о «гонимости». «Для опровержения модернистских свободолюбивых версий «тирании» и «удушения» достаточно их обобщить», — пишет автор книги. И далее: «Аргументы модернизма против «давления сверху» по нелепости и лжи особенно примечательны. Модернизм «против диктатуры»? А молодой Брюсов, когда он созиательно, во всеоружии разных теорий хотел быть как раз модернистом, говорил, что т о л п е н у ж е н в о ж д ь... Модернизм «против солдатчины в искусстве», «против выстраивания в шеренги»? А воинствующий футуризм отдает крикливые приказы о скорейшем разрушении сокровищ музеев и Кремля. Модернизм «против бюрократической расчисленности», «против канцеляризации бытия»? А неоднозначный Хлебников издавна мечтал о расселении сограждан в стандартные камеры-ячейки... Модернизм «против паспортного подхода» к убеждениям художника, к сути ис-

кусства? А художник-варвар, художник-кубист, когда просит дать объяснение, что же такое начертано и выражено в его «композиции» из кусков человеческих тел — гадость убийства или радость убийства, — протягивает вам документ о своей «принадлежности к одной прогрессивной организации». Модернизм «против всякой чьей бы то ни было и над кем бы то ни было власти»? А кучка люмпенов метит в «Председатели Земного Шара». Перечень этот, приведенный С. Небольсиным, можно продолжать бесконечно. Из того, что сегодня на виду и на слуху — вспомним хотя бы барда, не желающего дать за человеческую жизнь «и самой ломаной гитары», или певицу, под рев толпы поклонников выкрикивающую: «И вот преставился уже Иван Иваныч»...

От модернизма в искусстве можно перейти и к интеллигентско-утопическому сознанию вообще. Корни его в XIX веке были глубже всех вскрыты Ф. М. Достоевским. Модернизм в искусстве лишь одна из его форм. По самой своей природе утопическое сознание **не знает жизни**, оно изначально «книжное», фарисейское. Переделать жизнь по книге, неважно, хранимой ли кастой жрецов, «посвященных», или же сочиненной «гением» на потребу «массы», — вот цель такого сознания в любой его форме. А формы, принимаемые им, действительно самые разнообразные — от троцкистско-«революционной» до «христианской». При этом первое подменяет поиски реальных, жизненных выходов из общественных противоречий «перманентной революцией», художественным (вполне по-модернистски) взрывом, заканчивающимся всеобщей казармой. Корни этой подмены во всевозможных ересях средних веков, манихействе, богомильстве, иудействующем хилиазме. К числу «христианских» разновидностей утопического сознания принадлежит, например, пользующийся сочувствием властей фундаментализм в США с его идеей провоцирования ядерного армагеддона ради спасения «чистой голубицы» — самой секты фундаменталистов. Возможны, кстати, и «языческие» варианты вроде создававшейся в нацистской Германии Розенбергом «арийской мифологии».

Отвлеченный утопизм, тем более в силу наличия рассеянных по всему миру «бациллоносителей» — «свободно парящей интеллигенции», — болезнь, которая может поразить любой народ, любое общество. Наиболее страшные, кровавые формы его возникают тогда, когда власть захватывают непосредственно сами «утописты». Таким был, например, режим «красных кхмеров» в Кампучии, чьи руководители были учениками Жана Поля Сартра... Бывают иные случаи, когда утопическое сознание владеет людьми, по своим родовым корням гораздо ближе стоящими к «основной жизни», даже людьми с «крестьянской жилкой», людьми, непосредственно не являющимися «бациллоносителями». В случаях, когда такие люди занимают большие посты, возникает противоречие между созидательными задачами государства и разрушительными сторонами официальной «книжности». Обычно в таких случаях возникают явления застоя, нежизнеспособности. Так было у нас в 60—70-е годы с их несбыточными лозунгами о том, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Одновременно этим застоем пользуются люди, которые, употребляя тот же «революционный» словарь, направляют его против «системы» вообще, против государственности.

Утопическое сознание выступает как орудие самоуничтожения общества. В таких случаях необходима твердая политическая воля, способная, преодолев утопическое сознание, вывести общество из застоя. Так произошло и у нас. Нынешняя перестройка призвана окончательно вернуть нашу страну к «труду на родной ниве» (Ф. М. Достоевский). Еще раз подчеркну, что оградой, защитой от интеллигентского утопизма являются твердые нравственные устои, историческая память, любовь к родной земле. И еще **знание**. Знание исторических и социально-психологических законов, в том числе законов возникновения и развития утопического сознания. И еще сильная и ответственная государственная власть, знающая беды и нужды народные. Она тем более необходима, что существуют попытки футуристического, утопического воздействия даже на природу в целом. Взять хотя бы ту же попытку переброски северных рек. Взять хотя бы невиданное доселе вторжение к нам рок-музыки под видом искусства технического века. Да много, много подобного... Именно ускорение научно-технического развития обязывает нас к **одновременному** решительному повороту к нравственности и духовности, в том числе к исполнению заветов отечественной классики. Не или... или, а и... и... Через собирание в кулак всех сил, уже много раз бывшее в нашей истории преодоление невозможного. Как на поле Куликовом, как под Бородином. Как зимой 1941-го и годом позже под Сталинградом. И чем производительнее наука, тем глубже в родную землю должно врастать искусство. Тем важнее его первейшая задача — «чувства добрые лирой пробуждать». То же самое относится и к печати.

Теперь о спекулятивных тенденциях в современной литературе. Вопрос этот касается не только литературы, но и средств массовой информации вообще. Я бы продолжил здесь уже начатый в печати разговор.

Статья поэта Валентина Устинова, напечатанная в «Литературной России» 26 декабря 1986 года, посвящена, на мой взгляд, одному из важнейших вопросов не только литературной, но и всей нашей общественной жизни, явлению все более четко выявляющемуся в последние годы. Валентин Устинов называет имена литературных критиков, всюду и всеми путями занимающихся навязчивой рекламой такой же небольшой группы литераторов — «поколения Нового Арбата», как они сами себя называют, и противопоставляют «детей сложной городской культуры» тем, кто пишет, словами одного из этих критиков, Лаврина, «о березках и босоногом детстве». Лаврин этих последних называет в нарицательном перечислении — Ивановы, Петровы, Сидоровы... Трикратно справедлив Устинов, напоминая Лаврину, что эти три наиболее распространенные русские фамилии есть на каждом памятнике, над каждой братской могилой, где похоронены павшие на последней войне. От себя же добавим — люди, защитившие от гитлеризма самого Лаврина, само же «поколение Нового Арбата».

Явление, затронутое в статье Устинова, затронуто в ней все же лишь в его самом первом, самом поверхностном приближении.

Мы часто забываем, что гласность существует не ради самой себя, а прежде всего ради истины. И предполагает прежде

всего слова правды. Не полуправды, а всей правды, ибо только она исцеляет.

В новогоднем номере газета «Правда», приводя обзор читательских писем, заявила, что сама она не рассматривает свои статьи по вопросам культуры, литературы и искусства как нечто бесспорное. Надо сказать, что такое заявление центрального органа партии имеет огромное значение для нашей культуры. Часто бывало, что отдельные люди «проталкивали» через знакомых свои статьи в газеты и журналы, пытались стать монополистами в культурной жизни, очернить своих литературных противников. В условиях, когда господствовало не свободное обсуждение, а административные решения, такой подход на долгие годы «выключал» из нормальной литературной жизни самых разных писателей. Говоря словами М. С. Горбачева, «положение усугублялось и тем, что партийный подход к художественному творчеству нередко подменялся ведомственным, необоснованным вмешательством в сугубо творческие процессы, вкусовыми симпатиями и антипатиями, а методы идейного влияния и руководства — административными решениями» («Правда», 1987, 28 января).

Вот и в статье «Странная литература» Ольга Кучкина подробно пишет о недавно опубликованном романе Василия Белова «Все впереди». Можно по-разному оценивать этот роман с точки зрения художественности. Но в нем Белов хотел, говоря словами Достоевского, «вполне высказаться», сказать правду, пусть горькую, о нашем времени, о потере нравственных опор, о бездуховности, об изнанке женской «эмансипации», об алкоголизме и о многом, многом другом. При этом, будучи русским писателем, он, естественно, говорит прежде всего о бедах русского народа. По Кучкиной, оказывается, все эти беды и проблемы порождены «странной психикой героев романа». Далее оказывается, что «раздражение» писателя вызвано... необратимыми «физиологическими изменениями» мужчины где-то между 50 и 60 годами, связанными с представлениями о женской греховности». Прочитав такое, просто не веришь своим глазам — и это серьезный, критический разговор о романе В. Белова? Ведь в подобной «фрейдятине» выражена вся суть убеждений критиков В. Белова, которым по существу возразить писателю нечего.

Но вот в чем дело. Речь у Кучкиной идет о Белове — как раз об одном из тех людей, над которыми иронизирует и Лаврин. «Березки и босоногое детство», Ивановы, Петровы, Сидоровы... Именно они, эти Ивановы, Петровы, Сидоровы, Иваны Африкановичи, Полозовы и многие, многие другие — герои Василия Белова. И не только о березках и босоногом детстве пишет он, хотя и об этом тоже, — но еще об Отечественной войне, коллективизации, о бедах и потерях, о том, как выжить и сохранить достояние русского народа, ставшее достоянием всех народов нашей страны. Сохранение русского народа — главная тема Белова. А это означает и сохранение всех народов нашей страны, исторически с русским народом связанных. Нельзя в этой связи не вспомнить предсмертные слова автора книги о Белове Юрия Селезнева: «История нашего народа, история нашей Родины — это и история притяжения и сплачивания вокруг себя многих и разных народов. Этот факт общепризнан и утвержден в первых же словах нашего гимна:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь...

Наши идеологические противники не хуже нашего понимают важность проблемы русского народа как соединяющей единицы, цементирующей силы нашего государства. Вот почему антисоветизм все более явно обнаруживает формы откровенной русофобии. Русофобия есть не что иное, как стратегия империалистического «первого удара» по нравственному центру нашей державы, по самой важной крепи нашего Союза». Нетрудно видеть, что может означать сведение этих важнейших политических, нравственных, идейных вопросов к гаденькой физиологии. В то время как люди справедливо видят в Белове, как и в Астафьеве, и в Распутине, и в Быкове совесть страны, народа, «самую важную крепу» многонациональной советской литературы.

Вернемся к Кучкиной. Печатается она сегодня много. И тон ее резко меняется, когда она говорит о чем-то близком, очевидно, ей лично. Вот ее статья «Честной камерой», посвященная фильму «Легко ли быть молодым». Но это не обсуждение фильма, это, если угодно, программа. Панки, рокеры, металлисты, поклонники восточных религий, по Кучкиной, должны объединиться... торжеством синего цвета. Почему синего? «Синий цвет — цвет надежды», — заключает Ольга Кучкина. Было бы естественней привлекать всю молодежь, в том числе и «трудную», инакомыслящую, к творческому сотрудничеству по укреплению нашей государственности, но ведь тогда цвет знамени был бы иным! И символами те, которые исторически сложились в нашей стране! Куда и на кого собирается Кучкина вести панков и рокеров под синим флагом? В постскриптуме Кучкина противопоставляет фильм «Легко ли быть молодым» фильму «Борис Годунов», на который якобы не идут зрители. На кого же в поход зовут усталую и разуверившуюся в мнимых ценностях сегодняшнего дня молодежь? На отечественную историю? На ее уроки, обнаженные в трагедии Пушкина? В том числе не в последнюю очередь уроки участи самозванчества? А может быть, забвение этих уроков и породило в конечном счете протест молодежи? Вопросы, вопросы... Прекрасно, что сегодня их можно задавать. Но почему задавать их можно только одним углом? Если сегодня мы хотим говорить правду, давайте говорить ее всю.

Капиталина КОКШЕНЕВА, театровед.
Автор публикаций в «Театральной жизни».
Информкультуре, «Neues Leben».

НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ

Сегодня в театре, констатирует театральная критика, началась перестройка, «началась непримиримая борьба с духовным обнищанием». В чем же это выражается?

В минувшем театральном сезоне как-то менее всего говорили о духовном. «Борьба» не оказалась, как хотелось бы, началом

действительно такого искусства, которое выдержало бы суд совести, разума и жизни, новых ее перемен. Театральный эксперимент погрузил всех в организационные проблемы размежевания, хаотические перегруппировки внутри коллективов. По-прежнему театральная публицистика, обнаружив «любимую тему» сезона, говорила только о ней. Потом быстро забывала свой собственный опыт, выводы и прогнозы. Еще недавно так много говорили и писали о драматургии «новой волны», производственной теме, положительном герое. Интересно было бы и сейчас, в новой общественной ситуации, задаться вопросом — как опыт недавнего прошлого связан с реальностью сегодняшнего театра? Почему упал интерес к этим направлениям нашей недавней жизни? Темы возникают и исчезают, оставляя ощущение модности, но не глубины критического анализа. То начинается устная и письменная кампания по поводу юбилейных спектаклей — спектаклей к датам. И справедливая критика первых рецензентов доводится до абсурда многочисленным тиражированием темы, когда чуть ли не принципиальной становится мысль, что к дате можно ставить любой спектакль. Тогда зачем же мы обращаемся к нашей памяти, к тому или иному этапу истории? То все спешат обнаружить запрещенную пьесу и, не считаясь с творческими возможностями коллектива, боясь идти не в ногу со временем, формируют новую моду.

У молодого поколения на театре есть свои проблемы, но не так уж они и отличаются от «взрослых». Сегодняшняя театральная жизнь — общая для всех, она нас формирует. Но вместе с тем у молодых как бы нет права высказать свое отношение к этой самой общей жизни. На конференциях, пленумах, совещаниях крайне редко возникает желание старших услышать голоса молодых. А ведь диалог так необходим в молодости, в период профессионального и человеческого становления. Странно и другое. Например, руководители семинаров молодых критиков назначаются. И далеко не у всех молодых критиков возникает творческое и человеческое желание в них участвовать. Выбора же практически нет. А театральная пресса вполне могла бы открыть новую рубрику специально для молодых режиссеров (наиболее зависимых от «взрослых»), назвав ее — «Мой непоставленный спектакль». У молодого театрального поколения нет недостатка в художественных и гражданских идеях; думаю, что именно наличие их делает реальной смену поколений.

Однако есть и более принципиальные проблемы, волнующие молодых критиков. К сожалению, до сих пор не изжит сформировавшийся за долгие годы безоценочный, можно сказать и так, ценностно-нейтральный подход критиков к сценическим творениям. Вместе с тем перестройка в критике — это и есть возможность критиковать, анализировать, оценивать. Статьи, написанные в странном стиле удобной и все распрямляющей «диалектики», как правило, не содержат адекватного спектаклю образа. Авторы научились так скрывать свои позиции, писать изящно, что рецензии зачастую очень далеки от своего сценического первоисточника, не дают читателю и представления о месте того или иного спектакля в современной театральной культуре. Возможно, такое ощущение расхождения увиденного и прочитанного возникает потому, что крайне редко публикуются «два мнения». И «другое мнение» отвергается в редакции не в силу профессиональных огрехов статьи. С оценкой могут и согласиться, но именно ее наличие оказывается неудобным.

Удивительная складывается ситуация — критики разучились быть страстными, субъективными, не боящимися сквозь строки обнаружить свою личность перед читателями. А вместе с тем какая-то иная субъективность (закулисная?) все время напоминает нам, что «есть мнение», а сейчас — есть общественное мнение. Но кто формирует это «общественное мнение»? Слышат ли люди театра голос самого рядового зрителя? Что-то ни в одном театральном издании не появилось писем зрителей, как появились их отклики, например, на «Печальный детектив» В. Астафьева или «Закон вечности» Н. Думбадзе.

Драматургия и репертуар театра далеко не всегда совпадали в своем движении в истории нашего театра. Сегодняшняя ситуация не составляет исключения; но вместе с тем театр не стремится и в лоно литературы, давшей за последние годы мощные и живые произведения. Очевидно, нет еще соразмерности творческих потенциалов театра и литературы, нет еще потребности души. Иначе, непонятно, почему на столичной сцене нет новых спектаклей, например, по произведениям В. Распутина.

Сегодня и с высоких трибун мы слышим, что студийное театральное движение набирает силу и становится альтернативой профессиональному театру. Действительно, студий много (хотя пресса говорит в основном о четырех-шести), все они разные, и далеко не все их спектакли я видела. И возникли они совсем не вдруг, не сегодня; многие существовали давно, нуждались в помощи, в общественной поддержке (например, студия «Человек» под руководством Л. Рошкован, где родился знаменитый сегодня спектакль «Эмигранты» С. Мрожека, и это не первое обращение студии к польскому драматургу). Так что во многом новизна этой «новой» темы — студийности — сомнительна. Но я хочу говорить о другом в студийном движении. В нем, как и в молодежных движениях рокеров, художников, поэтов разных поколений (концептуалистов, метафористов и т. д.), я вижу нечто общее. Объединение в студию не всегда происходит по творческой вере. Есть тут болезнь самовыражения, что никогда не являлось последней целью творчества, питающегося стремлением к познанию, совершенствованию человека.

Что же сегодня студии противопоставили профессиональному театру? Специфическая «подвальная» эстетика некоторых из них объясняется не столько экспериментом, сколько заранее заданным пространством — подвалом дома, неприспособленного для театра помещения. А публика, так уж обернулось, с большим интересом идет в подвал, который словно обязательно гарантирует что-то непременно новенькое и «солененькое».

Студийное движение еще более размыло наши эстетические критерии. Нет никакой ценностной иерархии в жанрах и темах, в традициях «своей» и «чужой» культуры. Есть сплошной протест, желание работать «от противного». И в этом плане, конечно, студии поставили перед нами проблему не только сравнения с профессиональным театром по художественным критериям, но и вопрос о «получении удовлетворения» путем самовыражения для участников и приобщения к нему зрителей, тоже получающих специфическое «социальное удовлетворение».

Я не хочу причесывать всех под одну гребенку и отказывать

студиям в стремлениях подлинных. И театр-студию «На набережной» (под руководством Ф. Сухова и А. Авдулова), и создающийся новый Музыкально-этнографический театр (руководители — Б. Галкин, В. Щуров, М. Велихова) отличает духовное груженичество, когда между творчеством и жизненными ценностями нет пустующего зазора. Спектакль Музыкально-этнографического театра не музейный образец народной культуры — они живут естественно и непринужденно внутри ее мировоззренческого пространства.

Студийное движение отличает еще и поиск в направлении пристального всматривания вовнутрь себя, раскрытие глубин подсознательного или же «коллективного бессознательного». Растет в связи с этим интерес к восточной философии и практической ее части, ее преломлению в западной традиции. Увлекает Фрейд, Юнг, «театр жестокости» Арто. Театр молодого театрального поколения не хочет «откликаться», «отражать», «соответствовать» и т. д. Его последователи хотят «спасти театр», «спасти культуру», вернуть духовное. Кабы не от культуры, не от духовного спасти! Кабы вживание в темные психические стороны души не привело нас к физиологии, к опасности застрять на уровне инстинктов, энергии черного, а не светлого начала в человеке.

Именно в этом месте студии продолжают, а не противопоставляют себя начатому в профессиональном драматическом театре. В нем все больше и больше появляется спектаклей, где «жизнь человеческого духа» подменяется жизнью человеческой психики. Сильные физиологические эффекты, надрывные крики, «дыхательные» и прочие упражнения «по системе Гротовского» — выразительные средства спектаклей «Тамада» А. Галина (МХАТ, реж. К. Гинкас), «Плюшевая обезьянка в детской кроватке» М. Яблонской (Театр имени Н. В. Гоголя, реж. В. Долгачев). Анализ психических процессов, сильных ощущений, потребительских инстинктов заключен в тематике спектаклей «Спортивные сцены 1981 года» Э. Радзинского (Театр имени М. Н. Ермоловой, реж. В. Фокин) и «Инфанты» В. Мережко (Театр имени Моссовета, реж. Ю. Кочевенко). Если речь идет не о душе, а о психике, то, естественно, в центре оказывается обыгрывание инстинктов — сексуального, потребительского, — которые и переносят нас в область сугубо материальных проблем. Многие спектакли, как и эти, начинены своеобразной борьбой полов, подменяющей реальность морем чувств и рефлексий.

Есть еще одна примета в современной театральной культуре. Как часто мы слышим — «театрализация жизни», «игра с реальностью», «двоящиеся отношения к миру», «глубинное мучение современного человека — в невозможности выбора» и т. д. Игра распространяется на жизнь: «игра с действительностью» становится новым критерием в оценке смысловой наполненности драмы, спектакля. Словно одновременно молодежь неформальных объединений и критики решили превратить жизнь в нескончаемый праздник самоутверждения на путях «свободной игры». Категория «игры» при театрализации жизни приобретает уже признаки мироощущения, а в искусстве же игровое отношение к реальности все делает относительным, перевертывает, меняет местами оценки, которые, конечно, не вечны. Только меняют их тоже эксперты и авторитеты, а не одни лишь объективные обстоятельства.

Я думаю, что сегодня очень важен аскетический пафос искусства и шире — культуры; пафос самодисциплины и самоограничения. Без аскезы, предполагающей сопротивление первичным желаниям, без возделывания природы и превращения ее в духовность, требующую сострадания, переживания, сочувствия, было бы невозможно творчество Толстого и Достоевского, Вампилова и Распутина, М. Стельмаха и И. Мележа.

Возможность изменения жизни и постижения ее искусством мы готовим сегодня, пытаясь называть вещи своими именами.

Константин КОВАЛЕВ, критик.
Автор книги «Орфеи реки Невы», статей
в журналах «Москва», «Молодая гвардия».

ВНИМАНИЕ К СЛОВУ

Молодой писатель может и должен вкладывать свою лепту в те перемены, которые происходят в нашем обществе, в первую очередь своим художественным творчеством. В последнее время складывается впечатление, что писатели — умельцы «на все руки». И в самом деле, писатели — и ораторы, и хозяйственники, и экономисты, и историки, и экологи, и культурологи, и политики, наконец. Ведь писатели же воодушевили перестройку как таковую. Но всеми этими «профессиями» и соответствующими им качествами могут владеть и другие люди, «не писатели». Писатель же в первую очередь — писатель! Создатель художественного произведения. В этом должна проявляться его личность, иначе ему нужно избрать другой жизненный путь.

Молодым авторам в этом смысле, как ни странно, тяжелее. Год от года им твердили: не спеши быть писателем, побудь сначала «в жизни», поработай «в другой профессии», а затем уж садись за письменный стол. Вот так порой «жизнью» пытались оторвать писателя от его труда. Однако хорошо и то и другое. Всякий писатель, если он таковым является, познает жизнь, несмотря на то, где он и кем работает. Если он патриот, обладает гражданскими принципами, видением реальных государственных проблем, умением чувствовать историю, талантом художника, любовью к отечественному слову, то налицо истинная творческая личность.

Итак, перестройка молодого писателя выражается в его отношении к своему непосредственному делу. Сейчас весьма «важным» делом становится устное выступление литераторов на различных форумах, секциях, семинарах, советах. Так, довольно громко и солидно, можно говорить и год, и два, и больше. Но результат — это все-таки рукопись. И, естественно, выпущенная книга. Пользуясь правильным девизом: «мне до всего есть дело», писатель по мере сил участвует в общественной литературной жизни. Но грош цена его активности, его выступлениям, если они не подкреплены талантливыми произведениями. Нет ничего опаснее тенденции превратить отечественную литературу и литературный процесс в «дискуссионный клуб» или в «клуб интересных встреч». Артистизм и эмоциональный эпатаж

вряд ли присущи истинной русской традиционной словесности, с ее философской глубиной, духовным зарядом, пристальным вглядыванием в душу народа, в его прошлое и будущее.

Под перестройкой мы зачастую понимаем «ускорение». Возможно ли подобное в области литературы? Есть ли что ускорять? Думается, что для того, чтобы разобраться в этом, надо вспомнить старые термины из области экономики. Не так давно мы говорили об интенсификации и экстенсификации производства. Так вот перестройка в области словесности должна происходить, видимо, в интенсивной форме (да простят меня собратья по перу за такое выражение). Не количество, но качество. Кажется, это всем ясно. Но не ясно, по-видимому, другое: какое качество! Погружение в глубину словесности — это погружение в глубину русского слова, в глубинные пласты народной культуры. И это тоже, думается, ясно. Но тем не менее повториться еще раз следует, потому что само значение слова в период перестройки и демократизации общества неизмеримо возрастает. В потоке самых разнообразных мнений, в лавине слов, обещаний и заверений, в период, когда гласность проявляется во всех сферах культуры, может возникнуть обратный эффект — недоверия читателя к писательскому слову. Усталость от многократных доказательств самых разнообразных истин. Слово писателя, а тем более молодого писателя, может потонуть в этом потоке, не дойдя до сердца читателя, хотя само по себе это слово будет горячим, откровенным, налитым соком жизни и кровью выстраданных мыслей.

Внимание к сказанному и написанному — вот одна из важнейших черт писательской перестройки. Двойное, тройное внимание к слову. Борьба с легковесностью, с модернистскими извращениями, с интеллектуальным обманом, с духовной пустотой.

Слово всегда было единящей силой. Силой, скрепляющей общество в трудные, переходные периоды его истории. Слово должно и способно стать единящей силой перестройки. Но что для этого нужно? Разжигать ажиотаж новыми «открытиями» давно известных и отнюдь не «забытых» истин? «Смелыми» публикациями «гонимых» прежде авторов или их произведений? Ностальгией по весьма сомнительным ценностям недавнего прошлого, якобы скрытым в «подполье культуры»? Предположим, что мы опубликуем все, даже «самое-самое». Что произойдет? Революция сознания? Революция в культуре? Переворот духа? Вряд ли...

Для перестройки в обществе это уже не даст ничего. Общество уже само осознало свои проблемы, уже сделало шаги по пути их разрешения. Чего же не хватает теперь для успешного движения вперед, для осуществления грандиозных задач? Думается, того, что еще и еще раз должно стать целью культурной перестройки: не хватает внутреннего общественного единства. Крайне необходимо развивать, культивировать и поднимать дух советского самосознания. Сплоченность народов — залог победы в перестройке. Талант писателя, способного увидеть пути к единству, передать лучшие черты наших великих людей-соотечественников, героев общества — талант этот на вес золота в наше нелегкое время, и беречь его, соответственно, следует, как крупицу драгоценного металла, как сокровище, до-

стояние общества, всячески способствуя его сохранности. А уж сохраненный, он сам взрастет и даст плоды, которые отплатят сторицей и народу, и государству за затраченные средства. Если же плоды станут горькими, то спрос должен быть иной. Общество имеет право, а порой даже обязано истребовать долги. Вредоносные стволы, оторвавшиеся от корня отечественной культуры, засоряющие почву дикорастущим бурьяном, способным уничтожить многовековую окультуренную поросль, в конце концов следует отделять от корня. Иначе литература, как пушкинская героиня, будет рождать «не то сына, не то дочь», «неведому зверушку».

В этом смысле и необходимо рассматривать те негативные процессы, которые происходят в сфере литературы. При пристальном, внимательном рассмотрении таковых тенденций можно увидеть много. Так или иначе в отечественной литературе всегда существовали силы, препятствовавшие росту таланта, распространению его, травившие лучшие силы словесности. Это в первую очередь — серость, пошлость, бескультурье в буквальном, народном смысле этого слова, отсутствие государственной и культурной грамотности, душевная и духовная черствость, бюрократизм. Носителями этих, вполне конкретных категорий являлись вполне конкретные люди. И бороться с ними — долг не только литературы и литераторов, но и всего народа.

Однако существует, видимо, одна важнейшая проблема, становящаяся тормозом литературного процесса в целом, то есть создающая такие препятствия для развития литературы, при которых в конце концов можно будет говорить о тупике в сфере литературы, о ее невозможности развиваться в естественных, неизвращенных формах, свойственных традициям отечественной словесности. Для молодого писателя — это проблема вдвойне. Вот она: **отсутствие полной зримости текущего литературного процесса и возможного участия в нем.** Об этом говорено и переговорено. И безо всяких пояснений всякий молодой, да и немолодой литератор понимает, о чем идет речь. Потому что «зримость» процесса (именно процесса, а не его видимости, его результата, его последствий) — это вторая и не менее важная сторона гласности. К гласности мы уже приблизились — говорим о многом, если не обо всем. Но успеваем вовремя сказать немногое. Если успеваем, то поздно, выражаем уже вторичные, устаревшие на данный момент детали, факты. Можно сказать, конечно, что литератору спешить некуда. Художественные ценности, они, так сказать, вне времени. Да, это так. Истинное произведение литературы — оно вне времени. Но появляется ведь оно в определенное время, в определенный момент. Дата рождения произведения — это факт истории, факт литературного процесса. Читая роман спустя несколько десятилетий после его написания — что мы потеряли? Трудно даже ответить на сей вопрос. Более, чем много... А что говорить о критике. Журнальная критика «запаздывает» на полгода (сроки выпуска журналов в свет) — и это в лучшем случае. Для всех критиков уже не хватает места на страницах лучших журналов. Критический диалог «продирается» сквозь временно́е расстояние и растягивается на годы. Если это можно отнести к произведениям именитых авторов, то что можно говорить о молодых?! Здесь мы почти не наблюдаем литературного процесса вовсе. «Молодые о моло-

дых» — традиционные одноразовые (в году) номера «толстых» журналов или же отдельные публикации в «молодежных» журналах ничего не определяют в области процесса, по ним можно составить лишь обрывочную картину происходящего.

Нужны, нужны свежие журнальные силы, новые страницы, новые журналы, альманахи, сборники. Пусть в них выражается своя, определенная, самостоятельная точка зрения, прослеживается определенная тенденция — тогда станет ясно, чем «дышат» его авторы, тогда налицо и текущий литературный процесс.

К слову о так называемой «групповщине». Меня всегда поражала удивительно надуманная, а порой даже вопиющая наглость выставления этого, с позволения сказать, «термина» на всеобщее обозрение. «Термин» сей явно придуман. И не случайно. Кому-то выгодно, например, назвать здоровые, патриотические литературные силы некой «группой», наклеить ярлык «воинствующей команды», очевидно, подразумевая под этим ту негативность, которая не так давно казалась скрытой под словечком «группировка», «группа». В отечественной литературе всегда существовали и существуют определенные тенденции. Существовали и определенные направления. Славянофильство и западничество, например. Разве их можно было называть «группами», а их программы — «групповщиной». Наклеивание подобных ярлыков принижает саму глубокую сущность литературного процесса. Молодой литератор, ищущий свое место в отечественной словесности или уже нашедший его, ни в коей мере не должен и не может причислять себя к «группировкам». Он должен быть выше и чище этого, потому что «литература» — это не «группа», так же, как и «Родина» — не «среда обитания».

И далее. «Групповщина», которой вовсе не существует, но которую пытаются навязать на шею литературе, порождает спекулятивную тенденцию — желание и возможность «выскочить» «на гребне» не за счет своего таланта или проделанной работы, а за счет «ситуации», «удобного момента» в групповой «схватке», так сказать, «на плечах противника», «в пылу дискуссии», а порой и на «плечах товарищей». Войдет «группа» в период известности, станет «притчей во языцех», глядишь, вместе с ней и иной совершенно бездарный насильник пера приобретет свою популярность. Вот для чего и служит «групповщина», вот зачем она и создается. А забывается то главное, что было присуще отечественной литературе. Русская словесность, русская мысль были всегда глубоко индивидуальны, не индивидуалистичны, но индивидуальны и вместе с тем глубоко народны, всеобщи. Настоящие отечественные писатели не входили в «группы», они лишь смотрели своими глазами и «глазами народа» на русскую идею, тем самым продолжая развивать классическую отечественную традицию.

Модернизм же глубоко индивидуалистичен. Поэтому он, входя как неизбежная составная часть в глубокое русло отечественного литературного процесса, по сути дела, не может противостоять тому, что более реально, более неколебимо, более жизненно. Модернизм меняется — отечественная словесность развивается. Модернизм приспосабливается — словесность проявляется в новой своей ипостаси. Модернизм ищет — словесность отдает давно найденное, высветляет незримые до поры грани. Модернизм жаждет победы — словесность довольствуется тем, что

есть, ибо в том, что есть — и поражение, и победа. Модернизм выживает — словесность живет. Понятия партийности, народности, гражданственности нисколько не страдают ни в какой период литературного процесса, даже в период «победы» модернизма. Они не страдают потому, что неизменны по своей сути. Они существуют как истинные ценности. И когда времена проходят, и опять что-то меняется, они вновь проявляются, о них вновь вспоминают, они вновь живут, ибо и не умирали вовсе и не умалялись даже в самый тяжелый период.

И еще о гласности. О том, как смотрят на нее молодые историки. Волею судеб я — историк. Занимаюсь сейчас русской музыкой XVIII столетия, пишу много на эту тему и, в частности, закончил книгу о выдающемся русском композиторе Дмитрии Бортнянском. Для историка всегда возникает одна-единственная проблема, когда он погружается в исторический материал, — правда, подлинность происходящего, наличие документа, свидетельства. Вот в этом-то и состоит сущность «гласности». Если уж говорить и писать, так уж обо всем! Обо всем, что было, и обо всех. Особенно это касается недавнего прошлого в жизни страны. Не надо бояться, что это кого-то отпугнет. Ныне бóльшая гласность — это больший авторитет. Вовсе не значит, что нужно кричать о том, как было плохо и как стало хорошо. Литератору стыдно говорить о себе, как о герое, единственном правдолюбце и правдоносителе. Такое самовосхваление подрывает авторитет и доверие к самому слову писателя. Ведь за писателя говорят его книги, а не он сам. Важно говорить о волнующих проблемах. И когда первая волна гласности отхлынет, когда поток «захлебывающейся новизны» фактов немного поутихнет, мы услышим непривычные, более серьезные, более художественные голоса, в наши души вольется искреннее, болящее слово о современности, об отечественной истории, о нашем прошлом и будущем.

Итак, литература и перестройка — тема неисчерпаемая. И как должна происходить перестройка в литературе, как в ней участвует молодой литератор — это еще сама по себе проблема. Не следует ли сначала решить и обсудить ее? А уж затем «спешить» менять и внедряться в слово, в нетронутые и нетленные пласты отечественной словесности?

Виктор КРЕЧЕТОВ, критик.
Автор книги «Это имя твое», статей,
опубликованных в журнале «Молодая гвардия».

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

В последнее время я часто встречаю людей, удивленных происходящими в наших газетах и журналах «чудесами». Удивление порой столь велико, что люди испытывают состояние, близкое к тому, которое психологи называют стрессовым. Что же это за чудеса?

В журналистике — это обсуждение чернобыльской трагедии,

гибели «Адмирала Нахимова», ряда экологических катастроф, совершившихся или готовых вот-вот совершиться, неслыханные по масштабу разоблачения воровства и коррупции. На фоне этих событий собственно литературные события выглядят более тускло и менее будоражат сознание читателя, чем реальность обыденной жизни. Конечно, художественное произведение всегда значимо, но если не наполнено большим общественным смыслом, то такое произведение при всей сенсационности не всегда оправдывает то значение, какое мы придаем ему. Свежем, разоблачение лысенковщины нужно, но национальной культуры этим не обогатишь. Предполагающаяся публикация «Доктора Живаго» в журнале доказывает лишь наш провинциализм, так как на Западе его давно уже пережевали. Возвращение Н. Гумилева носит сегодня лишь историко-литературный характер, однако свидетельствует о существенном повороте в нашем сознании. То же с Набоковым — если уж мы решили, что нашему читателю (или писателю?) необходимо знакомство с его творчеством, то надобно публиковать и «Лолиту». Но тогда не познакомить ли нам нынешнего читателя с «Саниным», или не начать ли публикацию порнографических романов Генри Миллера? И далее в том же духе.

Упиваясь воздухом свободы, следует все же помнить, что подлинная литература существовала даже и во времена «культа личности» (Леонов, Шолохов, Вургун, Пришвин, Платонов, Твардовский и др.), и нынешняя переоценка ценностей подлинных ценностей все же не касается. Эйфория, в которую впадает часть читателей по поводу свободы и гласности, есть состояние субъективное и эмоциональное, вопрос же в том, что у нас останется, когда исчезнет новизна этого состояния, будут ли ценностные обретения или нет? Пока и не слышал, чтобы кто-то восторгался новыми духовными открытиями, и сам я таких открытий не вижу. Конечно, нельзя требовать открытий немедленных, но отдавая страницы журнала тому, что прежде по какой-либо причине не было напечатано, мы фактически утверждаем, что данное произведение имеет особые права на внимание читателя. А так ли на самом деле? И вообще мне кажется, что мы изо всех сил стремимся кому-то доказать, что у нас свобода не имеет ограничений, что у нас все возможно. Но там, где все возможно, там никому не надо ничего доказывать, ни перед кем не надо оправдываться. Впрочем, едва ли может существовать общество с неограниченной свободой слова. Это означало бы обесценивание слова, что для России особенно противоестественно, ибо слову у нас традиционно большая вера. И потом, нельзя же из культуры делать некий Гайд-парк, где каждый несет что ему взбредет в голову. Культурный процесс — это большое и живое дело, в результате которого остаются определенные достижения человеческого духа и передаются потомкам.

Очевидно, что именно поэтому нам не может быть безразличным, какие ценности предлагаются ныне нашим читателям.

Установка партии на гласность и демократизацию кое-где пока проявляется однобоко: то, что вчера было плохо или выдавалось за плохое, ныне выдается за хорошее. В этом сказывается наша многолетняя губительная привычка гнуть лишь в ту или в другую сторону, и в этом смысле подлинным примером в деле перестройки я вижу такого художника, который как до перестройки честно выполнял свое дело, так выполняет его и теперь, и труд которого, может быть, и привел нас к осознанию необходимости перестройки. Есть ли у нас такие писатели, которые шли впереди перестройки, которые своей деятельностью подготовили ее? Есть. Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Воронин, Юрий Бондарев, Петр Проскурин, Михаил Алексеев, Иван Тарба, Иван Васильев, Иван Шамякин, Баграт Шинкуба, Борис Олейник и многие другие.

Жить и работать в условиях гласности и демократизации нам еще предстоит учиться, ибо наследие недавнего и уже отдаленного прошлого, многолетнее наследие, вошло в нашу кровь и плоть и все еще заставляет нас оглядываться. Привычка серьезных писателей идти выверенным и надежным путем привела к тому, что первыми взяли гласность в свои руки те, кто имел опыт эпатажных выступлений и кто прежде подменял гласность для всех гласностью для себя, для группы лиц близкой ориентации. Поэтому-то и возник разговор о «душке групповщины» на секретариате Правления СП РСФСР 17 марта 1987 года.

Разговор о групповщине время от времени возникает на страницах литературной печати, но я нигде не встречал точных, и во всяком случае удовлетворявших бы меня, определений того, что же такое групповщина, хотя дело вроде бы очевидное — преследование групповых интересов, то есть интересов группы людей. На мой взгляд, главное тут в том, чтобы интересы группы совпадали с интересами народа. Если ряд писателей, например, разрабатывают традиционно важную для народа линию, то интересы этих писателей никак нельзя назвать групповыми, даже если эти писатели будут поддерживать друг друга. Групповщина имеет место там, где интересы группы стоят выше интересов народа, вне их или над ними (такими интересами могут быть и материальная корысть, и духовная — проповедь идей, чуждых народу). Может быть, и не всегда сразу определишь, где служба народу, а где личная выгода, но определять это необходимо.

Олег КОЧЕТКОВ, поэт,
Автор поэтических сборников «Время настало», «Травяная дорога», «Родное лицо».

ЭСТРАДА И ЖИЗНЬ

Как-то довелось услышать передачу по радио о матери и четырех сыновьях. Она — в доме престарелых, у деток — свои семьи, имеют квартиры, живут беззаботно и обеспеченно, никто о старой не вспомянет, не проведает. Словно напрочь забыли сыночки, как кормила, растила, выхаживала, ночей не спала. Словно бы и нет ее уже для них, да и не было никогда. Живет себе одна, доживает свой век, при живых-то детях! Вспоминаю

об этом почему-то все чаще в последнее время, видя и раздумывая над тем, что происходит в нашей культуре в настоящий, воистину исторический момент. Вот, говорят: «Наконец-то «шлюзы» открыли!» Да, действительно... открыли! Читаем, слышим, видим. Вроде бы радоваться надо: Гумилева печатают, Ходасевича, Набокова и других, фильмы идут, которые на полках изрядно пролежали, звезды западной эстрады и по телевидению и на пластинках. Наконец-то стало возможным говорить остро, полемично, критически, словом — говорить Правду. Все как-то всколыхнулось, оживилось, да и сами-то мы, действительно, словно свежего ветра вдохнули. Да, «шлюзы» открылись. Но вместе с долгожданной, чистой, живительной струей, с телеэкрана, из эфира, со страниц газет и журналов хлынула и... разноцветнаи, густая пена! И она-то, поскольку всегда на поверхности, в первую очередь бросается в глаза, радуи, особенно неискушенного человека, чаще всего молодого, всеми своими немыслимыми переливами, в лучах благожелательного солнца. И хлынули многочисленные дискуссии «на полном серьезе» о диско-клубах, брейк-дансе, «металлистах», панках, рок-ансамблях и рок-певцах, о самодеятельной песне и бардах...

Многочисленные передачи по телевидению и радио, страницы молодежных изданий, да и не только молодежных, посвящены всей этой откровенной ширпотребной массовой культуре, ничего общего не имеющей с подлинной культурой духовной. Все то, что раньше ивлялось зачастую темой обыкновенного домашнего, семейного застолья, — ныне выносится на многомиллионную аудиторию! И вот стоят на сцене перед микрофонами убеленные сединами, а то и обремененные научными званиями и должностями мужчины, чуть не написал — мужи, перебирают струны гитар и шепчут, или хрипят «под Высоцкого» с глубокомысленным видом что-то очень декадентское, типа «Вальс-бостон», или «экзотическое», про какой-нибудь затеринный в океане банановый остров и райских птиц, либо еще что-то, столь надуманное, столь и безвкусное.

Кстати, о Высоцком. Здесь общий хвалебный хор поклонения дошел уже до того, что его назвали и первым поэтом современности, и уже с Пушкиным сравнили, благо почти в одних и тех же номерах газет и журналов, в декабрьско-январско-февральских шли одновременно материалы, посвященные 49-летию со дня рождения этого актера и барда, и материалы к 150-летию со дня смерти великого русского поэта. В годовщине этой тоже были свои «новшества». Об одном мероприятии, посвященном памяти Пушкина, мне приходилось уже писать в газете «Московский литератор» за 20 февраля 1987 года. Процитирую несколько строк: «И вот «представление» началось. Молодые парни в черных крылатках и черных же цилиндрах — с горящими факелами в руках. Мы поеживались: в день смерти — факельное шествие! Надо же было додуматься до такого! Выезжает кибитка, в ней — мальчик лет пяти-семи в белом цилиндре и белой крылатке, видимо, изображающий Пушкина-ребенка. Из громкоговорителей несется песня Окуджавы об «Александре Сергеиче». Появляется на ходулях, тоже во всем черном, молодец с белым живым петухом на одной руке, на манер шарманщика с попугаем, тут же цыгане поют и пляшут, и сцена дуэли, и девушки в театральных костюмах, изображающие какие-то скульптурные группы из пушкинских произ-

ведений, и кружащиеся пары за зашторенными и освещенными окнами домика с колоннами».

Это «празднество», происходившее в Нескучном саду в дни 150-летия трагической гибели поэта, тоже, думается, из области «пены». Как видим, «пена» эта порою может приобретать странный, какой-то зловещий оттенок... Но вернемся к Высоцкому. В те дни один композитор написал о том, что диапазон голоса кумира, оказывается, равен двум с половиной октавам, что превышает певческий диапазон... Шаляпина!

Я теперь не удивлюсь, если кто-то «выскажется», что мелодизм, музыкальная фактура песен прославленного барда выше и шире, чем у Мусоргского, Глинки, Чайковского, Палиашвили. Ведь все это — в одном ряду! Как говорят в народе: «Говори, говори — да не заговаривайся!»

Что перед этим сущая безделка: в старинном подмосковном городе Коломне, на моей родине, перед различными аудиториямв, энтузиастами читаются лекции с показом слайдов о творчестве трагически ушедшего из жизни талантливого художника Константина Васильева. Эти лекции непременно сопровождаются магнитофонными записями песен Высоцкого, не имеющими, конечно же, кто хоть немного знаком с творчеством Васильева — подтвердит, — никакой связи с исканиями живописца, далеко не ровного в своем творчестве, но который трудно, мучительно думал о судьбе России и постоянно обращался к ее корням, к ее глубинным, народным истокам. А один из номеров молодежного журнала тех дней, где на одной странице, в середине журнала помещены скульптурные изображения Микеланджело и Высоцкого! Что это — дань моде или известный принцип «присоединения»?

Нетрудно догадаться, что «пена» зачастую несет в себе элементы, размывающие основную историческую, сплачивающую миссию России. У Юрия Кузнецова есть очень точные стихи:

Мы по кольцам считали у пня —
Триста лет расходились широко.
Русским князем назвали меня,
И сказал я потомкам Востока:

— Разорвать никому не дано
В этом пне ни единого круга.
Пьем за семя! Когда-то оно
Круг за кругом погнало упруго.

Так запомним друг друга в лицо
И друг друга любить обязуем,
Потому что живое кольцо
Мы вкруг этого пня образуем.

Мы глядели друг другу в лицо,
Круг широк, но стояли едино.
А за нами народов кольцо,
И держала нас всех сердцевина.

Об этой «сердцевине», которая держит «народов кольцо», как-то стало не принято говорить и даже упоминать о ее соединительной миссии. Конечно же, мы — интернационалисты. На том стоим и стоять будем! Это в нашей политике и в нравственной народной сути, это изначально и всем ясно. Но приходится в который уже раз напоминать о том, что без понятия патриотизма, без ощущения своей родины в первую очередь ни о каком интернационализме и речи быть не может. Это уже, простите, будет называться совсем другим словом и станет нести совсем другой смысл. Блок предостерегал от таких «доброхотов»: «Отечестволюбие они считают риторикой и его проявление пытаются так или иначе расчленять и низводить до ремесленно-цеховых, групповых, а то и просто житейски-потребительских интересов. Не может быть, говорят они, чтоб имярек исходил лишь из соображений общей пользы или из идеальных побуждений, что-то тут не так, для чего-то это ему надо, но вот для чего?» И сейчас иные не могут никак или не хотят понять вот этого самого — «для чего»?

Многое в последнее время говорится о самовыражении, самораскрытии и почти совсем ничего о том, во имя чего все это? А ведь чтобы «выражать», надо иметь «за душой» это самое то, что ты собираешься «выразить». Кажется, понятно. А стоит только появиться какому-то художественному явлению, где это творческое выражение приобретает черты патриотической думы о судьбах родины и народа, как тут же появляется целый ряд критических статей, обвиняющих создателя художественного явления чуть не в смертных грехах! Вспомним хотя бы «Все впереди» В. Белова или фильм «Лермонтов» Н. Бурляева! И роман-де слабый, и фильм примитивный. А мало ли слабых романов и примитивных фильмов появляется? Но что-то не заметно, чтобы по этому поводу чересчур сильно скрипели критические перья, как в данном случае! Надо ли тут говорить, что, конечно же, художественные достоинства вышеназванных произведений не вызывают сомнений в главных своих аспектах. Кто читал роман и кто видел фильм, сразу понимает, что дело-то вовсе не в слабостях первого и примитивизме второго. Дело — в проявлении четкой авторской воли и последовательной гражданской и патриотической позиции, которая откровенно явлена в этих произведениях и которая, видимо, не всем «по нутру». Впрочем, как уверен, и эти мои сегодняшние заметки.

Оболгав, как-то дискредитировав «сердцевину», подмыв национальные корни, очень легко превратить литературу в некий безродный конгломерат, в котором понятие «мать» отсутствует, поскольку она находится «в доме престарелых». Вот что сказал Ю. Бондарев в своем выступлении 17 марта на заседании секретариата правления Союза писателей РСФСР: «Я бы определил нынешнее состояние русской литературы, как положение, создавшееся в июле 1941 года, когда прогрессивные силы, оказывая неорганизованное сопротивление, отступали под натиском таранных ударов цивилизованных варваров — ударов, рассчитанных на уничтожение великой культуры, как и в былые времена, ставшие далекой историей. Если это отступление будет продолжаться, и не наступит пора Сталинграда — дело кончится тем, что национальные ценности и все то, что является духовной гордостью народа, будут опрокинуты в пропасть».

Предостерегающие, честные, выражающие истинное положение дел в нашем нынешнем искусстве слова! Такая пора должна, конечно же, в первую очередь наступить в каждой душе, помнящей и о заре Куликова поля, и о редутах Бородина, и о студеных ветрах Октября, и о неслыханных огненных рубежах Великой Отечественной. Негоже нам забывать про все это! И негоже чересчур заискивать перед Западом, усиленно, настойчиво перенимая у него методы одурманивания людей средствами массовой культуры, забывая слова Маяковского что «у советских — собственная гордость!». А то создается та же впечатление, что сейчас «самовыражаются» «кто во что горазд». Тут поневоле задумаешься, кого мы воспитываем? Будущих «трутней», тунеядцев, которые все хотят быть звездами эстрады, бардами, диск-жокеями и т. д., но никак не токарями, бетонщиками, сталеварами, комбайнерами, доярками и скотниками. А ведь именно рабочих рук сейчас не хватает стране! Может быть, остановимся на том объективном моменте, что творить должны профессионалы своего дела, люди, одаренные теми или иными талантами, люди, которым, если они и вправду талантливы, хлеб достается тоже «в поте лица своего». Стыдно, честное слово, от этого постоянного заигрывания с чуждой нам идеологией, от пропаганды чуждой нам эстетики и морали.

Марина ЛИТАВРИНА, театровед.
Автор статей в журналах «Театральная жизнь», «Москва», сборнике «Собеседник».

ЧТО ЗА СЛОВОМ?..

Возрастание роли молодежи в жизни нашего общества на нынешнем этапе — объективная закономерность. Необходимость. Условие перестройки, если хотите. По отношению к молодежи можно и нужно судить сегодня о человеке, о руководителе, какой бы сферы мы ни коснулись, в том числе литературы и искусства.

Однако сколько в нашей жизни должно было измениться, чтобы вопрос так был поставлен! И сколько еще предстоит сделать, чтобы новые шаги в этом направлении получили статус «де-юре».

Но признать мало. Дальше нужно что-то делать. И пути могут быть различными. Они уже видны. Например, для начала, такое наблюдение. Сейчас очень много заискивания перед некой абстрактной молодежью. Причем заискивание это происходит на самых разных уровнях. Есть сферы, в которых молодежи «подарили» самостоятельность. Взять хотя бы область молодежного досуга — к нему во многих местах свели почти всю деятельность комсомола. Тут уж воистину дали на откуп — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

Но ведь эта самая решающая роль молодежи не в досуге проявляется, а в деле — значит, охватывает важнейшие участки нашей жизни. Вот тут все гораздо сложнее.

Как правило, путь молодежи в искусство лежит через своего рода профессионально-подготовительный класс. Я имею в виду

многочисленные «молодежные секции» творческих союзов, комиссии и проч. Есть секция театральной молодежи и в Союзе театральных деятелей РСФСР (правда, проект устава большого СТД СССР о таковой умалчивает). Но вот что интересно. Пока шел съезд, учредивший Союз театральных деятелей СССР, театральная молодежь, не без помощи МГК ВЛКСМ, была собрана на «форум» совсем в другом месте. Его посетили представители съезда, которым было поручено «говорить с молодежью». А вот в зал заседаний молодых лиц просочилось немного, да и чувствовали они себя гостями на чужом пиру.

Ситуация, я думаю, и писателям знакомая. В солидных министерствах и ведомствах дело обстоит еще хуже. Там создаются всякого рода «комиссии по работе с молодежью» — как их между собой называют молодые, «по борьбе с молодежью», — средний возраст которых близок к пенсионному. Оказывается, своими собственными делами молодежи доверить заниматься нельзя, ненадежная публика! Однако. как показывает практика, первое же столкновение таких «комиссий» с реальными, но незнакомыми и непонятными проблемами молодежи, заставляет их сделать глубокомысленный вывод, вроде того, о котором говорится в одной песенке: «Ах, молодежь! Вас не поймешь...»

Никто не призывает вбивать клин между поколениями. Но такие вещи сами по себе создают прецеденты для конфликтных ситуаций. Товарищи, не надо заискивать, не надо строить всякого рода «лягушатники» для «искусственного выращивания» и задерживать там творческую молодежь до сорока лет, надо не много — просто «пускать», грубо говоря, загружать настоящей работой, да просто давать ответственное дело — глядишь, а может, оно и выиграет. И вообще открыть двери союзов пошире.

Среди старших людей — в том числе маститых и руководящих — в науке, образовании, искусстве — масса тех, кто понимает молодежь и доверяет ей. Люди самые разные, например, ректор Ростовского университета Ю. А. Жданов, по праву возглавляющий Комиссию Верховного Совета РСФСР. Таким, молодым в восемьдесят лет, остался в памяти театральный критик и педагог П. А. Марков. Определяющими оказались для меня встречи с мастерами, недавно ушедшими — И. Ильинским, К. Ирдом. И главное, что ошеломляло, — их отношение к новому. Их интерес, стремление понять, помочь — даже в вопросах, отношения к творчеству не имеюших.

Я вообще считаю, что нам остро, срочно необходимо серьезное — социологическое, психологическое, эстетическое, словом, всестороннее — исследование проблемы «новое и молодежь», разработка диалектического подхода к ней. Скольких ненужных столкновений удалось бы избежать! Многое бы стало на свое место и для самой молодежи, она бы по-новому взглянула на свою идею «молодежной культуры», противопоставляемой сейчас всему остальному...

Думаю, сейчас творческая молодежь не должна разбегаться по «кружкам» — там писатели, тут — театралы и т. д. Молодое поколение в искусстве сильно разобщено, плохо знает своих сверстников из других сфер деятельности, зачастую проникнуто элитарными настроениями. Судя даже по тому, что высказывалось в качестве предложений на форуме творческой молодежи, многие плохо понимают, где и когда, в каком обществе живут — настолько выглядели молодые юристы, социологи, историки социально более зрелыми. Хотелось бы собрать творческий народ — и такая задумка есть. Только без прагматических «инициатив», без коммерческого интереса — этого как раз хоть отбавляй. Вот, кстати, и ответ на вопрос, вернее, все, что могу сказать — о Всесоюзных совещаниях молодых писателей, ибо «не был, не состоял, не участвовал...».

Теперь о цеховых проблемах.

Когда-то Юлия Друнина сказала, что поэзия «не бабье дело», и называла идущую «в поэты» девочку Орлеанской Девой. Я думаю, критика — вещь еще более жестокая, чем поэзия. Прежде всего потому, что приходится говорить людям, если хочешь сохранить уважение к самому себе и своему делу, не очень приятные вещи. И выдержать «ответную реакцию». Нужно очень и очень многое — и отречение от очень многого. Но если все это так, тогда почему столь неблагодарное дело стремительно феминизируется? Ведь многие курсы театроведческого факультета почти сплошь женские. Что тогда привлекает юных «дев» на поле брани? Увы, другое. И не случайно столь часто стал употребляться перед словами «критика» и «театроведение» эпитет: «дамская», «дамское». Возник даже термин: дама-критикесса (читай: не-критик). Откуда такие берутся? Жизнь «у театра», премьерно-кулисное «зазеркалье», кулуары, узкий круг «приобщенных» — возбужденно-экзальтированный мир высокопоставленных «дочек», жадно вдыхающих некий театральный наркотик. И даже случайно затесавшиеся мальчики к концу обучения часто становятся женоподобными.

Уверена, что лучшие, талантливые, надежные — те, кто разбил игрушечный мирок, вышел из этой скорлупки и посмотрел окрест себя. Как это сделали прорвавшиеся, наконец, «в жизнь» некоторые молодые критики, из тех, кто объединился вокруг молодежной редакции «Театральной жизни». Их тут же обвинили в нетеатральности. Публицистичности. Нарушении цеховой традиции. Ибо уже давно повелось: в словосочетании «театральная критика» — свои грамматические законы. Существительное — театральная, а критика — прилагательное. Хотите — прилагайте, хотите — нет. Не прилагать — безопаснее.

Да, конечно, еще немало эпатажа, молодой агрессивности, обращенной вовне, — берется реванш за себя и за того парня, что рос во времена, когда молодежных редакций ни на ТВ, ни в журналах не открывали. Эти молодые критики, сетуют старшие и маститые, «словно не хотят знать о том, что было в 50—60-е годы, иронически отмахиваются от них»... Но что же делать? Обращать театральную молодежь конца 80-х в свою веру тридцатилетней давности — что за странное театральное староверство? И что за странное понимание перестройки как явления, принадлежащего одному поколению (которому, следовательно, и перестраиваться не надо)?

Что до беспамятливости молодого поколения — извините, не верю. Потому что знаю, как во многих семьях живут памятью — и о войне, и о событиях пятидесятилетней давности — и бережно передают младшим это порой трагическое знание. Только у молодых оно не лежит на поверхности, не демонстрируется. А что есть пробелы в исторической памяти — так это не они,

молодые, сокращали целые исторические главы и мирились с умолчанием. Но не надо ограничивать историческое знание, которое необходимо воскресить сегодня, XX веком, убеждать молодого читателя и зрителя, что ему интересно только искусство предреволюционного десятилетия или 20-х годов. В самых разных аудиториях я убеждалась, что глубокий интерес к истории существует и у артистов кордебалета, и у эстрадных певцов. Надо только разбудить его.

Но будем самокритичны. И молодым «творцам» пока не хватает многого, они рано «специализируются» в ущерб широкому гуманитарному кругозору, и откуда-то взялась у них эта боязнь знать «лишнее». Читают мало. Да и молодые критики ходят в театр меньше (как показал опрос), чем их старшие собратья по перу.

А вот что действительно — и, по-моему, справедливо — не хотят брать молодые критики из тридцатилетнего «далека», так это групповых пристрастий. Как ни парадоксально это звучит, но эти пристрастия в наши дни, не так уж давно, были объявлены даже «естественным законом жизни». И словно кто-то дал сигнал к сведению старых счетов, публикаций перечней с составами «команд» противников, призывов и обращений «кого бить», «кого спасать». Наконец-то об этом открыто было сказано на недавнем пленуме правления Союза писателей РСФСР по драматургии. И вслед за этим — опять «журнальная война»? И мечется молодой критик между «указателями»: напечатали там — не ходи к нам. Пустили туда — не пустим сюда. И как ни странно, именно те, кто на словах выступает за широту эстетических суждений, оказывается особенно нетерпим, когда появляется иное мнение, альтернативная концепция развития театра в такой-то период или творчества такого-то мастера. Казалось бы, аксиома: критика должна быть разной, и на старуху бывает проруха, и мастер может «дать петуха»...

Но не дай бог молодому критику выступить с отрицательной рецензией на спектакль или гастроли «признанного» авторитета. Он моментально на практике убедится, что театр — искусство коллективное. И что у рецензируемого театра всегда найдется «свой» критик, а у режиссера — высокие связи. Естественный — и по самой своей природе, естественно-драматический — процесс взаимоотношений театра и критики был столь долгое время «зажат» комплиментарностью, групповщиной и «заповедными зонами», что артист разучился вообще воспринимать критику, просто слушать или читать ее. Считается нормальным, например, услышать от администратора или работника литчасти: я тебя приглашу на спектакль, но при условии, что ты — ни-ни. Отчего и критики стали срываться... В сознании многих молодых актеров критик есть некий субъект, преисполненный зависти к их таланту. А это дебютанты, что же говорить о ситуации, когда молодому критику предстоит разбирать творчество тех, кто, по выражению Марка Захарова, «хорошо вооружен». Несколько лет назад именитая артистка организовывала звонки от тогдашних московских властей в журнал, где вышла моя рецензия, отмечавшая ее талант, но выражавшая несогласие с трактовкой образа, и требовала наказать зарвавшегося критика.

Однако и в самом критическом цехе идиллией не пахнет. Умнейший и талантливейший человек, зубр, доктор искусствоведения, осерчал вдруг на меня из-за статьи почти десятилетней давности. И на страницах ученого издания сразился с третьекурсницей.

Не хочу оправдываться — «я тогда моложе» и т. п. Наверное, была безапелляционна, прямолинейна и непростительно наивна, когда сказала об искажении классической пьесы, идейной концепции автора.

Но именно это слово — идейное, идейность — вызвало какое-то особенное злорадство и стало поводом для критического обыгрывания. А интерес молодого критика к проблеме идейности был представлен в убогом виде перекрашивания классики. Это также и к слову о том, как нам относиться к таким высоким понятиям, как народность, партийность и идейность нашей литературы и искусства, и стоит ли нам вообще, по молодости лет, рисковать к ним прикасаться. И удивительно ли, что в глазах многих молодых критиков они выглядят, с одной стороны, стертым дежурным клише, с другой — «чужой территорией», не связанной напрямую с театром.

Вот так и сдрейфить недолго. В следующий раз уже подумаешь, стóит ли «высовываться». Как ни печально, но я знаю немало молодых, кто из боязни, из-за неохоты «связываться» исповедует проверенный принцип «тише едешь — дальше будешь» и предпочитает отсиживаться в тихой гавани. Прав Михаил Сергеевич Горбачев — мы ведь тоже «дети своего времени». И работа четко отлаженного механизма торможения (в нашем деле, я бы сказала — механизма выталкивания: в «серые», в средние или вообще на обочину профессии), и превратно усвоенное понятие «чести мундира» — и масса других соображений во многом препятствовали прямому высказыванию критиков, которым сейчас тридцать или чуть больше. Тех, кому хорошо знакомы многообразные издержки «промежутка». Слишком неравны были силы, и потому трудно попрекать несостоявшихся — будь они в активе, я думаю, не столь однозначной была бы театрально-критическая картина сегодня. Это же можно отнести к науке, где и «защитившихся» искусствоведов не жаждут публиковать. И, обратим внимание, среди «задающих тон» на всякого рода форумах, сходках творческой молодежи — сорокалетние, спешащие докомпенсироваться.

Многое сказано уже о задачах критики в новых условиях, особенно в условиях театрального эксперимента: она и главный судья, и «госприемка», и проч. Но во взаимоотношениях ее с театральным миром, равно как и в положении ее в общем мире прессы и литературы, мало что изменилось. Обычно, когда театральные люди говорят о нехватке гласности (а тема эта, как известно, прошла красной нитью через лучшие театральные работы), то имеют в виду обычно кого-нибудь сверху или сбоку — зажимщика, консерватора, бюрократа. Но не себя. Однако и в искусстве люди существуют в определенном качестве, там, что греха таить, своя иерархия, и если ее нарушить, тоже не поздоровится. Одного боюсь: а вдруг вместо одних появятся другие зоны вне критики?

И еще одно наблюдение. Сейчас со сцены, с экранов звучит много хороших слов — «перестройка», «гласность», «демократия» и др. Есть слова новые, есть старые, но по-новому зазвучавшие, не теряющие никогда своей актуальности. Так вот о чем приходит-

ся размышлять после недавно увиденных спектаклей. И молодые актеры, и молодые зрители словно стесняются некоторых произносимых со сцены слов — «мир», «родина» и других из ряда главных наших ценностей. У актеров, несмотря на «мотор», экзальтацию, — пустые глаза: слова не ранят их самих, у зрителей, только что активно и бурно реагировавших на «негатив», — сдержанные смешки, перешептывание. Словно речь о чужом, о чьем-то. Сломалось что-то в нашем восприятии, притерлось, заштамповалось, и нужны все новые, все более сильные средства, чтобы молодежь вняла обращенному к ней. И вот уже борьбу за мир не могут воспринимать без «рока». Скажете: это всему виной парадность, кампанейщина, показуха, их наследство. Так что же теперь? Отмалчиваться? Ведь и новую программу нашей жизни, и летопись ее непростого сегодняшнего претворения мы пишем теми же словами. И беда, если это клише отчуждения и скептицизма перейдет и в новый наш день, перейдет на сами ценности, пересмотру не подлежащие. И если два-три года назад была реальная опасность «заюбилеить» 70-летие Октября, то теперь приходится говорить об обратном. В протесте против «датских» — то есть к дате поставленных — спектаклей, особенно активно изъявляемом театральной молодежью, не переносится ли акцент с формы на сущность дела? Ведь речь не просто о юбилее идет, как отмечать, что поставить — каждый сам решает, — о Советской власти, в конце концов. Деланная поза: не посвящать, специально не ставить, не готовить «подарков» — не скрывает ли отсутствие серьезного театрального багажа?

Да, многие «имена существительные» нужно учиться произносить и слышать заново. И новые наши маяки загорятся для молодого поколения только в том случае, если за словами, за лозунгами будет стоять личное приобщение. Если за каждым «измом» будет конкретный и неповторимый, эмоционально наполненный образ. Значит, тут дело театра — всех его «деятелей» — старших и младших, маститых и рядовых. А работы — рук не покладать.

Екатерина МАРКОВА, критик.
Автор статей в журналах «Театральная жизнь», «Огонек», «Неделя», «Книжное обозрение».

СРАЖАЮЩАЯСЯ БОЛЬ

Проблема молодых начинается с отношения к нам...

Недавно в газете «Советская культура» я прочитала сетования заместителя редактора отдела кино Валентины Ивановой (так подписана статья): «Читая сегодня молодых, удивляешься иной раз — да, именно легкости этой профессии. Легкодоступности. Смотришь, вчера еще человек писал аннотации на фильмы, а сегодня он уже с легкостью необыкновенной рассуждает о «Легко ли быть молодым?», всячески заискивая перед авторами фильма. И перед молодыми героями тоже. Вот чего не должно быть — заискивания. Зачем эта нота истерического придыхания в писаниях молодых даже о Тарковском? Самый большой художник ждет разговора на равных, а критика — собственной, а не заемной, расхожей, витающей в воздухе концепции, **ох, как трудно было нам ниспровергать авторитеты, и как просто нынешнему поколению их походя не замечать?»**

Оставим в стороне придыхания самой В. Ивановой — «даже о Тарковском», хотя нетрудно заметить, что именно такими дамскими придыханиями и создается культ некритикабельности вокруг режиссера, в фильме «Андрей Рублев» очень односторонне изобразившего русский характер в духе расхожих западных представлений о «темной» русской душе. Культ вокруг режиссера, покинувшего Родину, что не умаляет его вины перед отечественной культурой даже в условиях демократии и гласности.

Будем говорить по существу. В. Иванова изображает себя этаким ниспровергателем кумиров (каких только?) и укоряет нынешнее поколение за то, что они уже кого-то походя не замечают. Но кого и что? Ответа нет. Есть туманные намеки в духе старой критики, привыкшей держать фигу в кармане и восхищаться при этом собственной интеллигентностью.

Между прочим, давайте вспомним, сколько лет было Н. Добролюбову, Н. Чернышевскому, В. Белинскому, А. Григорьеву, Д. Писареву, когда эти критики стали знаменем русской интеллигенции. А сколько лет было Кожинову, Лобанову, Аннинскому, Байгушеву, Ланщикову, Урнову, Палиевскому, когда в 60-х годах нашего времени их статьями зачитывалась уже современная интеллигенция. Я думаю, что если этим критикам в то время давали бы только писать аннотации по рекомендации В. Ивановой, то не была бы взрыхлена духовная почва для нынешней перестройки. Восторжествовал бы нигилизм, деструктивность, авангардистская западомания. Наше поколение на студенческой скамье воспитывалось на воспоминаниях о боевом духе задавленных бюрократической косностью свежих дискуссий между молодыми 60-х годов. Нам достались уже их книги: «Ядро ореха», «Точка зрения», «Литература и время», «Вопросы теории и литературы», в которых тлело былое пламя перемен начавшихся, но трагически оборванных с первыми шагами.

Сейчас критики снова вспомнили о доблести молодой смены. Поколение критиков, которое идет перед нами, демонстрирует не только застой. Это полемическая эрудиция А. Казинцева, рафинированная въедливость В. Сахарова, классический академизм С. Аверинцева, это доверительность С. Боровикова, это страшная жажда преображения, выхода из тупика, охватывающая большинство выступлений всех этих бескомпромиссных молодых авторов.

Но вот здесь мы и подошли к главному качеству, которое мое поколение ищет в критике — бескомпромиссности. Когда известный писатель Ю. Нагибин пишет в газете «Советская культура»: «История с Лефортовом показала, что уничтожение старины — это не халатность, не разгильдяйство, не промашки, а убежденная в своей правоте деятельность, имеющая целью истребить «обветшалое» прошлое столицы», — то это бескомпромиссная оценка прежней линии, и я не сомневаюсь, что у зла есть свое имя и оно должно быть названо. Преступление по отношению к наследию — есть преступление против человечества, и ответственность за него не имеет срока давности. Поэтому я не могу согласиться с критиком Е. Лосото, когда она призывает за-

быть содеянное, руководствуясь якобы этическими соображениями, что не так поймут нас за рубежом. «Но представилась возможность в общем разрушительном процессе прихватить еще одно старое здание, и этим не преминули воспользоваться», — комментирует уже нынешнее состояние дел с охраной памятников старины писатель Юрий Нагибин.

Мы, молодые, должны брать пример с гражданского мужества таких писателей, как В. Астафьев, Ю. Бондарев, П. Проскурин, В. Распутин, В. Крупин, В. Белов, С. Куняев, А. Адамович, Ю. Нагибин. Для настоящей интеллигенции всегда было характерно понятие о писательской совести.

Сейчас представление о миссии писателя как о совести общества становится особенно принципиальным в связи с наступлением на литературу во всем мире, начатым так называемой «мозаичной культурой». Это — «массовая культура», заполонившая средства массовой коммуникации, к сожалению, не только на Западе. Как говорил недавно «на международном круглом столе» польский критик Мачей Хшановский, радикальные авангардистские течения пытаются взорвать литературный фундамент современного театра и кино. Литература была источником, на котором развились радио и телевидение, хотя оба эти средства массовой информации быстро выработали свой собственный язык. К сожалению, этот язык все более опускался до языка мозаичной культуры. Раздаются голоса, что кончается эпоха Гутенберга и Федорова и начинается видео- и киноцивилизация.

Но если изгнание писателя с телевидения будет продолжаться, то легко себе представить, чем это кончится. Сформировавшееся телевизионное поколение забудет о душе не только в музыке, что мы уж видим на примере рокеров, металлистов и других потребителей допинга, не только в искусстве, но и в жизни.

На страницах одной из газет поэт Булат Окуджава вспоминает, что Моисей вел свой народ из Египта сорок лет, хотя можно было дойти за пять дней. Специально, чтобы вымерли те, кто помнил рабство. Боюсь, что если внедрение мозаичной культуры в программы средств массовой коммуникации будет продолжаться нынешними темпами, то сорока лет не понадобится.

Бескомпромиссность совести — это боль нынешнего времени. Она требует от нас готовности к борьбе при полном напряжении духовных сил и гражданского мужества.

Виталий ПАРХОМЕНКО, театровед,
автор многочисленных публикаций
по вопросам искусства.

ВЕРИТЬ В ИСТИННЫЙ ТАЛАНТ

Писатель, вовлеченный в группировку, из работника превращается в интригана — к такому выводу пришел к концу жизни Маяковский. А он был работником. Его стихотворением как передовицей открыли в декабре восемнадцатого года газету «Искусство коммуны» — воинствующий орган футуризма. Но в редколлегию поэта не ввели: по его же словам, он был здесь лишь наподобие «совещательной лошади».

Итак, в то время, когда Маяковский работал в «Окнах РОСТА», О. Брик с газетных страниц призывал ликвидировать в стране все музеи. Поэт писал поэму «150 000 000», а Кушнер в той же газете требовал додушить «поганую культуру» прошлого. Новая «культура» — футуризм, который, торопил Кушнер, «пора бы переименовать в коммунизм», — предназначалась для элиты, «революционного меньшинства». Пунин заявлял без обиняков: «...мы хотим утвердить диктатуру меньшинства». Это не мешало идеологам разрушения все свои лозунги провозглашать от имени большевиков и Советской власти.

И не художественный метод Маяковского или Асеева, а политические притязания специалистов по амнезии народной памяти, «теоретиков» Кушнера, Брика, Альтмана, Пунина развенчивал Луначарский, оценивая их «разрушительные наклонности по отношению к прошлому и стремление, говоря от имени определенной школы, говорить в то же время от лица власти». И эта серия актов идеологического терроризма в нашей стране — лишь один из принципов применения в деле постоянно действующей модели групповщины.

Стремление к власти «избранных» и к разрушению прошлого во все времена было приметой стремящейся реализовать себя диктатуры меньшинства, имеющей литературное «прикрытие» и движимой антинародными, антинациональными целями.

Вот и приходится критику И. Дедкову объясняться с читателями сразу ста сорока стран, где распространяется газета «Московские новости», в которой ему предоставлен постоянный «подвал»: «...чем дольше находятся в литературном обороте понятия этого круга («корневые начала», «устои», «дух», «душа» с веской прибавкой «народные»), тем заметнее превращаются они в нечто поэтически бессодержательное, в общее место, приобретая какой-то магический и ритуальный характер».

То, что В. Ключевский называл «патриотической скорбью», в понятиях нынешнего «литературного оборота» оказывается извращением, наркоманией с садо-мазохистским уклоном.

В той же газете, где у И. Дедкова постоянный «подвал», у журналиста В. Симонова постоянный «чердак» (место для статьи в верхней части полосы). Отсюда он обнародовал «поразительную историю» (взятую из журнала «Тайм»), показав и свое к ней отношение. В 1966 году органами госбезопасности была пресечена преступная деятельность двух клеветников и отщепенцев. И вот спустя двадцать с лишним лет В. Симонов решился: он высказывается против «патриотичных» (в кавычках! — В. П.) мер, принятых по доносу иноземных спецслужб. Суд над антисоветчиками, давным-давно освобожденными и уехавшими на Запад, В. Симонов оценивает теперь как «гнетущий не только для обвиняемых — для всех думающих, еще не соскользнувших в оцепенение умов».

Кто же эти светлые «мученики идеи», по Симонову, видимо, патриоты без кавычек? А это Синявский и Даниэль. Как известно, первый из них, помимо пасквилей на социализм и советский строй, под псевдонимом Абрам Терц в своей книжонке «Прогулки с Пушкиным» постарался облить грязью великого поэта, а заодно и всю глубоко чуждую ему, Синявскому, русскую культуру.

Так вот как сегодня понимается некоторыми авторами и изданиями гласность и демократизация в печати! С теми, кто не разделяет их взглядов, подобные сторонники гласности обходятся без особой щепетильности. Благо те издания, которые щедро предоставили им свои страницы, того, кто «не разделяет», не печатают. Так что для некоторых гласность стала захватывающим и абсолютно безопасным занятием, вроде отстрела по лицензии. Вот хотя бы один только пример.

Доктору исторических наук Ю. Афанасьеву не нравится книга Ф. Нестерова «Связь времен». Но ему очень хочется, чтобы эта книга не правилась и другим. Для этого Ю. Афанасьев приписывает Ф. Нестерову высказывание, которое па самом деле принадлежит жившему в XVI веке шляхтичу немецкого происхождения и отрывок из которого Ф. Нестеров предваряет словами: «А вот известия из вражеского источника». Для того чтобы подлог не бросался в глаза, средневековый текст Ю. Афанасьев цитирует выборочно, более того — стилистически его осовременивает. Трудно поэтому сказать, как смотрят молодые историки на нынешний процесс осмысления прошлого, когда их наставник (Ю. Афанасьев является ректором историко-архивного института) столь бесцеремонно обходится с документами.

Подмена бриллиантов стекляшками издавна почиталась как одна из наиболее выгодных махинаций. Но прежде она, как правило, тщательно подготавливалась, обставляясь как можно правдоподобнее и совершалась все же не без мысли о возможном разоблачении. Чем сильней мысль тревожила, тем больше придумывалось «доказательств» драгоценности того, что подсовывается. Нынешние «теоретики» всем этим себя не отягощают: то ли время поджимает, то ли всякий риск пропал, а только посчитал черное белым — и дело с концом.

Например, литератор В. Арро утверждает, что драматурги так называемой «новой волны» (к которой он и себя относит) «после большого перерыва нащупали одну важную вещь»: «У них конфликт пошел вглубь, хорошее и плохое заколебалось на весах сомнений, добро и зло в какие-то моменты менялись местами, дрогнула цельность «положительного» героя, да и «отрицательный»-то вдруг оказался сложнее, чем думалось».

Что ж, все верно: важнейшей приметой «новой волны» явился нравственный и этический релятивизм, социальный скепсис, ущербность персонажей, существующих, как правило, в унижающих человека обстоятельствах. Сюда же можно добавить часто неряшливую скоропись, необязательность художественного текста (а ведь из «Ревизора» или «Вишневого сада», как из песни, — слова не выкинешь).

Но тут-то В. Арро и заявляет, что как раз творчество «таких драматургов, как Л. Петрушевская, В. Славкин, А. Гельман, Л. Разумовская, А. Галин... восходит к традиции русской социально-психологической драмы...».

Вообще говоря, резко возросло сегодня число «великих» на душу населения. «Светская канонизация» идет торопливо, но вполне системно. Вот по ТВ артист А. Лазарев давным-давно опубликованный, и не раз, «Закат» И. Бабеля вроде бы ни с того ни с сего объявляет «великой пьесой великого писателя». Поэт А. Вознесенский, объясняя иностранцам, чем он занят сейчас,

говорит: «...мы работаем над тем, чтобы создать у нас впервые музей Шагала, вернуть искусство великого мастера стране...» Опыт наблюдении за отлаженным процессом «создания» гениев подсказывает: это только поначалу непривычно — «великий Бабель», «великий Шагал».

Экспансия модернизма приобретает все более агрессивные формы, при этом окончательно легализируясь усилиями многих средств массовой информации и «теоретиков», выдающих эстетизацию безобразного (панки, брейкеры, «металлисты» и т. п.) за неформальные (типа любителей глубоководного плавания) молодежные объединения и некую, молодежную же, «культуру».

Угрожающие общественному вкусу масштабы приобрела рок-обработка нашей классики. Классический текст вытесняется пошлыми куплетами собственного изготовления, собственный ритм произведения подавляется чуждым ему, механически однообразным. Таким способом уже разрушены на сценах театров трилогия Сухово-Кобылина, комедии Гоголя, «Доходное место» Островского, «Преступление и наказание» Достоевского, проза Л. Толстого, Чехова... Зрители почти любого театрального города список могут продолжить.

И все-таки хочется верить, что талант, здравый смысл и чистота помыслов настоящего художника одержат верх над корыстными интересами и разрушительными наклонностями тех, кого вместе с пеной вынесло на гребне волн последних бурных месяцев переустройства и созидания. Так в конце концов всегда и случалось.

Александр ПОЗДНЯКОВ, поэт.
Автор поэтических публикаций в журналах «Студенческий меридиан», «Советский воин»

ПУТЬ К ПРАВДЕ

Опасное это занятие — выставляться публично. И ведь знал я об этом, да вот выставился. Собственно говоря, сделал-то всего ничего — зачитал выдержку из выступления знаменитого поэта в многомиллионно тиражируемом журнале. И как результат — в чем уже теперь меня только не обвиняют... Надо было раньше мне припомнить вскользь упомянутый Л. Васильевой эпизод, когда один знаменитый «борец за демократию» в период торжества пресловутой бюрократической системы распекал представителя ЦК ВЛКСМ за плохо подготовленный для его выступления зал.

Достоевский в свое время подметил психологию особого рода злорадства в человеке, говорящего о том, что обычно «скрывают». «Зловещее самоупоение, — говорил он, — вроде того, как если б вдруг погорел человек, все сгорело — изба, деньги, скот: «смотрите, дескать, на меня, православные христиане, все пропало, в лохмотьях, один как перст!» В эти минуты тоже бывает у этакого какая-то слабость злорадного самоупоения в лице».

Этот первый этап злорадно-торжествующего саморазоблачения объективно, конечно, не может долго длиться, однако имеются силы и течения, которые захотели бы его продлить. Прежде все-

го речь идет о том, что существовавшая у нас до поры система в качестве своего необходимого дополнения всегда содержала некое инфантильно-полудиссидентское псевдосопротивление, которое, критикуя, осмеивая, оглупляя, доводя до абсурда специально отведенные для него участки системы, создавало таким образом видимую жизненность бюрократии. Такая критика — не более чем оборотная сторона той же бюрократической медали. Деятели этой критики и в прежние времена благополучно процветали, и сегодня они успели, как говорят, «первыми пробежать по разминированному полю и броситься грудью на амбразуру, из которой уже не стреляют».

Слишком много у нас людей, которые бы хотели в качестве перестройки представить нам оборотную сторону той же самой медали. Издержки первого этапа демократизации и гласности способствуют реанимации таких перевертышей. Размышляя о гласности, я часто вспоминаю такую картину. Несколько женщин, перебивая друг друга, рассказывают о собственных детях. Картина эта неизменно вызывает у меня чувство умиления, — никто никого не слушает, каждая только выжидает паузу, чтобы тут же заполнить ее рассказом о собственном дитяти. В результате — бессмысленный гвалт.

В том, что мы не даем слушать друг друга, видится мне причина огромной еще дистанции между подлинно народным сознанием у нас и выражением этого сознания в печатном слове. Потому-то и мелковато еще значение современного печатного слова, и нет на него еще настоящего народного отклика. Невооруженным глазом видно, что только единицы ощущают чувствуют на себе ответственность перед народом за всю литературу. Иные же просто купаются в атмосфере безответственности... «Да, я хамелеон, идеолог «свалки велосипедных рулей», — кривляется критик со страниц одной газеты, когда ему нечего сказать на аргументы участвовавшего с ним в диалоге оппонента. За этим так и слышится неприкрыто: «Пусть я ничто, момент завихрения пустоты, но сколько бы вы на меня ни тратили аргументов, ничего со мной не сделаете — все равно для меня будет пауза, которую я сумею заполнить какими-нибудь словами».

Этот первый период гласности и демократии породил и новый тип «критика», промышляющего у кормушки окололитературных сплетен и склок. Теперь ведь, при известной изворотливости и настойчивости, можно все печатать, а тут еще кто-то отстаивает свое понимание демократии, дескать, надо печатать все. Такая точка зрения не нова. Бытовал же в начале века принцип: «Глупость тоже должна иметь свой голос». И звучал ведь временами голос глупости во всю мочь.

Очень метко В. Карпов на пленуме Правления Союза писателей СССР охарактеризовал одного из представителей «новой» критики — А. Мальгина — критиком от рождения. Действительно, всякая личность от рождения должна нести в себе хоть какие-то творческие начала. А уж если у нас в литературе имеются критики от рождения, то там, где они есть, никакого созидания от литературы ждать не приходится.

А ведь перед нашим литературным поколением стоит задача огромной важности и невероятной сложности — увидеть в современности, в каждом ее детальном, обыденном и малом, казалось бы, проявлении — великое и эпическое, которое может нас объединить. Сегодняшнее же состояние литературы — в широком смысле — таково, что нет еще в ней подлинного слова, в котором был бы выражен объединяющий нас общественный идеал. Мы и утверждать-то достаточно уверенно не можем, что этот идеал у нас существует до тех пор, пока о нем не сказано живого слова. Сказать же это слово можно только на пути к подлинной глубине и правде, а не нарочитой псевдосложности, которую очень часто пытаются представить в качестве характеристики современности. Заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота Д. А. Волкогонов очень своевременно обратил внимание на опасность попыток создания антипатриотического образа офицера нашей армии, отказывающегося наносить ответный ядерный удар по агрессору. А. Адамович — автор такой попытки — пытался найти ответ там, где его просто не может быть.

Да и вообще, ставить перед современным читателем этический вопрос, который может возникнуть только за гранью ядерного безумия, не только бессмысленно, но по-настоящему безнравственно, как безнравственна всякая попытка художественной фантазии за этой гранью. Мне приходилось уже писать о том, что последняя война в истории человечества, где допустима постановка этических и эстетических проблем, — вторая мировая. Дальше уже безобразна и аморальна сама попытка найти ответы на этические и эстетические вопросы.

В связи со сказанным хотелось бы напомнить и об идеологической бдительности, которая, думаю, в период подлинной демократии должна быть не меньшей. На страницах печати у нас теперь свободно высказывается «западная» точка зрения на все происходящие события. Хорошо бы и приверженцам иной точки зрения получить возможность говорить в столь же оперативных и многотиражных изданиях, чего пока нет.

Закончу тем, с чего начал, — я воспринимаю как мучительную необходимость — выступление с нехудожественным словом. Должен признаться, что преклоняюсь перед подвижничеством В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина, которые в духе исконных традиций русской литературы перешагнули известную роковую черту, когда от них то потребовалось. Но перед нами пока стоит иная задача. Кто-то всегда должен помнить и верить, и знать, что, как говорил Достоевский, «Илиада»-то может быть для нас сегодня современней и важней самых современных откликов... Лично для себя вижу одной из самых главных задач — научиться отличать подлинный зов за роковую черту от ложных призывов.

Сергей ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, историк.
Автор публикаций в журналах
«Молодая гвардия», «Волга»

НРАВСТВЕННОСТЬ НАУКИ

Осмысление прошлого — и давнего и недавнего — должно основываться на четкой методологической базе. Только тогда можно говорить об объективности оценки происшедших когда-то событий. Из истории нельзя выбрасывать того, чего кто-то сегодня стыдится или боится, и вписывать то, чего не было на самом деле. Подобный субъективизм в процессе осмысления истории — дело опасное и бесплодное.

Марксизм, по сути, впервые противопоставил субъективистским историческим концепциям объективные критерии общественного прогресса и заставил трезво и прямо смотреть на прошедшие и происходящие события. И в этом заключается главная сложность восприятия марксистского учения. Методология марксизма, базирующаяся на диалектико-материалистическом методе мышления, познания и практического действия, заставляет (именно заставляет!) человека смотреть на мир без розовых очков, требует видеть и учитывать не только плюсы, но и минусы — и наоборот — собственных и чужих деяний, предполагает постоянное критическое отношение ко всему уже совершившемуся. Марксизм заставляет быть честным во всем, а это совсем не просто. (Не надо только путать марксизм со всякого рода подделками под него, попытками ревизовать его слева или справа.) Поэтому осмысление истории должно начинаться с изучения марксизма. А изучение марксизма — это вовсе не зазубривание фраз из учебников или даже из «первоисточников», как чаще всего бывает в высших учебных заведениях. Нужно постигать существо марксизма, его «душу» — диалектику, что, в свою очередь, невозможно, во-первых, без освоения всего культурного наследия человечества, во-вторых, без самостоятельной практической деятельности. То есть постижение диалектики жизни и мысли — процесс не одномоментный, а охватывающий всю сознательную жизнь человека. И все равно никогда не скажешь: «Вот теперь я диалектик до мозга костей». Та же диалектика требует поставить такое утверждение под сомнение.

Диалектика противостоит субъективизму и догматизму, которые, если обратиться к недавнему прошлому, были одними из самых больших помех в деле строительства социализма в нашей стране. Возьмем, к примеру, 20—30-е годы. В самом деле, многие прекрасные социалистические лозунги в эти годы постепенно превратились в догмы и их собственно социалистическое содержание оказалось потерянным. Во времена «культа личности» понимание существа социализма еще более упростилось и стало вмещаться всего в одну книгу — небезызвестный «Краткий курс». Но кто в этом виноват? Конечно, прежде всего Сталин. Но заметьте, сейчас все чаще слышны разговоры: «а вот у Бухарина...» и даже — «а вот у Троцкого...». И кажется, что эти люди в ходе тогдашних политических битв предлагали нечто совсем иное, по-настоящему социалистическое.

На мой взгляд, такое положение складывается по двум причинам, и они взаимосвязаны между собой. Первая — это наше незнание в полном объеме социально-политических программ тех или иных оппозиционных групп, из-за чего и возникает впечатление, что они могли бы все сделать иначе и лучше. Вторая — это собственно антидиалектический подход к истории, субъективизм: история в исключительной степени персонифицируется, то есть до ненормальных размеров раздувается роль личности в истории. И тогда уж единственным критерием истины становится очередная догма, даже не догма, а чувство — любовь или ненависть к Сталину или к какому-то еще историческому лицу. О какой же объективности тогда можно говорить!

Здесь не место разбирать различные понимания путей социалистического строительства в нашей стране, я просто не имею на это права — все это должно стать предметом специальных исследований. Однако считаю необходимым заметить, что, по-моему, попытки найти панацею от всех бед в идеях Бухарина и тем паче Троцкого не дадут особых результатов, они ведь тоже были догматиками, только находились в плену «своих» догм. И искать идеи надо все-таки не у них, а в диалектической логике В. И. Ленина (хотя, повторяю, знать их позиции надо).

А вот о самом подходе сказать необходимо. Пока мы все свои недостатки и ошибки будем сваливать на отдельных людей, пока «черные пятна» в истории будут нам видеться лишь как вина одного конкретного человека — мы истории знать не будем, поскольку в таком понимании история превращается в непредсказуемую игру случайностей по прихоти отдельных личностей, и тогда теряется видение объективности процессов, а значит, нельзя познать истинных причин тех или иных явлений. И мы будем вынуждены удовлетвориться знанием набора не связанных между собой фактов, не объединенных закономерностями, а значит, неосмысленных, непонятых.

Истинный марксизм, я уже говорил, немыслим без честности. Поэтому при изучении нашего недавнего прошлого надо перестать критиковать или превозносить отдельные исторические лица, а взяться за анализ объективных причин возникновения различного рода ошибок, причин социально-экономического и политического характера. Тогда будет наука, будет история. Но для всего этого нужно знание и мужество.

Сначала о первом. Оценить конкретный исторический факт невозможно без знания всей предшествующей многовековой истории своего народа и человечества в целом. Под этим знанием я подразумеваю не просто знание исторической «фактуры» или заученных чуть ли не наизусть законов исторического материализма. Понимать объективную логику развития исторических процессов — вот что важно! Иначе говоря, каждому историку нужно становиться самостоятельным мыслителем. Насколько это сложно, и говорить нечего, но ведь надо!

Как можно понять существо социализма и увидеть конкретно-исторические пути его развития в какой-либо стране, не зная в полной мере историю народа этой страны? Ведь любому нормальному человеку ясно, что без прошлого нет ни настоящего, ни будущего, потому что опыт становления всего человечества или одного народа намного богаче, чем опыт жизни одного-двух поколений и уж тем более одного человека. Традиции, бережно

охраняемые в толще народной памяти, являются основой для строительства новых этажей человеческой истории, и без этого фундамента рухнет все здание. Отказ от корней, от истоков будет означать постепенную гибель народа. История дает нам немало таких примеров.

Не менее опасными представляются последствия вычеркивания из истории, в частности из российской истории, тех или иных событий, явлений, личностей. Собственно, так поступали в 20—30-е годы, и мы уже знаем, насколько отрицательным оказался результат. Но и сегодня к тому же призывают догматические толкователи концепции «двух культур». Они призывают наш народ взять в социализм лишь небольшой, хотя и важный фрагмент его истории. Как они говорят, всячески подтягивая под себя В. И. Ленина, «демократические элементы». Давайте рассмотрим их позицию опять же с методологической точки зрения.

Диалектика, тем более диалектика материалистическая, требует брать любое явление в единстве его противоположностей. Раскрывая борьбу противоположностей, всегда нужно помнить, что они не существуют друг без друга, что они взаимоопределяемы, взаимопроникаемы. Каждая из сторон противоположностей просто непонятна без наличия другой стороны, без их сравнения, без их противопоставления и т. д.

Это вроде бы сугубо теоретическое рассуждение имеет непосредственное отношение к спорам вокруг «двух культур». Мы не сможем даже понять, что такое «демократические элементы», не зная элементов «недемократических», — их просто не с чем будет сравнивать. Более того, само понятие «демократизм» в каждую эпоху имело конкретно-историческое содержание, и любое «демократическое» явление, как, впрочем, и «недемократическое», всегда было противоречивым, в том числе и внутренне противоречивым явлением.

Замалчивание «недемократических» элементов культуры и внутренних противоречий элементов «демократических» приведет (и уже привело) к догматическому изучению отдельных событий, процессов, личностей, представленных народу в рафинированном, очищенном от противоречий состоянии. То есть в виде догм. Как же в этом случае людям научиться истинному мышлению, элементарной честности? И кто будет тем умным «дядечкой», который станет выбирать, что́ нужно знать народу, а что́ не нужно? Какое моральное право имеет на это кто бы то ни был? Вопросов подобная позиция вызывает много. Но вывод один — методологически она не выдерживает никакой критики.

В этом отношении более плодотворным и благодарным занятием является открытие «белых», еще не написанных страниц истории, которых, к сожалению, еще очень много. Например, еще очень серьезно нужно изучать закономерности развития российской общественной мысли, иначе во многом необъяснимыми оказываются и небывалый взлет русской литературы в XIX веке, и многое другое. Без учета общественной мысли трудно понять и социально-экономические, и политические процессы развития России, о которых тоже нельзя сказать, что они досконально изучены. А главное, историкам уже нельзя оставаться «узкими специалистами», знатоками своего «ящичка», своей «полочки».

Нужно выходить на широкие обобщения. Здесь для науки и, конечно, для нас, молодых, непочатый край работы.

Все это я говорил о знании. Теперь о мужестве. Мужество, по-моему, означает высокую степень концентрации нравственного чувства, последнее есть основа и мужества, и честности. Собственно говоря, без этого чувства вообще нельзя быть ученым, тем более историком, изучающим людские судьбы. Нравственность — это и уважение, и любовь к человеческой личности, к Родине, к человечеству; это и ответственность перед людьми, перед своим народом за свои действия, и еще очень многое входит в содержание этого понятия, просто сейчас невозможно «объять необъятное». Но для меня важно то, что нравственность — это неотъемлемая часть марксистской методологии, потому что марксизм нравствен по своей внутренней сущности, так как направлен на строительство нового общества, основанного на гуманистических началах, он ставит во главу угла интересы большинства человечества. Настоящий историк никогда не сможет быть человеком, с холодным расчетом раскладывающим варианты политических пасьянсов или путей экономического развития, потому что понимает: объективные процессы воплощаются в реальности живыми людьми, их умом и трудом. И смотреть на историю следует именно через этих людей, в их действиях видеть воплощение объективных законов.

Юрий СЕРГЕЕВ, писатель.
Автор книг «Королевская охота», «Самородок»

ИДТИ ВПЕРЕД

В работе, в творческом искании путей обновления общества — главная форма самоотдачи молодого автора. Надоели произведения с бездуховным героем, который погряз в бытовщине. Нужны сильные герои, активные, честные. Короче, мы ждем прозу, стихи, драматургию, кино, наполненные исторической правдой, светом нравственности и долга.

Я принимал участие в работе VII Всесоюзного совещания молодых писателей, которое дало путевку в литературу многим авторам. Благодарен за это ЦК ВЛКСМ и организаторам совещаний, семинаров. Это поистине кузница литературных кадров. Считаю, что совещания молодых писателей должны проходить более активно, следовало бы создать постоянный комитет подготовки таких совещаний, устраивать семинары по всей стране, направленные на поиски одаренных людей в глубинках. При творческих союзах на местах иметь представителя комитета, энергичного молодого писателя, который в течение четырех лет между совещаниями обязан руководить литературным объединением и знать кандидатов для поездки на Всесоюзное совещание.

По-моему, все еще прослеживается в материалах навязшая в зубах «аллилуйщина» прежних времен, пропагандируются ложные ценности, например, восхваляется «металлорок», ко эрый

есть порождение буржуазной культуры, на страницах некоторых газет и журналов. Еще жив догматизм в нашей печати, бывают случаи сведения личных счетов, что осудил М. С. Горбачев на XX съезде ВЛКСМ.

Самый страшный дефицит — дефицит нравственности. Все еще процветают взяточники. Думаю, что нужно пересмотреть УК РСФСР и усилить ответственность за взятку. Взятка страшно развращает общество. Все эти негативные пороки предавать обширной гласности, с указанием фамилий, должностей преступников.

Плохо, когда молодые авторы встречаются с равнодушием, не получают должной поддержки в решении бытовых, да и творческих проблем. Большую заботу о молодых проявляют издательства «Молодая гвардия», «Современник», но этого недостаточно, особенно для периферийных авторов. На периферии попасть в план изданий молодому писателю крайне трудно, ибо дележ отпущенного «листажа» делают зачастую люди, которые видят в молодом писателе не товарища, не коллегу, а конкурента. Нужно стимулировать и поощрять наиболее активные творческие союзы за воспитание и поддержку молодых дарований.

На съездах и пленумах СП СССР и СП РСФСР прозвучали горькие слова о том, что во многих регионах страны ликвидированы издательства, оборудование типографий устаревшее, полиграфическая промышленность находится повсеместно на низком уровне. Все лучшие альбомы и книги с цветными иллюстрациями приходится выполнять на заграничных базах.

Примером в деле перестройки для меня является директор производственного объединения «Аммофос» г. Череповца — Валерий Бабкин. Этот молодой директор, создав все условия для жизни и работы восьми тысяч рабочих, сделал за короткий срок настоящую революцию на своем предприятии. Народ поверил в него, и открылись такие резервы, сделано столько хорошего, что я видел это и восхищался, как можно так поднять и воодушевить людей. Тысяча семьсот комсомольцев творят чудеса, сами все строят, создают яхтклубы и т. д. Еще бы мог назвать Ф. Я. Шипунова, который словом и делом во многом повлиял на прекращение работ по переброске северных рек.

Михаил УСТИНОВ, историк.
Автор ряда статей в сборниках
«За Русскую землю!», «О литературе для детей»

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Будущее невозможно без осмысления прошлого — это истина прописная. Весь вопрос в том, с каких позиций это осмысление происходит.

Остановимся на некоторых событиях современной культурной жизни.

Выход на экраны фильма «Покаяние» был предварен восторженной рекламой, характеризовавшей его «противотираническую» направленность и представлявшей его откровением нашего времени. Одно то, что фильм долго «лежал на полках», создало ему

ореол истинности, определяя зрительское доверие. В таких условиях любая попытка критически разобраться в его сути уязвима как поползновение чуть ли не обратить вспять саму перестройку.

Однако вот странность: смотришь этот фильм — и видишь его несовершенство. И не только потому, что большая часть энергии уходит на разгадывание явной символики. Хотя тут-то, может быть, и скрыта интеллектуальная ловушка: зритель, сумевший разгадать, к примеру, значение съедаемой рыбы, может уже ощущать себя посвященным в суть вещей, недоступную профанам. И какой соблазн эстетически удовлетвориться этим ощущением! Но в том-то и дело, что путь этот тупиковый. И форма толкает именно на него, незаметно вступая в конфликт с содержанием. Притчевое начало, условность которого призвана выявлять общее, здесь неожиданно все содержание сводит к индивидуальному, Общественный механизм происходящего в фильме отсутствует, и зрителю предлагается поверить, что суть целого исторического пласта жизни может быть сведена к действию злой воли отдельного человека.

Возможно, и такой взгляд в рамках фильма правомерен. Но беда в том, что критики пытаются представить его в качестве чуть ли не эталона современного подхода к оценке событий истории.

Очевидна несостоятельность попыток представить сложные общественные процессы результатом деятельности одного человека. Хотя, казалось бы, во времена гласности можно и даже необходимо принципиально исследовать, в силах ли один человек проводить политику, противоречащую интересам народа, и уж тем более в такой огромной и могущественной стране? И какие силы способствовали, а может, и направляли ее?

После того как Великая Отечественная война явила невозможность физического уничтожения советского народа, методы явных и тайных врагов изменились коренным образом. В период всеобщего попустительства был нанесен серьезный урон основополагающим нравственным ценностям советского народа. Стали усиленно насаждаться идеи политического плюрализма, моральной относительности, нравственного симплицизма. И все эти черты — как можно убедиться даже при беглом взгляде на наше прошлое — глубоко чужды русскому и другим народам. Энтропии духа противостоит людская память. Память истории. Память культуры.

Если возвратиться к этой более частной категории, то и тут заметим не сразу объяснимые процессы. Начиная с того, что с некоторых пор утвердилось у нас как вполне равноправное и законное понятие «массовой культуры». Хотя прежде ей неизменно сопутствовал эпитет «буржуазная», что вполне соответствовало ее содержанию и смыслу. Ведь «массовая культура» уравнительная, усредненная, наднациональная, а «интернационализм» ее мнимый. Служит она не только целям искоренения народности, но и подавлению активности самих масс. И тем не менее в некоторых органах печати перестали говорить о ней как о болезни, с которой надо бороться.

В том, что так называемая «массовая культура» распространяется и даже активно насаждается, нет никаких сомнений. Достаточно лишь проанализировать деятельность кино и телевидения. Еще в недавнем прошлом невообразимо было, чтобы на экранах танцевали, с позволения сказать, девушки в нарядах, столь от-

кровенно демонстрирующих подробности женской анатомии. Столь же бесстыдной кажется мне попытка представить «тяжелый рок» как музыку, наполненную социальным содержанием. Действует-то он в первую очередь на биологическую сферу, в чем его бессознательная притягательность для незрелой молодежи.

А в литературе? А. Вознесенский объявляет замечательного советского поэта «гинекологом музы». Что это — недомыслие? кощунственное пренебрежение к памяти и творчеству поэта? плевок на всю русскую, да и мировую поэзию с ее святым представлением о Музе? «Да нет, — объяснят профану, — это метафорическая смелость неординарного мышления, доступная лишь посвященным». В самом деле, в ряду образных экспериментов, где «чайка — плавки бога», «душа — совмещенный санузел», А. Вознесенский мог и запамятовать, кто такая муза и зачем она являлась поэтам.

Можно сказать, что это придирки по частностям. Но какие уж частности, когда высвечивается точка, в которой показательно смыкаются массовая и элитарная культуры, выказывая свое генетическое наднациональное сродство.

И литературная «групповщина», о которой все чаще сейчас говорят, — отнюдь не внутрицеховое дело, отражающее отдельные пристрастия и вкусы, но противоборство двух подходов к литературе, культуре, истории, наконец, жизни, один из которых стремится привить безразличие к коренным вопросам бытия, а другой, сколько хватает сил, утверждает народные и единственно плодотворные устои.

В обстановке гласности у нас есть возможность разрешить это противостояние. Только бы гласность не превратилась в попустительство гласности: так вновь преуспеют лишь те потакальщики, которые и господствовали в период попустительства.

А свет истории озаряет пусть нелегкий, но необходимый путь обретения правды.

Александр ФОМЕНКО, критик.
Автор статей и публикаций
в журналах «Москва», «Молодая гвардия»,
«Огонек», «Литературной газете»

О САМОМ ГЛАВНОМ...

Важнейшим признаком улучшения деятельности нашей печати является резкое повышение интереса широких слоев населения к газетному слову. Сегодня пресса в целом пытается приступить к выполнению своих прямых обязанностей: правдиво освещать жизнь страны, возможно более полно представлять общественное мнение. Обсуждение на газетных страницах экономических и политических трудностей постепенно становится привычным и естественным. Сложнее обстоит дело с культурными проблемами. Средства массовой информации, не привыкшие жить в условиях демократизации, бросаются из одной крайности в другую, вместо того чтобы спокойно и взвешенно обсудить то или иное явление. Сейчас они, за редким исключением, бросились прославлять рок-музыку, западную масскультуру, даже не пытаясь серьезно разобраться в сути происходящего. Гласность, на мой взгляд, подразумевает борьбу с полуправдой, а у нас часто под флагом «гласности» одна полуправда заменяется другой, порой худшей. В результате широкому читателю неоткуда узнать о том, например, что поп-музыка неразрывно связана с так называемой «культурой наркотиков», насквозь пропитана их дурманом, что распространение рок-эпидемии (хорошее дело эпидемией не назовешь) по миру сопровождалось резким увеличением числа самоубийств, преступлений на сексуальной почве и т. п. Все это, похоже, ожидает и нас, но об опасности социальной болезни под названием «рок-эпидемия» в прессе сегодня говорить не принято. Ведь достаточно подробно знакомя читателей с образом жизни и мыслей «хиппи», «панков», «металлистов», газеты и журналы что-то не особенно стремятся сообщить, что думает о происходящем наиболее зрелая часть нашей молодежи, ветераны Афганистана. А ведь они, пехотинцы и десантники, артиллеристы и саперы, водители, летчики и танкисты, за право иметь собственное мнение платили кровью!

Наша пресса довольно исправно помещает письма читателей, — это нельзя не приветствовать. Но вот какие бывают странные случаи. Осенью прошлого года сорок (!) русских литераторов, прозаиков, поэтов и критиков, пришедших в литературу в 80-х годах, направили в «Литгазету» открытое (!) письмо, посвященное острейшим проблемам литературной и общественной жизни. Ясно, что просто так, за здорово живешь сорок человек не станут тратить свое время на составление коллективных писем. От нечего делать люди не станут слать в Москву со всех концов России телеграммы со словами «прошу поставить мою подпись...». Но, как это ни покажется кому-то странным, «Литературная газета» отказалась печатать письмо сорока литераторов, не посчитав возможным познакомить с их мнением всесоюзного читателя. При сильном желании можно бы было счесть это досадным недоразумением (ведь «ЛГ» вообще-то внимательно следит за молодой литературой, особенно модернистского толка). Но вот уже в нынешнем, 1987 году, в конце февраля, в Союзе писателей СССР состоялась встреча В. В. Карпова с молодыми литераторами (многие из которых подписали упомянутое письмо). И опять «ЛГ» оказалась «на высоте»: пообещав 25 февраля напечатать в следующем номере отчет о встрече, она до сей поры своего письменного обещания не выполнила. Телевидение оказалось более легким на подъем: в начале апреля была показана часовая передача (четыре выступления полностью выпали из нее). Но в любом случае пока нет оснований для того, чтобы говорить о торжестве гласности в деятельности органов печати.

Конечно, для того чтобы иметь собственное лицо, периодические издания должны придерживаться какого-то достаточно определенного направления. Нельзя обязать редакцию, идя наперекор собственным вкусам и пристрастиям, предоставить печатные страницы всем без исключения авторам произведений разного художественного уровня. Ведь сколько ни говорит В. Оскоцкий, что для него в литературе главное — талант, что для талантливых авторов широко открыты двери журнала «Знамя», но если редакции «Знамени» не хочется печатать, допустим, талантливый

роман об опричнине, то она его печатать не будет. Ничего удивительного в этом нет. Более того, это говорит о твердости идейно-эстетических позиций редакции.

Пресса должна и может быть одной из движущих сил перестройки нашего общества, если она станет действенным выразителем общественного мнения, если в ней не будет места монополии какой-то одной общественной группы на высказывание своих взглядов и мнений.

Примерами в деле перестройки для нас являются те люди, которые начинали борьбу за нее много лет назад, когда с трудом верилось в возможность благотворных перемен. Можно назвать в этой связи писателей Е. Носова, Ю. Скопа, В. Астафьева, С. Залыгина, С. Куняева, Б. Примерова, критиков В. Кожинова, А. Ланщикова, М. Любомудрова, покойного Ю. Селезнева, академика Ф. Углова и многих других.

Открытая, честная, созидательная критика — жизненная необходимость для нас, приходится повторять это снова и снова. Ведь спекулировать можно на чем угодно, в том числе и на критике. Под видом борьбы с «литературными генералами» пытались начать травлю Ю. Бондарева. Под видом борьбы за «гласность» критики, сформировавшие себя эпохой «застоя», усиленно навязывают читателю якобы «антикультовскую» литературу, в которой репрессии, необоснованные, приобретают почти библейскую значительность, а судьба крестьянства, один из важнейших вопросов всей нашей национальной истории, едва ли не замалчивается. Но с тем большим нетерпением мы ждали публикации платоновского «Котлована», продолжения романов В. Белова и Б. Можаева о коллективизации, надеясь услышать несуетливое слово правды о 30-х годах, не скованное цензурными препонами, не обесцененное спекуляцией на гласности, полуправдой.

Гласность понимается разными людьми по-разному. Кто-то, похоже, хотел бы превратить ее во вседозволенность. Кто-то, наверное, не прочь обозначать словом «гласность» политику культурной конвергенции с Западом. Для нашей страны это не пригодно, и ничего, кроме ущербности, в себе не несет. Культурный «плюрализм», непрерывная «свободная конкуренция» различных, порой совершенно разнородных точек зрения, вкусов и пристрастий подразумевает отказ от главной, объединяющей советский народ идеи, от традиционных духовных ценностей, уводит в сторону от столбовой дороги нашей истории. А ведь пройденный нами исторический путь настолько своеобразен, создавшаяся веками культура столь самоцельна и всеобъемлюща, что не по-хозяйски отказываться от такого наследия. Западная мысль уже давно бьется, пытаясь разгадать тайну Пушкина и всей нашей культуры, пытается Россию «аршином общим измерить». Не в силах понять нашу систему ценностей (говорю это с сожалением), Запад предлагает нам свою шкалу оценок, свои точки отсчета во всем, что касается нашего прошлого и настоящего. Впрочем, у нас всегда было достаточно любителей чужих пророков. Иначе сегодняшнее знакомство широкого читателя с зарубежной русской литературой началось бы с публикации произведений действительно больших писателей, таких, как Иван Шмелев. А Владимир Набоков, наиболее чтимый на Западе из писавших на русском языке, мог бы идти вслед за ним. Ведь популярность среди определенной части западных интеллектуалов того или иного произведения, написанного по-русски, еще не свидетельствует о его высоком достоинстве. Право же, только как курьез можно воспринимать сегодня шумиху вокруг весьма слабого романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», поднятую в шестидесятые годы. Публиковать же его сегодня в журнале массовым тиражом — не значит ли намеренно компрометировать в глазах всесоюзного читателя крупного советского поэта?

Сохранение иерархии культурных ценностей нашего народа — жизненная необходимость сегодня. Без ясного представления о такой иерархии не может обойтись ни серьезный читатель, ни тем более литератор, особенно молодой.

Валерий ХАТЮШИН, поэт.
Автор поэтических сборников «Быть человеком на земле»,
«Деревья собираются в дорогу»,
ряда критических статей в журналах «Москва»,
«Наш современник», «Молодая гвардия»

О ПЕРЕКОСАХ ГЛАСНОСТИ И ПИСАТЕЛЬСКОЙ СОВЕСТИ

Если говорить о негативных процессах, мешающих молодым писателям в творчестве, то тут, наверное, можно порассуждать и о трудностях опубликования в периодике, и о многолетних ожиданиях выхода первой и второй книги, и о том, что некоторые редакторы все еще боятся произведений смелых, остропроблемных. Но если касаться именно творчества, то здесь никакие негативные процессы истинно талантливому человеку помешать не могут. Талантливый литератор делает свое дело, пишет о том, что его волнует, несмотря ни на какие внешние трудности, потому что талант — вещь непобедимая, и он тем упорнее стремится к цели, чем больше трудностей (негативных процессов) встречает на своем пути. И чем талантливее писатель, тем больше он испытывает сопротивления со стороны внешних сил. Так было всегда, и от этого мы никуда не уйдем, как бы ни перестраивали и ни демократизировали свое общество. Без особых препятствий и без видимых последствий обычно выходили и будут выходить книги среднего уровня, малопримечательные. Так что трудностей и всякого рода сопротивлений высокоодаренному человеку в своей литературной судьбе не избежать никогда. Главная наша задача — вовремя отличать истинное в искусстве от плевел.

Мне кажется несколько странным вопрос: какой должна быть гласность? Конечно же, она обязана быть честной и подлинной! Тем не менее само наличие такого вопроса говорит о том, что и в гласности возможны перекосы...

Нетрудно заметить, что мы очень любим хвататься за всякого рода термины и клише в своей общественной жизни. Вспомним, как совсем недавно со страниц печати не сходило: год определяющий, решающий, пятилетка эффективности и качества и т. д. Как бы нам перестройку и гласность не превратить в очередные лозунги на время...

Может быть, и впрямь плохи наши дела, если от писателя требуют гласности? От русской литературы т р е б у ю т, для которой в прошлом не было ничего важнее Правды, для которой высшим мерилом нравственности и художественности, высшим достоинством любого по жанру произведения и высшей его целью всегда была Правда жизни и только Правда! Одно дело — гласность на страницах газет, в выступлениях на писательских съездах. Здесь нам ее действительно не хватало, и в последнее время она принесла нашему обществу огромную, еще до конца не оцененную пользу. Но совсем другое дело — гласность или правда в литературных произведениях наших лучших писателей, являющихся совестью народа и страны. Там она была всегда. Писателей этих призывать к правде — кощунственно, они сами всю жизнь стремились к ней и в своих произведениях отстаивали ее, когда официальных призывов к «гласности» еще и в помине не было. Разве не гласности хотел Валентин Распутин в «Прощании с Матерой»? Разве не к тому же стремился Борис Можаев в своих «Мужиках и бабах»? Разве не горькую правду сказали нам Василий Белов в романе «Всё впереди» и Виктор Астафьев в «Печальном детективе»? Им ли нужно перестраиваться?!

Для кое-кого перестроиться — это всего лишь перекраситься. Тем, кто во все времена был хамелеоном, перестроиться в очередной раз — дело нехитрое. Они-то перестроятся в первую очередь, и кричать об этом будут громче всех, а через несколько лет повернут в любую другую сторону... Гораздо сложнее быть прямым и честным в с е г д а, от начала и до конца, и не потому, что этого «время требует», а оттого, что иначе не позволяет жить писательская совесть.

Теперь коснусь вопроса о «групповщине». Этим неприятным словом тоже стали очень часто пользоваться в последнее время, когда речь заходит о молодой литературе. Хотя в литературных группах в принципе не должно быть ничего противоестественного. В начале нашего века было множество литературных групп: символисты, футуристы, имажинисты, конструктивисты, рапповцы, напостовцы, лефовцы и т. д. Что ж, молодым свойственно объединяться по взглядам на искусство, по образу мыслей и идей. Все зависит от того, что́ это за идеи, мысли и взгляды и насколько талантливо в творческом отношении они выражаются. Сейчас же подобных литературных групп, по моему убеждению, просто не существует. Да и говорить о разнообразной «групповщине» в среде молодых писателей — не совсем точно. Сегодня у нас есть одна немногочисленная часть молодых литераторов, явно обособившаяся и претендующая на роль целого поэтического поколения, как они себя именуют, — «поколенья Нового Арбата». Они-то и противопоставили себя всем остальным молодым литераторам, в группы не объединившимся, но ввиду такого противопоставления заявляющим, и подчас бурно, о своем несогласии со взглядами и идеями этих, далеких от проблем нашей действительности, «новоарбатцев»: «металлистов», «метафористов», «метаметафористов» и т. п. Назвав себя «новым поколением», они как бы зачеркнули остальных своих сверстников, собратьев по перу, что незамедлительно отразилось на публикациях такого молодежного литературного журнала, как «Юность», полностью переключившегося на рекламирование представителей этого «поколения» и предоставившего свои страницы их более чем странному и удивительно однообразному творчеству», как бы сделанному одной рукой... Например, в «Юности» № 4 за этот год помещены их фотографии. Казалось бы, вот она, группа, обозначившая сама себя. Смотрите, кому неясно! Да не тут-то было. Их молодой пропагандист А. Мальгин на встрече молодых литераторов с писателем В. Карповым, показанной по Центральному телевидению, на всю страну объявил, что на этой встрече собрались якобы в основном представители «другой группы». Хотя А. Мальгину прекрасно известно, что никакой «другой группы» нет и в помине, а есть только в с е о с т а л ь н ы е, которых он «пропагандировать» отказывается, будучи трубадуром «поколенья Нового Арбата». Так что все разговоры о «групповщине» в среде молодых литераторов понимаются многими неверно и выгодны лишь тому узкому кругу молодых, что действительно обособились, отделились, демонстративно сгруппировались, желая создать н е з а в и с и м ы й от общей советской литературы «Союз литераторов».

Хочу еще раз вернуться к гласности и высказать свое мнение о том, что сама гласность начинает принимать у нас какие-то странные формы: многим почему-то стало очень приятно расписываться в собственной недальновидности и недавней трусости. То и дело слышишь, будто еще два года назад все мы ничего вокруг себя не видели, не слышали, не понимали, а теперь вдруг — прозрели, поумнели и стали такими смелыми. Ораторы на трибунах то и дело бьют себя в грудь, каются во всех смертных грехах, разоблачают «застойные явления», благодарят приход «нового времени» и советуют всем начинать перестройку с себя. Но при этом почти каждый из них считает, что лично ему как раз перестраиваться не надо...

Хочу также согласиться и с мнением Ю. Бондарева, считающего, что гласность в литературно-общественной жизни у нас, по сути, односторонняя. Мы, как говорят, «открыли шлюзы». И пошло и поехало! На телевизионные экраны необузданным потоком хлынули волны неистовой рок-музыки, разрушающей не только податливые души нашей молодежи, но и поистине — всё вокруг живое. Причем опять же — с широкой пропагандой, с подробным объяснением «творческих исканий» этих бесчисленных, рождающихся как грибы по осени рок-групп. Вот уж где «групповщина» так «групповщина»!

Телевидение по нескольку раз на неделе устраивает «встречи с читателями» все тому же А. Парщикову — одному из «метафористов», видимо, считая, что в молодой поэзии нашей неоглядной поэтической страны есть только один Парщиков, а также создавая иллюзию, будто у него действительно имеются читатели...

Пресса вдруг ни с того ни с сего начала защищать наших «хиппи», «панков», «металлистов», «рокеров» и других «волосатиков», подвергшихся растлевающему влиянию западной поп-культуры, под видом того, что-де длина волос и экстравагантность одежды еще ничего страшного не означает. Хотя та же самая пресса не раз в прежние времена писала о том, что среди американских «хиппи» и «панков» более всего наркоманов, извращенцев и бродяг, то есть людей, потерянных для общества. Разве не ясно, что от рок-музыки, длинных волос и металличе-

ских цепей на шее — один шаг до наркотиков, тунеядства, уголовных преступлений...

Нередко гласность используется, к сожалению, в явно спекулятивных целях. Например, диву даешься, какую огромную роль в духовной жизни нашей страны приписывают иные авторы некоторым литературным именам. Все мы со школьной скамьи знаем, что в России в двадцатом веке было три великих поэта — Блок, Есенин и Маяковский. Теперь же небольшая авторская группа, заполонившая страницы «Огонька», из номера в номер тоном высших арбитров внушает читателям, будто «великими русскими поэтами» являются: Мандельштам, Пастернак, Ходасевич, Цветаева... Между тем, как бы кто ни ценил этих поэтов, ясно, что титул «великих» пристегивается к ним их поклонниками без всякой оглядки, например, на проблему народности, от которой весьма далеко было их творчество. Так и хочется спросить: не слишком ли много возникло великих поэтов?

Вызывает протест и назойливое возвеличивание В. Высоцкого. Он был талантливый актер. Но как раз о его актерских способностях сейчас, как ни странно, помалкивают и активно раздувают из него большого поэта, кем на самом деле он никогда не был. Поэт и бард (в современном значении) — это далеко не одно и то же. Песенные тексты В. Высоцкого в большинстве своем не имеют никакого отношения к высокой поэзии. Однако культ Высоцкого приобретает черты агрессивности, массированной атаки на читателя.

Такие атаки не кажутся бескорыстными. Тем более что «жрецы культа» Мандельштама, Пастернака, Ходасевича, Цветаевой, Высоцкого одновременно широко пропагандируют и лично себя. Трудно сосчитать, сколько раз за последние полгода появлялись на страницах «Огонька» А. Вознесенский, Б. Окуджава, Е. Евтушенко и некоторые другие явно «избранные»...

Однако иным героям «гласности» недостаточно превозносить свое литературное значение. Им захотелось также представить себя этакими бесстрашными борцами за свободу, страдальцами за правду, благодаря чьей стойкости мы и дожили наконец до гласности и перестройки. Это надо процитировать: «Мы сформировались духовно и профессионально во время общественного катаклизма, когда в стенах этой крепости образовались бреши. Мы проникали в эту крепость и продолжали вести нашу войну, иногда разъединенно, слыша на отдаленных улочках выстрелы товарищей. Бреши искусно замуровывались, отсекая нас от поэтической молодежи. Вырывали вокруг крепости ров с водой, чтобы следующему поколению стало невозможно прорваться к нам на помощь. Мы смертельно уставали, патроны и силы кончались. Над нашими головами начали кружиться иностранные вертолеты, гостеприимно сбрасывая заманчиво покачивающиеся над нашими головами веревочные лестницы. Но по ним карабкались только слабые, обменявшие борьбу за свободу в своем Отечестве на радиостанцию «Свобода», — образно рассказывает на страницах одного журнала Е. Евтушенко. Пристало ли поэту, гражданину своей Отчизны, кичиться тем, что он в тяжелые для творческой личности времена не променял Родину на сладкую жизнь за кордоном?

Истинный поэт всегда гражданствен, всегда патриот. Пушкин знал, что идет на смерть. Но он был «невольник чести» и погиб. Из гражданских, патриотических чувств исходят и народность, и партийность художника. Сергей Есенин очень редко в своих стихах употреблял слово «народ», однако не станем же мы спорить о том, кто из них подлинно народен.

Михаил ЩУКИН, прозаик.
Автор книг «Оборони и сохрани», «Имя для сына», «Дальний клин»

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ

Если почитать сегодня иных критиков, так можно всерьез подумать, что до 1985 года у нас и честной литературы не было, не существовало ее в природе: одни только панегирики да бытовая чернуха...

Зачем же вот так, ничтоже сумняшеся, зачеркивать свое прошлое? Впрочем, о причинах скажу ниже. Теперь о другом. Наше поколение, родившееся в пятидесятых, входило в самостоятельную жизнь с «расщепленным» сознанием: слышали мы одно, а видели — другое. И если мы все-таки не расшибли свои головы о лед безверия, то помогла в этом честная литература. Она говорила нам правду о непростом времени, она учила жить достойно, а нас, кто набрался нахальства и рискнул сесть за чистый лист бумаги, учила еще и быть честными перед этим листом.

А. Яшин, В. Шукшин, Ю. Рытхэу, Ю. Шесталов, И. Друце приближали тем самым наш сегодняшний день, наши сегодняшние перемены.

Они наступили, они начались, они стали явью, но что же мы видим? Бойкая часть нашей критики навалилась не на серую литературу и не на парадную, написанную в угоду. Она, демагогически оперируя термином «перестройка», навалилась именно на тех писателей, которые, как Ю. Бондарев, П. Проскурин, И. Васильев, В. Белов, приближали эту самую перестройку. Да, запретных писательских имен сегодня нет. Так и ведите речь о литературной стороне дела, разбирайте достоинства и недостатки произведения, доказывайте свою точку зрения и правоту. Куда там! Иных критиков такое положение дела абсолютно не устраивает, немодно это нынче — заниматься анализом, да и хлопотно. И появилось опасное поветрие: уж если критиковать, так надо обязательно «кровь пущать», надо ошельмовать писателя, оболгать, а то и вовсе заняться, по точному определению Ал. Михайлова, литературной гапоновщиной. Благо для такого дела много ума и души не требуется. По моему разумению, это гласность наизнанку, гласность для трусливых, которые сегодня, когда это безопасно, стали до ужаса смелыми, до того смелыми, что им осталась самая малость — записать в паспортах, что родились они в 1985 году, а до этого времени просто не жили.

На большой волне всегда много пены. Сегодня это часто приходится слышать. Дескать, пена сама собой рассосется, а волна

пойдет дальше. Но слишком уж много всплыло ее на волне перестройки, и не исчезает она, а множится, становится ядовитой и заразной. Личные амбиции, неутоленное тщеславие, маниакальное желание быть на виду, хоть со скандалом, — все это мы видим и слышим сегодня. Поистине:

Это зависть скрежещет зубами,
Это злоба и морок людской.

Неужели мы настолько беспамятны, что нас ничему не научил печальный и плачевный опыт разрушения, неужели мы умеем любить и уважать только мертвых, а добрые слова произносить лишь над могилами?! Хватит ненужных разрушений! Мы рушили храмы великолепной красоты, которые стояли веками, а взамен построили безликие, полуслепые коробки, мы обозвали народную нравственность патриархальщиной, а сегодня ахаем по поводу проституток, мы забывали свои народные песни, зато сегодня на концертах новомодной музыки летают по залу надутые презервативы. Продолжить примеры? Думаю, что достаточно.

Надо прямо сказать, что сегодняшний литературный процесс замутнен. А в мутной воде, как известно, легче ловить рыбу, ее можно ловить голыми руками, даже без удочки. И вот под шумок, с лозунгами сегодняшнего дня, почуяв, что приспел момент, кинулись иные «революционеры» от литературы ловить своих жирных карасей. Плодятся, как грибы, группочки, схватываются в мелких кухонных драчках, точнее сказать, склоках, говорят о перестройке, цитируют партийные документы, а на лбу прямо-таки клеймом проступает одно слово: дай! Печально, что отправились ловить карасей и некоторые молодые литераторы, быстро усвоив нехитрую механику: корпеть за рабочим столом тяжко и невесело, когда еще что напишешь да когда заметят, а попробую я по-другому. Путей много. Один из них — поскорее устроиться в литературную контору, чтобы быть на виду, другой путь — заявить о себе скандалом, а третий — прослыть смелым реформатором, обвинив всех и вся в застое и консерватизме. В этом шуме, в этих мелких страстишках уходит главное — забота об истинном назначении литератора, о том, что он должен жить народными делами и болями, а не захлебываться в чадном дыму литературной, коммунальной кухни. Не на писательских пленумах и не на форумах творческой молодежи решается судьба перестройки, она решается на полях и в цехах, там, в глубине страны, но именно туда-то и не стремятся некоторые молодые литераторы, потому что теряются перед грубыми, запутанными реалиями современной жизни. И поэтому герои, рожденные в дыму коммунальной литкухни, бледны и рахитичны. Такие герои выползают к читателю и вместо «быть или не быть?» вопрошают — купить чин не купить? Мало, до обидного мало на наших страницах героев, твердо убежденных в правоте своего дела, не рефлексирующих, а работающих, не хихикающих над болями и бедами, а выдирающих из родной земли злую и цепкую крапиву безверия, угодничества, неразумного, безголового хозяйствования. В реальной жизни есть такие люди, но их явно не хватает в литературе. Почему? Да, наверное, потому, что сами мы, пишущие, измельчали в междоусобицах и больше заняты своими, цеховыми, проблемами, чем народными.

Впустую расходуются сила и энергия, слово писателя, которое сегодня, как никогда нужно народу. И пример в этом, к горчайшему сожалению, подает столица. Отзвуки столичных драчек расходятся по городам и весям, и местные писательские организации, превращаясь там иногда в законченный и совершенный абсурд: на учете стоит десять человек, а группировок пятнадцать. Приходит в такую организацию юноша бледный со взором горящим, испытывая самое настоящее благоговение, говорю об этом без всякой иронии, потому как на себе испытал — как же, здесь писатели! — приходит, а на него, будто ведро холодной воды, бесконечные тяжбы: кто получил квартиру, а кому не дали, кого зажали, а кого «пропихнули», тиражи, гонорары, взаимные упреки, жалобы, анонимки и доносы, которые отправляются по самым разным адресам, начиная с месткома и кончая Центральным Комитетом. О душе человеческой, о творчестве уже и речи нет. Здесь не только энергия и силы пропадают вхолостую, здесь уже идет нравственное уродование молодых литераторов. Хорошо, если есть у человека крепкий стержень, крутая закваска, хорошо, если он сможет отмахнуться от суеты, памятуя о том, что главное в нашем деле — слово, написанное для добра, а не для зла. А если нет? Тогда он ныряет с головой в чадный дым и теряет там безвозвратно то состояние души, с каким пришел к писателям.

Так не лучше ли будет в создавшейся ситуации просто выйти на улицу, на свежий воздух, оглядеться и увидеть жизнь, нашу великую, грешную землю, ее взлеты и падения, ее победы и трагедии, рядом с которыми внутрицеховые распри покажутся все-таки не такими уж важными.

Недавно мне довелось побывать в Вологде, на одном из заседаний, на котором вологодская общественность вместе с властями обсуждала план будущей застройки города. Непримиримо столкнулись две позиции — позиция администраторов, которые привыкли считать, что их слово последнее и самое верное, потому как оно гарантирует сохранность служебного кресла, и позиция людей, которые хотят сохранить дух и облик города, хотят быть именно вологжанами, а не безликим населением. И коль уж зашла речь, не могу удержаться, чтобы не сказать хотя бы несколько слов о молодом вологодском поэте Михаиле Карачеве. Он работает в Обществе охраны памятников, точнее сказать — верой и правдой служит своему городу, охраняя его от бездумного и холодного разрушения. Однажды, когда собирались сносить деревянный памятник архитектуры и когда в борьбе с ретивыми «градостроителями» были использованы все средства, тогда он просто лег под бульдозер, лег и... одержал свою трудную победу. Недавно в издательстве «Современник» у Михаила Карачева вышла первая книга «Птицы издалека». Читаешь и понимаешь, что стихи для автора не просто литературное занятие, а продолжение его дела, его жизни.

Но вернемся к тому заседанию. Когда один из выступавших спросил, кому отдать свои предложения, зал дружно загудел — отдайте писателям, они честно сведут все предложения воедино, сведут для пользы дела, а не в угоду начальству. В этом общем и дружном гуле было столько искренней веры в писателей, как в полпредов правды, что невольно подумалось: не оправдать этой веры — смертный грех.

Художественный редактор Г. Комаров

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 07.07.87. Подп. в печ. 02.09.87. А13234.
Формат 84×108[1]/32. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт 21,0.
Уч.-изд. л. 18,5. Тираж 640 000 экз. Цена 80 коп. Заказ 163.
Типография ордена Трудового Красного Знамени
издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия», 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.